

НОВЫЙ  
Журнал

84

THE NEW  
REVIEW

**THE**  
**NEW REVIEW**  
**Новый Журнал**

---

*Основатели*

*М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН*

*С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ*

*Двадцать пятый год издания*

Кн. 84

НЬЮ ИОРК

1966

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Н. С. ТИМАШЕВ

*NEW REVIEW, September 1966*

*Quarterly, No. 84*

*2700 Broadway, New York 25, N. Y.*

*Subscription Price \$9. — for one year*

*Publisher: New Review, Inc.*

*Second Class Mail postage paid*

*at New York, N. Y.*

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
<i>Л. Чуковская</i> — Софья Петровна .....	5
<i>Ю. Терапиано</i> — Ганийский блок-нот .....	47
<i>И. Бунин</i> — Безымянные записки .....	49
<i>И. Чиннов</i> — Пять стихотворений .....	56
<i>В. Вейдле</i> — Урбино .....	58
<i>Вл. Злобин</i> — Странные стихи .....	66
<i>Ю. Офросимов</i> — Памяти поэта .....	68
<i>И. Елагин</i> — Битники .....	91
<i>К. Померанцев</i> — Четыре стихотворения .....	92
<i>Ю. Иваск</i> — Фет .....	94
<i>Странник</i> — Два стихотворения .....	111
<i>Алексис Раннит</i> — Три стихотворения .....	112
<i>В. Александрова</i> — Прошлое сегодняшними глазами .....	117
<b>ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:</b>	
<i>Неизвестный</i> — Находка в тайге .....	134
<i>Песни-стихи из СССР</i> .....	143
<i>А. Керенский</i> — Моя жизнь в подполье .....	148
<i>И. Ильин</i> — На службе у японцев .....	176
<b>ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:</b>	
<i>Прот. Д. Константинов</i> — Подтверждение неопровержимого ..	200
<i>А. Гольденвейзер</i> — Русский юрист в эмиграции .....	215
<i>Т. Чугунов</i> — Всеобщая декларация прав человека и диктатура КПСС .....	221
<i>Н. Градобоев</i> — Записки Пеньковского .....	231
<i>Д. Шуб</i> — Мемуары А. Ф. Керенского .....	247
<i>Н. Полторацкий</i> — Проф. Н. С. Тимашев о путях России .....	255
<b>БИБЛИОГРАФИЯ:</b>	
<i>Б. Бровцын</i> — А. Толстая. Проблески во тьме. <i>В. Завалишин</i> — <i>Ю. Анненков</i> . Дневник моих встреч. <i>Ю. Марголин</i> — А. Седых. Земля обетованная. <i>Р. Гуль</i> — А. Терц. Мысли врасплох. <i>М.</i> <i>Павликовский</i> — J. Mackiewicz. Lewa wolna! <i>И. Левитан</i> — Russian Jewry (1860-1917). <i>И. Одоевцева</i> — Н. Гумилев. Собрание со- чинений. <i>Ю. Терапиано</i> — Я. Бергер. Весна в Ч... <i>А. Иванов</i> — А. Parry. The New Class Divided. <i>Ю. Иваск</i> — Поэты-лирики древней Эллады и Рима. <i>С. Карлинский</i> — Новое издание сти- хов М. Цветаевой. — Письма в редакцию .....	268
Книги для отзыва .....	301

---

PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION  
150 VARICK STREET. NEW YORK, N. Y. 10013



## СОФЬЯ ПЕТРОВНА\*

10

Софья Петровна взяла в издательстве двухнедельный отпуск за свой счет. Пока Коля сидит в тюрьме, разве может она думать о каких-то бумагах, об Эрне Семеновне! Да и не по-спеешь служить: с утра до ночи и с ночи до утра надо стоять в очередях. Она подала заявление хромому парторгу: после ареста Захарова он был назначен временно исполняющим обязанности директора. Он сидел в том же кабинете, где раньше сидел Захаров, за тем же большим столом с телефонами; но-сил он уже не косоворотку, а серенький костюмчик из Ленин-градодежды, галстучек, воротничок — и все-таки казался нев-зрачным. Софья Петровна сказала, что отпуск ей нужен по домашним обстоятельствам. Не глядя на нее, Тимофеев долго писал резолюцию красными чернилами. Он сказал Софье Пет-ровне, что замещать ее на этот раз будет Эрна Семеновна и приказал сдать ей дела. — А почему не Фроленко? — удиви-лась Софья Петровна. — Ведь Эрна Семеновна малограмотна и пишет с ошибками ... — Товарищ Тимофеев ничего не ответил и встал. Ах, не всё ли равно! Софья Петровна вышла из каби-нета. Она торопилась в очередь.

Дни и ночи ее проходили теперь не дома и не на службе, а в каком-то новом мире — в очереди. Она стояла на набереж-ной Невы, или на Чайковской — там скамейки, можно присесть — или в огромном зале Большого Дома, или же на лестнице в прокуратуре. Уходила домой поесть или поспать она только тогда, когда Наташа или Алик сменяли ее. (Алика директор отпустил в Ленинград всего на одну шестидневку, но он со

---

\* См. кн. 83 «Н. Ж.».

дня на день откладывал свой отъезд в Свердловск, надеясь вернуться вместе с Колей). Многие узнала Софья Петровна за эти две недели — она узнала, что записываться в очередь следует с вечера, с 11-ти или с 12-ти, и каждые два часа являться на перекличку, но лучше не уходить совсем, а то тебя могут вычеркнуть; что непременно надо брать с собой теплый пла-ток, надевать валенки, потому что даже в оттепель с трех часов ночи и до шести утра будут мерзнуть ноги и всё тело охватит мелкая дрожь; она узнала, что списки отнимают сотрудники НКВД и того, кто записывает, уводят в милицию, что в прокуратуру надо ходить в первый день шестидневки и там принимают не по буквам, а всех, а на Шпалерной ее буква 7-го и 20-го (в первый раз она попала в свой день каким-то чудом), что семьи осужденных высылают из Ленинграда — «путевка» — это направление не в санаторий, а в ссылку; что на Чайковской справки выдает краснолицый старик, с пушистыми, как у kota, усами, а в прокуратуре — мелкозавитая, остроносая барышня; что на Чайковской надо предъявлять паспорт, а на Шпалерной нет: узнала, что среди разоблаченных врагов мно-го латышей и поляков — и вот почему в очереди так много латышек и полек. Она научилась с первого взгляда догады-ваться, кто на Чайковской не прохожий вовсе, а стоит в очереди, она даже в трамвае, по глазам узнавала, кто из женщин едет к железным воротам тюрьмы. Она научилась ориентироваться во всех парадных и черных лестницах набережной и с легкостью находила женщину со списком, где бы та ни пряталась. Она знала уже, выходя из дому, после краткого сна, что на улице, на лестнице, в коридоре, в зале — на Чайковской, на набережной, в прокуратуре — будут женщины, женщины, женщины, старые и молодые, в платках и шляпах, с грудными детьми и с трехлетними и без детей — плачущие от усталости дети и тихие, испуганные, немногословные женщины — и как когда-то, в детстве, после путешествия в лес, закрыв глаза она видела ягоды, ягоды, ягоды, так теперь, когда она закрывала глаза, она видела лица, лица, лица ...

Одного только она не узнала за эти две недели: из-за чего Коля арестован? И кто и когда будет его судить? И в

чем его обвиняют? И когда же, наконец, кончится это глупое недоразумение и он вернется домой? В справочном бюро на Чайковской краснолицый старик с пушистыми усами смотрел в ее паспорт, спрашивал: «Как имя вашего сына? Вы мать? А почему жена не пришла? Не женат? Липатов, Николай? Следствие ведется», — и выкидывал из окошечка паспорт, и прежде чем Софья Петровна успевала открыть рот, механическая дверца окошечка с треском падала сверху вниз и раздавался звонок, означающий: «следующий!». С дверцей Софье Петровне разговаривать было не о чем, и, постояв секунду, она ухотила. В прокуратуре мелкозавитая остроносая барышня, высовываясь из окошка, говорила скороговоркой: «Липатов? Ни-колай Федорович? Дело в прокуратуру еще не поступало. Справьтесь через две недели». На Шпалерной тучный, сонный мужчина неизменно отстранял деньги и произносил: «ему не разрешено». Это было всё, что она знала о Коле: другим деньги разрешены, а ему почему-то не разрешены. Почему? Но она уже понимала, что расспрашивать человека в окошечке — тшкетно.

Зато она с жадностью расспрашивала Алика про то, как это было, как уводили Колю. И Алик покорно рассказывал опять и опять, что они уже спали, что вдруг раздался стук в дверь и вошел заведующий общежитием, а за ним комендант, а за ним кто-то в штатском и один военный. — Который был час? — спрашивала Софья Петровна. — Так, примерно, пол-второго — отвечал Алик и рассказывал дальше: комендант за-жег свет, а штатский спросил — кто тут Липатов, Николай? — Коля испугался? — тревожно переспрашивала Софья Петровна. — Ни капельки — отвечал Алик. — Он надел белье, костюм, и просил меня завтра передать на заводе, что его по недоразумению задержали и он быть может несколько дней прогуляет ... Так пусть на участке его заменит Яша Ройтман, это у нас комсомолец такой ... — И неужели он ничего, ничего не взял с собою? — всплескивала руками Софья Петровна. Алик объяснял ей, что Коля ни за что не хотел взять с собою ни смены белья, ни полотенца, хотя прачка только-только принесла. «За-чем мне? Ведь я завтра, послезавтра вернусь». «Сильно сове-

тую взять», сказал военный. Но Коля и ему повторил, что незачем: он завтра вернется.

— Вот что значит чистая совесть! — с умилением говорила Софья Петровна. — Но дадут ли ему там полотенце?

Алик послушно ждал Колю и день, и два, и три, и только на четвертый решился ехать в Ленинград — выяснять обстоятельства. Он соврал директору, будто у него мама при смерти. И директор — парень свой, хороший — отпустил.

Софья Петровна осторожно выпрашивала Алика: не посорился ли там Коля с начальством? не нагрубил ли кому? не водился ли с кем-нибудь, кто потом оказался вредителем? или женщина быть может во что-нибудь его впутала?

— Ну, какая там женщина! — с легким раздражением отвечал Алик. — Да и впутаешь разве Николая? Не знаете вы его, что ли? Про него директор так прямо и говорил, что это будущий мировой инженер ...

Ах, конечно, конечно, Коля ни на что дурное не способен. Уж Софье ли Петровне не знать, что это за сердце, какая голова, как он предан советской власти и партии. Но ведь и без причины ничего не бывает. Коля еще молод, не жил один. Восстановил кого-нибудь там против себя. Надо уметь обращаться с людьми. И Софья Петровна с неприязнью взглядывала на Алика: не досмотрел. Вот если бы Коля остался в Ленинграде, у матери на глазах, ничего бы с ним не случилось. Не надо было отпускать его в Свердловск.

Но и так, и так, ничего не может худого случиться, уговаривала себя Софья Петровна. Каждый час, каждую минуту ждала она Колю домой. Уходя в очередь, она всегда оставляла ключ от своей комнаты в коридоре, на полочке, на старом, условленном месте. Она даже суп горячий оставляла для него в духовке. И возвращаясь, поднималась по лестнице торопливо, без передышки, как когда-то навстречу письму: вот она сейчас войдет в свою комнату, а Коля, оказывается, дома, и никак не может понять, куда же запропастилась мама?

Одна женщина — в очереди — говорила прошлой ночью другой — Софья Петровна слышала: — «Жди его, вернется! Кто сюда попал — не вернется». Софья Петровна хотела было

ее оборвать, но не стала связываться. У нас невиновных не держат. Да еще таких патриотов советских, как Коля. Разберутся и выпустят.

Однажды вечером, Алик, уговорив Софью Петровну полежать часок, надел уже было куртку, обмотал шею шарфом и простился: 19-ое, он шел занимать очередь на Шпалерной.

— Я приду не позже двух, — сказала ему Софья Петровна с кровати слабым голосом. — Софья Петровна, хоть в пять, — ответил он бодро и вышел за дверь. Но почему-то вернулся. Он подошел к Наташе, сидевшей с вязаньем в руках у окна.

— Как вы себе мыслите, Наталья Сергеевна, — спросил он, прямо глядя на нее из-под очков блестящими глазами — там, в тюрьме, все такие же виноватые, как Коля? Что-то в очереди все мамы смахивают на Софью Петровну.

— Не знаю, — ответила, по своему новому обыкновению, Наташа.

Наташа и прежде была молчалива, но с тех пор, как арестовали Колю, она почти что совсем лишилась дара речи. На вопросы она отвечала: «Да» или «нет» или «не знаю». Свободное от службы время она проводила у Софьи Петровны — стряпала обед, мыла посуду, подавала воду с валерьянкой — или в очереди. И всё это не открывая рта.

— Что вы, Алик, — тихо сказала Софья Петровна. — Как вы можете сравнивать. Ведь Колю-то арестовали по недоразумению, а других ... Вы что, газет не читаете?

— Э, что газеты, — ответил Алик и вышел.

В газетах как раз появились признания подсудимых на суде. Вчера в очереди Софья Петровна прочла целый лист из-за плеча стоящего перед ней мужчины. У нее болели ноги, ныло сердце, но газета была такая интересная, что, вытянув шею, она прочла ее всю. Подсудимые подробно рассказывали про убийства, про отравления, про взрывы — Софья Петровна была возмущена вместе с прокурором. — Это как называется? — со сдержанным негодованием спрашивал у подсудимого прокурор. — Подлость! — сокрушенно отвечал подсудимый.

Нет, Софья Петровна недаром сторонилась своих соседок в очередях. Жалко их, конечно, по человечеству, особенно

жалко ребят — а всё-таки честному человеку следует помнить, что все эти женщины — жены и матери отравителей, шпионов и убийц.

## 11

Прошло две недели. Алик уехал обратно в Свердловск на завод. Софья Петровна приступила к работе в издательстве — так ничего и не разузнав о Коле.

Женщины в очереди объяснили ей, что дело, по всей вероятности, в конце концов, поступит в прокуратуру, а когда дело поступит в прокуратуру — можно будет пойти к прокурору. Он принимает не через окошечко, а за столом, и ему можно всё рассказать.

А пока оставалось одно — ходить на службу, подсчитывать строчки, улыбаться, распределять работу и под стук и звон машинок неустанно думать о Коле. Коля сидит в тюрьме, Коля в тюрьме. Среди бандитов, шпионов, убийц. В камере. На запоре.

Стараясь представить себе тюрьму и Колю в тюрьме, она неизменно представляла себе картину, изображавшую княжну Тараканову: темная стена, девушка с растрепанными волосами прижимается к стене, вода на полу, крысы ... но в советской тюрьме все, конечно не так.

Алик, на прощанье, посоветовал ей никому не говорить о колином аресте. — Мне нечего стыдиться Коли! — начала было гневно Софья Петровна, но потом согласилась с Аликом: другие-то ведь не знают Колю и могут, Бог знает что вообразить. И ни на службе, ни в квартире, она никому ничего не рассказывала — только жене Дегтяренко, которая однажды застала ее плачущей в ванной. Жена Дегтяренко сочувственно вздохнула. — Что ж плакать-то, может еще и вернется, — сказала она. — То-то я смотрю, вы и днем и ночью бегаєте, лица на вас нет.

Прошло пять месяцев со дня ареста Коли — зима уже сменилась весной и весна беспощадно жарким июнем — а Коли всё не было. Софья Петровна изнемогала от жары, от ожида-

ния, от ночных очередей. 5 месяцев, 3 недели и 4 дня, и 5 дней, и 6 дней ...

5 месяцев и 4 недели. А Коля всё не возвращался, деньги ему были всё «не разрешёны», и на службе у Софьи Петровны вдруг начались неприятности. Неприятности одна за другой. Виновницей неприятностей была Эрна Семеновна.

Когда Софья Петровна вернулась на службу после двухнедельного отпуска, Эрну Семеновну оставили при ней помощницей: прочитывать переписанные рукописи. Софья Петровна полагала, что помощи от нее никакой: сама неграмотна! как она чужие ошибки исправит? но против распряжения Тимофеева не пойдешь. И Эрна Семеновна прочитывала, а Софья Петровна молчала.

И вот однажды, товарищ Тимофеев, позванивая ключами — он теперь всегда носил при себе все ключи от всех столов и от всех комнат — остановил Софью Петровну в коридоре и попросил ее послать к нему после работы Фроленко. Софья Петровна послала Наташу к нему в кабинет, а сама осталась ждать ее в раздевалке, недоумевая, что бы могло товарищу Тимофееву понадобиться от Наташи.

Наташа вернулась довольно скоро. Серое лицо ее было бесстрастно, только губы будто дрожали немного. — Меня уволили, — сказала она, когда они вышли на улицу.

Софья Петровна остановилась.

— Эрна Семеновна показала парторгу мою вчерашнюю работу. Помните, большая статья о Красной армии? У меня написано в одном месте КРЫСНАЯ армия, вместо Красная.

— Но позвольте, — сказала Софья Петровна, — ведь это простая описка. С чего вы взяли, что вас завтра уволят? Всем известно, что вы лучшая машинистка в бюро.

— Он сказал: уволят за отсутствие бдительности. — Наташа пошла вперед. Солнце било ей прямо в глаза, но она не опускала глаз.

Софья Петровна привела ее к себе, напоила чаем. Коли не было. Раньше, когда Коля благополучно жил в Свердловске, Софья Петровна не мучилась от того, что его с ней не было. Так, скучала немножко. А теперь каждая вещь в ком-

нате вопила Софье Петровне в лицо, что Коли нет. На подоконнике одиноко чернела его шестеренка.

— Завтра я еще приду в издательство, но в последний раз, — сказала Наташа, прощаясь.

— Не говорите глупостей! — прикрикнула на нее Софья Петровна. — Не может этого быть.

Но оказалось, что может. На следующий день, на стене, в коридоре, висел приказ об увольнении Н. Фроленко и Е. Григорьевой — бывшей секретарши директора. Мотивировкой увольнения Фроленко служило отсутствие политической бдительности, увольнения секретарши — связь с разоблаченным врагом народа, бывшим директором Захаровым.

Рядом с приказом висел большой плакат, извещающий, что сегодня, в 5 часов дня, состоится общее собрание всех работников издательства. Повестка дня: 1) Доклад товарища Тимофеева о вредительстве на издательском фронте. 2) Разное. Явка обязательна.

Наташа, собрав свой портфельчик, сразу после звонка ушла, сказав всем вместе: «До свиданья». «Всего хорошего», — хором ответили машинистки, одна только Эрна Семеновна не ответила: она поправляла прическу, ловя свое отражение в стекле окна. У Софьи Петровны было тяжело на душе. Она про-водила Наташу до самой раздевалки.

— Приходите вечером, — сказала она ей на прощанье.

Предместкома уже сзывала всех в кабинет директора. Лифтерша Марья Ивановна вносила стулья. Софья Петровна вошла и села в первом ряду. Она чувствовала себя испуганной и одинокой. Зажгли верхний свет, задернули тяжелые шторы. Входили и рассаживались служащие. На всех лицах заметно было какое-то жадное и тревожное любопытство.

— Что же вам, товарищи, особое приглашение посылать, что ли?

— кричала в редакционном секторе предместкома.

Тимофеев стоял у стола, сосредоточенно перебирая бумаги.

Предместкома объявила собрание открытым. Лениво поднимая руки, ее единогласно выбрали председательницей. Товарищ Тимофеев откашлялся.

— Мы, товарищи, собрались сегодня для важного дела, начал он, — для того, чтобы кон-стан-тировать в нашем издательстве преступное притупление бдительности и сообща обдумать, как нам ликвидировать его последствия. — Он говорил на этот раз уверенно, гладко, он даже почти не запи-нался. — В течение целых пяти лет тут у нас, перед самым носом, если можно так выразиться, у нашей общественности, подвизался ныне разоблаченный враг народа, злостный бан-дит, террорист и вредитель, бывший директор Захаров. Заха-ров уже лишен возможности вредить. Но в свое время он при-вел с собою целый хвост своих людишек, свою, с позволения сказать, свиту, которая вместе с ним образовала тут плотное гнездо и всячески способствовала ему в его грязных троцкист-ских махинациях. К стыду нашей общественности, захаровская свита не ликвидирована до сих пор. Вот тут передо мной — он развернул бумаги — вот тут передо мной находятся докумен-тальные данные, которые документально подтвердят нам об их грязном контрреволюционном деле.

Тимофеев замолчал и налил себе воды.

— Что показывают эти документы? — начал он снова, утерев рот ладонью. — Вот этот документ неопровержимо доказывает, что в 32 году, по личному распоряжению дирек-тора, без увязки с месткомом и отделом кадров, по личному, я повторяю, распоряжению директора, была принята на ра-боту некто Фроленко.

Софья Петровна вся сжалась на стуле, будто заговорили о ней.

— А кто такая Фроленко? Она — дочь полковника, вла-девшего в старое время так называемым помещьем. Что же, спрашивается, делала в нашем издательстве гражданка Фро-ленко, дочь чуждого элемента, принятая на работу бандитом Захаровым? Об этом нам расскажет другой документ. Под кры-лышком у Захарова гражданка Фроленко научилась чернить нашу любимую рабоче-крестьянскую Красную Армию, устраи-вать контрреволюционные вылазки: она называет Красную Армию — Крысиной Армией ...

У Софьи Петровны пересохло во рту.

А бывшая секретарша Григорьева? Это — верная подручная директора, которой он вполне мог доверять во всей своей, с позволения сказать, деятельности.

— Как же могло случиться, чтобы вредитель и его прихвостни целые пять лет нагло морочили советскую общественность? Это, товарищи, могло объясняться только одним: преступным притуплением политической бдительности.

Товарищ Тимофеев сел и принялся пить воду. Софья Петровна с жадностью смотрела на воду: такая сушь была у нее во рту и в горле. Предместкома резко зазвонила в звонок, хотя все молчали и никто не шевелился.

— Кто хочет высказаться? — спросила она.

Молчание.

— Товарищи, кто просит слова? — еще раз спросила председкома.

Молчание.

— Неужели никто не хочет сказать пару слов по такому жгучему вопросу?

Молчание. И вдруг громкий голос от дверей, на который все повернули головы. Это была лифтерша Марья Ивановна. До сих пор она ни разу не выступала ни на одном собрании. И вообще мало кто в издательстве слышал ее голос.

— Пожалуйста, просим, просим, товарищ Иванова! Лифтерша, грузно шагая, подошла к столу.

— Вот я тоже хочу сказать свое пролетарское слово. Тут насчет секретарши, это, граждане, правильно. Как, бывало, войдет в лифт в калошах — наследит, наследит, — а ты вытирай за ей. Она наследит, а ты вытирай. И вверх ее вози, да еще вниз норовит на лифте съехать. Вверх по сту разов ездит, да еще и вниз ее спускай. А как ее не спустишь, когда она норовит все с директором пристроиться? Куда он, туда она. Он в лифт — и она за им в лифт, он в машину — и она рядышком в машину. Это верно, что они в одну руку работали ... Только я хочу и товарищу Тимофееву сказать — по нашему, по простому, по пролетарскому — сколько раз ему, бывало, докладаешь: уйми ты ее! А он никакого внимания не оказывал — махнет рукой и пойдет. Думаете, товарищ Тимофеев, лифтер-

ша маленький человек, не понимает? Ошибаетесь! Не старое время! При советской власти маленьких нет, все большие.

— Правильно, товарищ Иванова, правильно, — сказала Анна Григорьевна.

— Кто еще, товарищи, просит слова?  
Молчание.

— Можно мне, — тихо попросила Софья Петровна. Она встала, потом села опять. — Я хотела всего несколько слов, на счет Фроленко ... Конечно, это ужасно, ужасно, то, что она написала. Но ведь у каждого в работе бывают ошибки, неправда ли? Она написала не Красная, а **Крысная**, просто потому, что в машинке — а это все машинистки знают — буква «Ы» находится неподалеку от буквы «А». Товарищ Тимофеев говорил, что она написала **крысиная**, но ведь она написала **крысная** — а это немного не то ... Фроленко — высокой квалификации работник и очень старательная. Это просто случайность.

Софья Петровна смолкла.

Будете отвечать? — спросила у Тимофеева предместкома.

Документы — отозвался из-за стола Тимофеев и постучал косточками пальцев по бумагам — против документов не пойдешь, товарищ Липатова. Крысиная или крысная — это значения не имеет. Классово-враждебная вылазка со стороны гражданки Фроленко налицо.

— Кто-нибудь еще хочет слова? .. Объявляю собрание закрытым.

Люди быстро расходились, торопясь домой. У вешалки, в раздевалке, уже слышны были разговоры: о том, что 5-й номер трамвая редко ходит и что в детском отделе Пассажа появились прекрасные рейтузы. Бухгалтер приглашал Эрну Семеновну покататься на лодке.

— Да ну вашу лодку! — говорила она, протягивая к зеркалу губы, как бы для поцелуя. — Вот в кино бы сходить. О собрании, о вредительстве — никто ни слова. Софья Петровна быстро, не замечая дороги, шла домой. Ей казалось, что когда она придет в свою комнату и закроет дверь — голова перестанет болеть, все кончится, ей будет хо-

рошо. В висках у нее стучало. Почему это так болит голова? — ведь на собрании, кажется, не курили. Бедная Наташа! Не везет ей в жизни! Отличная машинистка и друг ...

В комнате, на коленном столике, лежала записка:

«Уважаемая Софья Петровна! Я опять приехал. Яша Ройтман подал на меня заявление в комсомол, что я был связан с Николаем. Меня исключили из комсомола благодаря тому, что я отказался отмежеваться от Николая, и сняли с работы. Очень тяжело быть исключенным из рядов. Подойду завтра. Ваш Александр Финкельштейн».

Софья Петровна повертела записку в руках. Боже мой, сколько неприятностей сразу! С Колей, потом с Наташей, теперь с Аликом. Но Алик, наверное, сам виноват: наговорил там чего-нибудь на собрании. Он стал такой резкий. В день его отъезда, когда она опять спросила его осторожно, не водился ли Коля с худыми людьми, он весь покраснел, как-то вжался в стенку, и закричал на нее: «да понимаете вы, что вы спрашиваете, или нет? Коля ни в чем не виноват, вы что — сомневаетесь, что?» Конечно, на самом деле ни в чем она не сомневалась, смешно говорить об этом, но ведь подал же Коля какой-нибудь повод? .. Теперь, наверное, на собрании, Алик надерзил начальству. Разумеется, он должен был заступиться за Колю — но как-нибудь осторожно, тактично, выдержанно.

У Софьи Петровны болела голова. Собрание для нее будто еще не кончилось. В ушах звучал голос Тимофеева. У нее теснило в груди — ей казалось, что это голос Тимофеева стесняет ей грудь. Лечь? Нет, не то. Она решила принять ванну.

Что-то было такое в словах Тимофеева, от чего она вся цепенела. Она сама принесла дров из чулана и затопила колонку. Раньше дрова ей всегда приносил Коля, потом стал носить Алик, а после вторичного отъезда Алика в Свердловск — носила Наташа. Ах, этот Алик! Он, конечно, хороший мальчик и предан Коле, но очень уж резкий! Нельзя так с плеча. Не из-за его ли резкости и Коля сидит? Один раз в очереди, Шпалерной, когда она сказала Алику, что деньги для

опять не приняли, он громко воскликнул: «бюрократы проклятые». Он и в Свердловске, на заводе, мог себя так держать.

Софья Петровна пустила воду, разделась и села в ванну, купленную еще Федором Ивановичем. Мыться ей не хотелось. Она лежала неподвижно, закрыв глаза. Как она теперь будет на службе без Наташи? И всё эта Эрна Семеновна! Бывают же на свете такие завистливые, злые люди! Ну, ничего, Наташа поступит на другое место, где-нибудь неподалеку, и они будут часто видеться. Скорее бы Коля вернулся.

Она лежала, глядя на свои руки, измененные водой. Неужели секретарша директора была вредительницей? Лучше не думать об этом. Какой сегодня тяжелый день. Собрание по-прежнему теснило ей грудь. Она лежала с закрытыми глазами, в тепле и покое.

На кухне кто-то потушил примус и сразу стали слышны голоса и грохот посуды. Медицинская сестра, по обыкновению, говорила какие-то колкости.

— Я пока еще не сумасшедшая и не без глаз, — медленно говорила она. — Керосину я третьего дня самолично приобрела 3 литра. А теперь тут капля на донышке, псу под хвост. С некоторых пор ничего невозможно на кухне оставить.

— Кто у вас керосин будет брать? — басом отозвалась жена Дегтяренко. По голосу слышно было, что она стоит согнувшись — моет пол или плиту растапливает. — У всех своего керосина хватает. Я, что ли?

— Я не о вас говорю. В квартире, кроме вас, люди жи-вут. Если уж один член семьи в тюрьме — то от остальных всего можно ожидать. За хорошее в тюрьму не посадят.

Софья Петровна замерла.

— Что ж, что сын в тюрьме, — сказала жена Дегтяренко.

Посидит, да выпустят. Он не карманник какой-нибудь, не вор. Образованный молодой человек. Мало ли теперь кого сажают. Муж говорит, многих теперь берут порядочных. А про него и в газете писали. Знаменитый ударник был.

— Ударник, подумаешь! Маскировался, вот и всё, — сказал вагин голос.

— Овечка какая невинная нашлась, — снова заговорила

медицинская сестра. — Нет уж, извините, пожалуйста, зря у нас не сажают. Уж это вы бросьте. Меня же вот не посадят? А почему? Потому, что я женщина честная, вполне советская.

Софье Петровне сделалось холодно в ванне. Вся дрожа, она вытерлась, накинула халат и на цыпочках прошла в свою комнату. Она улеглась под одеяло и сверху, на ноги, положила подушку. Но дрожь не унималась. Она лежала, дрожа, и смотрела прямо перед собой в темноту.

Ночью, часа в два, когда все уже спали, она встала, накинула рубашку, пальто и пробралась в кухню. Она взяла свою керосинку, свой примус, свои кастрюли и всё перенесла к себе в комнату.

Заснула она только под утро.

## 12

На другой день у дверей издательства ее поджидал Алик.

Оказалось, что он и Наташа, ничего не сказав ей, чтобы она не беспокоилась зря, с утра заняли очередь в прокуратуру. Они стояли шесть часов, сменяя друг друга, и полчаса назад барышня в окошечке сказала им, что дело Николая Липатова находится у прокурора Цветкова. Тогда они заняли для Софьи Петровны очередь к прокурору Цветкову. В комнату № 7.

Алик уговаривал Софью Петровну зайти домой пообедать, но она боялась пропустить очередь и шагала быстро, изо всех сил. Она шла спасать Колю. От того, что она сейчас скажет прокурору, зависит колена судьба. Она шла, задыхаясь, и на ходу обдумывала свою речь. Она расскажет прокурору о том, как Коля мальчиком вступил в комсомол, почти что против воли матери; как старательно он учился и в школе и в ВУЗ'е, как его ценили на заводе, как его похвалила ЦО «Правда». Он был замечательным инженером, честным комсомольцем, заботливым сыном. Разве такого человека можно заподозрить во вредительстве или в контр-революции? Какой вздор, какое дикое предположение! Она, его старая мать, свидетельствует перед судьями, что это неправда.

Алик распахнул тяжелую дверь и она вошла.

За последнее время Софья Петровна много перевидала очередей, но такой еще не видывала. Люди стояли, сидели, лежали на всех ступеньках, на всех площадках, на всех подоконниках огромной пятиэтажной лестницы. По этой лестнице невозможно было подняться, не наступив кому-нибудь на руку или на живот. В коридоре, возле окошечка и возле дверей комнаты № 7, плотно, как в трамвае, стояли люди. Это были те счастливыцы, которые уже простояли лестницу. Наташа горбилась у стенки под большим плакатом: «Выше знамя революционной законности». Добравшись до нее, Софья Петровна и Алик остановились и вместе тяжело перевели дух. Алик снял запотевшие очки и начал протирать их пальцами.

— Ну, я пошла, — сразу сказала Наташа, — вы будете вот за этой дамой.

Софье Петровне хотелось рассказать Наташе про вчерашнее собрание, и про то, как она выступила в ее защиту, но наташина спина уже мелькала далеко, возле лестницы.

— Плохие дела у Наталии Сергеевны, — сказал Алик, кивнув подбородком вслед Наташе, — на работу ее нигде не берут. Вроде, как меня.

Оказалось, что Наташа успела уже побывать в нескольких учреждениях, где требовались машинистки, но никуда ее не приняли, справившись на месте ее предыдущей работы. Алик тоже, прямо с вокзала, зашел в одно конструкторское бюро, но узнав, что он исключен из комсомола — с ним и разговаривать не стали.

— Волчий паспорт, так я понимаю, выдали нам. Ну и мерзавцы! И откуда это вдруг столько сволочей набралось?

— сказал Алик.

— Алик! — укоризненно произнесла Софья Петровна.

— Разве так можно? Вот-вот за резкость вас и из комсомола исключили.

— Не за резкость, Софья Петровна, — ответил Алик, и губы у него задрожали, — а за то, что я не пожелал отречься от Николая.

— Да нет же, Алик, — мягко сказала Софья Петровна, прикасаясь к его рукаву. — Вы молоды еще, уверяю вас, вы

ошибаетесь. Все зависит от такта. Вот я вчера на собрании защищала Наталию Сергеевну. И что же? Ничего мне за это не сделали. Поверьте, меня замучила эта история с Колей. Я мать. Но я понимаю, что это временное недоразумение, перегибы, неполадки... надо перетерпеть. А вы уж сразу: негодяи! мерзавцы! Помните, Коля всегда говорил — у нас еще много несовершенно и бюрократического.

Алик молчал. На лице у него застыло упорное, упрямое выражение. Он был небритый, осунувшийся, с синевой под глазами. И глаза смотрели из-под очков по-новому: сосредоточенно и угрюмо.

— Я уже подал заявление в райком. А если и там не восстановят меня — в Москву поеду. Прямо в ЦК комсомола, — сказал он.

«Бедняга! — думала Софья Петровна. — Трудно ему будет, пока он без работы. Тетка верно уже сейчас попрекает его». И Софья Петровна, наклонившись к Алику, прошептала: — Вот выпустят Колю — вас и восстановят сразу. — И улыбнулась ему. Но Алик не улыбнулся в ответ.

А до дверей прокурора все еще было далеко. Софья Петровна сосчитала: человек 40. Туда входили подвое — так как в комнате № 7 принимал не один, а сразу два прокурора — и все-таки очередь двигалась медленно. Софья Петровна разглядывала лица — ей казалось, что большинство этих женщин она уже видела раньше — на Шпалерной, или на Чайковской, или здесь же, в прокуратуре, возле окошечка. Возможно, что это те самые, а может быть, и другие. У всех женщин, стоящих в тюремных очередях, есть что-то одинаковое в лицах: усталость, покорность и, пожалуй, какая-то скрытность. Многие держали в руках белые бумажки — Софья Петровна знала, что это и есть «путевки» в ссылку. В здешней очереди слышны были все время три вопроса: «Вы куда?» или «Вы когда?» или «У вас была конфискация?»

Софья Петровна прислонилась к стене и на минуту закрыла глаза. Какая бессердечная, какая злая и глупая женщина — жена бухгалтера. Вообразить, что Коля — вредитель! Ведь она его с детства знала. Софья Петровна теперь никогда, ни-

когда не переступит порога кухни. До тех пор, пока медсестра не попросит у нее прощения. Можно себе представить, как станет ей стыдно, когда Коля вернется! Софья Петровна все расскажет Коле, — про его замечательных друзей, Наташу и Алика (без них ей ни за что не справиться было бы с очередями) и про эту змею, жену бухгалтера. Пусть знает, какие встречаются на свете мерзавки.

Открыв глаза, Софья Петровна обратила внимание на маленькую девочку, сидевшую на корточках возле стены. Девочка была в пальто, застегнутом на все пуговицы. «Как это у нас привыкли всегда кутать детей, — подумала Софья Петровна, — даже летом». И вдруг, взглядевшись, она узнала девочку: это была маленькая дочка директора Захарова. Девочка ерзала спиной по стене и хныкала, изнывая от жары. А высокая стройная дама в светлом костюме, за которой уже вог час стояли Софья Петровна и Алик — это была жена директора. Конечно, она.

— Ну что, цела еще твоя дудочка? — ласково спросила Софья Петровна, наклоняясь к ребенку. — Или кисточку ты уже оторвала? Помнишь меня? На елке? Дай я тебе ворот расстегну.

Девочка молчала, глядя на Софью Петровну круглыми глазами и дергая за руку мать.

— Что же ты? Отвечай тете! — сказала жена директора.

— Я знала вашего мужа, — обратилась к ней Софья Петровна. — Я работаю в издательстве.

— А! — сказала жена директора и как-то болезненно скривила губы. Губы у нее были подкрашены, но не по губам, а выше и ниже. Безусловно красивая женщина — но теперь она уже не казалась Софье Петровне такой нарядной и молодой, как полгода тому назад, когда она приходила на минутку в издательство к мужу и в коридоре приветливо отвечала на поклоны служащих.

— Ну что ваш муж? — осведомилась Софья Петровна.

— 10 лет дальних лагерей.

«Значит, он таки был виноват. Вот уж никогда бы не сказала. Такой приятный человек», — подумала Софья Петровна.

— А меня вот с ней в Казахстан, — в деревню или аул, как там. Завтра ехать. Там с голоду подохну без работы.

Она говорила громко, резким голосом, и все оглядывались на нее.

— А куда направили вашего мужа? — спросила Софья Петровна, чтобы переменить разговор.

А я почему знаю, куда. Разве они скажут, куда.

— Но как же потом вы... через 10 лет... когда он освободится... найдете друг друга? Вы не будете знать его адреса, а он — вашего.

— А вы думаете, — сказала жена директора, — что хоть одна из них, — она махнула рукой на толпу женщин с «путевками», — знает, где ее муж? Мужа уже увезли, или завтра увезут, или сегодня увозят, жена тоже уезжает к чорту в тартарары и понятия не имеет, как она потом найдет своего мужа. Откуда же мне знать? Никто не знает и я не знаю.

— Надо проявить настойчивость, — тихо сказала Софья Петровна. — Если здесь не говорят, надо написать в Москву. А то как же? Вы же потеряете друг друга из вида.

Жена директора смерила ее взглядом с ног до головы.

— А у вас кто? Муж? Сын? — спросила она с такой энергической яростью, что Софья Петровна невольно подвинулась поближе к Алику. — Ну так вот, когда вашего сына отправят — тогда и проявите настойчивость, разузнайте его адрес.

— Моего сына не отправят, — извиняющимся голосом сказала Софья Петровна. — Дело в том, что он не виноват. Его арестовали по ошибке.

— Ха-ха-ха! — захохотала жена директора, старательно выговаривая слоги. — Ха-ха-ха! По ошибке! — и вдруг слезы полились у нее из глаз. — Тут, знаете ли, все по ошибке... Да стой же ты, наконец, хорошенько! — крикнула она девочке и наклонилась к ней, чтобы скрыть слезы.

Между дверьми и Софьей Петровной стояли 5 человек. Софья Петровна повторяла про себя те слова, которые она скажет сейчас прокурору. Она со снисходительной жалостью думала о жене директора. Хороши мужья, нечего сказать! На-

творят бед, а жены мучайся из-за них. Едет теперь в Казахстан, с ребенком, да еще очереди эти — тут поневоле нервная сделаешься.

— Знаете, я пойду с вами, — сказал вдруг Алик. — В качестве сослуживца и друга. Я расскажу товарищу прокурору, что в Николае мы имели кристально-чистого человека, негибаемого большевика. Я расскажу ему о применении на нашем заводе долбяка Феллоу, которым мы обязаны исключительно изобретательности Николая.

Но Софья Петровна не хотела, чтобы Алик шел к прокурору. Она боялась его резкости: надерзит и все дело испортит. Нет, уж лучше она пойдет одна. Она уверила Алика, будто посторонних прокурор не принимает.

Наконец, настала ее очередь. Жена директора открыла дверь и вошла. Следом за нею, с замирающим сердцем, вошла Софья Петровна.

У двух противоположных стен большой пустой полутемной комнаты стояли два письменных стола и перед ними — два ободранных кресла. За столом направо сидел полный белотелый человек с голубыми глазами. За столом налево — горбун. Жена директора с девочкой подошла к белотелому, Софья Петровна — к горбатуму. Она уже давно слыхала в очередях, что прокурор Цветков — горбатый.

Цветков разговаривал по телефону. Софья Петровна опустилась в кресло.

Цветков был маленького роста, худой, в синем засаленном костюме. Головка остренькая, а горб большой, круглый. Длинные кисти рук и пальцы поросли черными волосами. Трубку от телефона он держал как-то не на-человечий, а на обезьяний манер. Он вообще показался Софье Петровне до такой степени похожим на обезьяну, что она невольно подумала: если ему захочется почесать за ухом, — он наверное сделает это ногой.

— Федоров? — кричал Цветков в трубку охрипшим голосом. — Это Цветков, здорово. Скажи там Пантелееву, что я уже все провернул. Пусть пришлет. Что? Я говорю — пусть пришлет.

А за другим столом белотелый полный человек с ясными

фарфоровыми, кукольными глазами и маленькими, пухлыми, дамскими ручками, вежливо беседовал с женой директора.

— Я прошу переменить мне село на какой-нибудь город, — отрывисто говорила она, стоя перед столом и держа за руку девочку. — В селе я окажусь без работы. Мне не на что будет кормить ребенка и мать. По профессии я стенографистка. В селе стенографировать нечего. Я прошу послать меня не в село, а в город, хотя бы и в том же самом — как его? — Казахстане.

— Садитесь, гражданка, — ласково сказал ей белотелый.

— Вам что? — спросил Софью Петровну Цветков, оставив телефон, и мельком взглядывая на нее маленькими черными глазками.

— Я о сыне. Его фамилия Липатов. Он арестован по недоразумению, по ошибке. Мне сказали, что его дело находится у вас.

— Липатов? — переспросил Цветков, припоминая. — 10 лет дальних лагерей. — И он снова снял трубку с телефона. — Группа А? 244-16.

— Как? Разве его уже судили? — вскрикнула Софья Петровна.

— 244-16? Морозову позовите.

Софья Петровна смолкла, придерживая сердце рукой. Сердце стучало медленно, редко и громко. Стук отдавался в ушах и в висках. Софья Петровна решила дождаться, пока Цветков кончит, наконец, говорить по телефону. Она с испугом смотрела на его длинные, волосатые кисти, на усыпанный перхотью горб, на небритое, желтое лицо. Терпение, терпение. И слушала стук своего сердца: в висках и в ушах.

А за противоположным столом белотелый прокурор мягко говорил жене директора:

— Напрасно вы расстраиваетесь, гражданка. Присядьте, пожалуйста. Как представитель законности, я обязан напомнить вам, что великая сталинская конституция обеспечивает право на труд всем без различия. Поскольку никаких гражданских прав вас никто не лишает — право на труд остается вам обеспеченным, где бы вы ни жили.

Жена директора порывисто встала и пошла к дверям. Девочка мелкими, сбивчивыми шажками бежала за нею.

— Вы еще здесь? Чего же вам надо? — грубо спросил Цветков, положив, наконец, трубку.

— Я хотела бы знать, в чем мог провиниться мой сын, — спросила Софья Петровна, напрягая все силы, чтобы голос у нее не дрожал. — Он всегда был безупречным комсомольцем, честным гражданином...

— Сын ваш сознался в своих преступлениях. Следствие располагает его подписью. Он террорист и принимал участие в террористическом акте. Вам понятно?

Цветков выдвигал и задвигал ящики письменного стола. Выдвинет и толчком задвинет. Ящики были пустые.

Софья Петровна мучительно вспоминала: что она еще хотела сказать? Но она все забыла. Да и в этой комнате, перед этим человеком, все слова были тщетны. Она поднялась и побрела к дверям.

— Как же я узнаю теперь, где он? — спросила она у двери.

— Это меня не касается.

В коридоре ее ожидал верный Алик. Молча протискались сквозь толпу по коридору, потом по лестнице. Молча вышли на улицу. На улице звенели трамваи, блестело солнце, толкались прохожие. Душному летнему дню еще далеко было до конца.

Ну что, Софья Петровна, что? — тревожно спросил Алик.

Осужден. В дальние лагеря. На 10 лет.

Шутите! — вскрикнул Алик. — За что же?

Участвовал в террористическом акте.

Колька — в террористическом акте!? Бред!

Прокурор говорит: он сам сознался. Следствие располагает его подписью.

Слезы ручьем текли по щекам Софьи Петровны. Она остановилась у стены, схватившись за водосточную трубу.

— Колька Липатов — террорист! — захлебываясь, говорил Алик. — Сволочи, вот сволочи! Да это курам на смех!

Знаете, Софья Петровна, я начинаю думать так: все это какое-то колоссальное вредительство. Вредители засели в НКВД — вот и орудуют. Сами они там враги народа.

— Но ведь Коля сознался, Алик, сознался, поймите, Алик, поймите... — плача говорила Софья Петровна.

Алик твердо взял Софью Петровну под руку и повел к дому. У дверей ее квартиры, пока она искала в сумочке ключ, он заговорил опять:

— Коле не в чем было сознаваться, неужели вы в этом сомневаетесь, что? Я ничего не понимаю больше, совсем ничего не понимаю. Я теперь одного хотел бы: поговорить с глазу на глаз с товарищем Сталиным. Пусть объяснит мне — как он себе это мыслит...

## 13

Софья Петровна всю ночь напролет пролежала с открытыми глазами. Которая уже была это ночь со времени ареста Коли — бесконечная, бездонная? Она уже наизусть знала все: летнее шарканье подошв под окном, крики в соседней пивной, замирающий зуд трамваев — потом недолгая тишина, недолгая тьма — и вот уже снова заползает в окно белый рассвет, начинается новый день, день без Коли. Где сейчас Коля, на чем спит, как он, с кем он? Софья Петровна ни секунды не сомневалась в его невиновности: террористический акт? Бред! — как говорит Алик. Просто следователь попался ему старательный, запутал и сбил его. А Коля не сумел оправдаться, он ведь так молод еще. К утру, когда опять рассвело, Софья Петровна вспомнила, наконец, то слово, которое вспоминала всю ночь: *alibi*. Она где-то читала про это. Он просто не сумел доказать свое *alibi*.

В первые часы на службе ей стало как будто немного легче. Ярко светило солнце, и пыль клубилась в солнечном луче, и так деловито стучали машинки — и машинистки в перерыве бегали вниз, на улицу и потом без конца сосали эскимо на палочках — все было как обычно... На 10 лет! Днем, при солнечном свете, становилось ясно, что это чепуха. Она 10 лет не

увидит Колю! Да почему же? Что за вздор! Не может этого быть. В один прекрасный день — и совсем скоро — все станет по-старому: Коля будет дома, будет по-прежнему спорить с Аликом о машинах и паровозах, по-прежнему чертить — только теперь она уж ни за что не отпустит его в Свердловск. Можно ведь и в Ленинграде устроиться.

В перерыве она пошла побродить в коридор — сидя она боялась уснуть. В коридоре висела новая стенная газета. Перед нею толпились служащие. Софья Петровна тоже подошла почитать. Это был большой, нарядный номер, с красными заглавными буквами и портретами Ленина и Сталина по обеим сторонам яркокрасного названия «Наш путь». Софья Петровна подошла к газете.

«Как же могло случиться, чтобы вредители в течение целых пяти лет без помехи обдeldывали свои грязные дела перед носом советской общественности?» — прочла Софья Петровна. Это была передовая Тимофеева. На столбце рядом начиналась статья предместкома. Анна Григорьевна язвительно уличала Тимофеева в том, что выступление его на собрании было недостаточно самокритично. Если общественность проглядела вредительство, то первым за это должен отвечать товарищ Тимофеев, бывший парторг. Тем более, что, как выяснилось, парторгу своевременно сигнализировали снизу: сигнализировала товарищ Иванова, давно раскусившая секретаршу своим пролетарским чутьем. Софья Петровна перевела глаза на следующий столбец. И прежде, чем она поняла, что читает, у нее стало жарко в груди. Статья была о ней самой, о Софье Петровне, о ее выступлении в защиту Наташи. Автор, скрывшийся под псевдонимом Икс, писал:

«На собрании произошел возмутительный факт, за который, по нашему мнению, недостаточно дали по рукам. Товарищ Липатова выступила с настоящей адвокатской речью — и кого же она сочла необходимым защищать? Фроленко, полковничью дочь, позволившую себе грубый антисоветский выпад против нашей любимой рабоче-крестьянской Красной Армии. Известно, что товарищ Липатова постоянно покровительствовала Фро-

ленко, предоставляла ей сверхурочную работу, посещала с ней вместе кинотеатры и пр. и т. п. Теперь, когда издательству предстоит наперечь все силы честных работников, партийных и непартийных большевиков, чтобы возможно скорее ликвидировать последствия «хозяйничанья» Герасимова-Захарова и Ко. — допустимо ли, чтобы в этот ответственный момент, в рядах работников издательства находились подобные лица? Выше знамя большевистской бдительности, как учит нас гениальный вождь народов товарищ Сталин! Выкорчем с корнем всех вредителей, тайных и явных, и всех, расписавшихся в сочувствии к ним!»

Раздался звонок, возвещавший конец обеденного перерыва. Софья Петровна пошла к себе в бюро. Как это она раньше не заметила, что сегодня все смотрят на нее особенными глазами?

Вернувшись домой она прильнула к подушке — к своему последнему прибежищу. И сон сразу сомкнул ей глаза. Она спала долго, ей снился Коля. На нем был пушистый серый свитер. Он привязал к сапогам коньки. И потом, низко наклонившись, заскользил по коридору издательства. Когда она проснулась, за окном синели сумерки, а в комнате горел свет. Возле стола шила Наташа. Видно было, что она шьет здесь уже давно.

— Сядьте сюда, поближе, — слабым голосом сказала Софья Петровна, облизывая губы, невкусные после дневного сна.

Наташа покорно перенесла свой стул к изголовью кровати и села.

— Вы знаете, Колю осудили на 10 лет. Вам, верно, уже сказал Алик?

Наташа кивнула.

— Ах, да, знаете? — вспомнила Софья Петровна. — Обо мне написали в стенной газете, будто я защищаю вредителей и мне не место...

— Алик арестован. Сегодня, — ответила Наташа.

## 14

Если Софья Петровна ночью не спала — все часы и минуты суток были для нее одинаковыми. Свет резал глаза, болели ноги, ныло сердце. Но если ночью удавалось заснуть, то самой тяжелой минутой, бесспорно, была минута, следующая после пробуждения. Открыв глаза и увидев окно, спинку кровати, свое платье на стуле — в первый миг она не думала ни о чем, кроме этих предметов. Она узнавала их: окно, стул, платье. Но в следующий миг где-то в области сердца возникала тревога, похожая на боль, и сквозь туман этой боли она вдруг вспоминала все сразу: Коля осужден на 10 лет, Наташу прогнали, Алик арестован, о ней написано, что она заодно с вредителями. Да, еще: керосин.

На работе она ни с кем не разговаривала больше. Даже бумаги, которые приносили ей для переписки, клала перед машинистками молча. И с ней никто не разговаривал. Сидя за своим столиком в бюро, она вглядывалась в лица машинисток, стараясь угадать: кто из них написал про нее в газету? Вероятнее всего — Эрна Семеновна. Но разве она умеет так гладко писать? И когда это она видела их с Наташей в кино? Ее они не видали ни разу.

Однажды, слоняясь в тоске по коридору, она чуть не столкнулась с Наташей. Наташа шла, как лунатик, ступая, будто в темноте.

— Наташа, что вы здесь? — испуганно спросила Софья Петровна.

— Я прочла газету. Не разговаривайте со мною. Увидят, — ответила ей Наташа.

Вечером она пришла к Софье Петровне. Теперь она казалась возбужденной и говорила без умолку, перескакивая с предмета на предмет. Софье Петровне еще никогда не доводилось слышать, чтобы Наташа говорила так много. И она не вышивала, не шила на этот раз.

— Как вы думаете, Коля еще здесь, в городе, или уже далеко? — спросила она вдруг.

— Не знаю, Наташа, — со вздохом ответила Софья Пет-

ровна. — Ведь на Шпалерной его буква 20-го, а сегодня только 10-ое.

— Нет, я не о том. А как вы чувствуете? — Наташа провела рукой по воздуху. — Он еще здесь, близко от нас, или уже далеко. Мне кажется, далеко. Я вчера вдруг почувствовала: сейчас он уже далеко. Его уже нет здесь... А знаете, Софья Петровна, лифтерша отказалась поднять меня на лифте. — «Я не обязана поднимать всяких»... Да, Софья Петровна, вам необходимо сейчас же, завтра же, уйти из издательства. Обещайте мне, что уйдете. Милая, обещайте! Завтра же, хорошо?

Наташа коленями стала на диван, на котором сидела Софья Петровна и умоляюще сложила перед ней руки. Потом она села к столу, взяла перо и сама написала заявление от имени Софьи Петровны. Она уверяла Софью Петровну, что ей необходимо уйти по собственному желанию, иначе ее непременно уволят за связь с вредителями — «это со мной» — улыбнувшись бледными губами, сказала Наташа, — и тогда уже ни на какую службу ни за что не примут. Софья Петровна подписала заявление. Она и сама уже подумывала уходить. Страшно как-то стало в издательстве. От одного вида хромого Тимофеева со связкой ключей в руках ее пробирала дрожь.

— Но мне ведь все равно в Ленинграде не служить, — грустно сказала она. — Меня ведь все равно вышлют. Всех жен и матерей высылают.

— Как вы думаете? — спросила Наташа, беря с полки книгу и сейчас же ставя ее на место, — чем объясняется, что Коля сознался? Можно сбить, запутать человека, — я понимаю, — но ведь это в мелочах только. Как можно было так сбить Колю, чтобы он сознался в преступлении, которого никогда не совершал? Этого я, как хотите, не пойму. И отчего все признались? Ведь всем женам говорят, что их мужья признались... Всех сбили?

— Он просто не сумел доказать свое алиби, — сказала Софья Петровна. — Вы не забывайте, Наташа, что он еще так молод.

А почему Алика арестовали?

Ах, Наташа, если бы вы знали, какие грубости он го-

ворил при всех в очереди. Я теперь уверена, что и Коля погиб из-за его языка.

Наташа собралась уходить. На прощанье она порывисто обняла Софью Петровну.

— Что с вами сегодня? — спросила Софья Петровна.

— Со мной ничего... Сидите, не вставайте, не надо! Как вы похожи на Колю, то-есть, Коля на вас... Вы подадите заявление завтра же, да? Не раздумаете? — спрашивала она, заглядывая Софье Петровне в глаза. — И потом — не забудьте, что 30-го «Ф», надо будет непременно передать Алику деньги, у него ведь ни гроша, а тетка побоится передавать... И потом, дорогая, умоляю вас — пойдите к врачу! Прошу вас! Ведь вы на себя не похожи!

— Что мне врач... Коля, — сказала Софья Петровна и опустила налившиеся слезами глаза.

На другой день с утра она вошла в кабинет директора и молча положила заявление на стекло стола. Тимофеев прочел его и также молча кивнул головой. Увольнение ее было оформлено с необычайной поспешностью. Через два часа на стене уже висел приказ. А через три — вежливый бухгалтер выдал ей полный расчет. — Покидаете нас? Ай-я-яй, нехорошо! Смотрите же, заглядывайте, не забываете старых друзей.

В последний раз идет она по этому коридору. — До свиданья, — сказала она машинисткам после звонка, когда все с треском уже надевали покрышки на свои ундервуды. — Всего хорошего! — хором, как Наташе недавно, ответили ей все, а одна даже подошла к Софье Петровне и крепко пожала ей руку. Софья Петровна была очень тронута: какая мужественная, благородная девушка! — Счастливо! — весело крикнула Эрна Семеновна, и Софья Петровна сразу перестала сомневаться, что именно Эрна Семеновна и никто другой написал ту статью.

Она вышла на улицу — в летний шум, в грохот. Солнце палит. Вот и кончилась служба — кончилась навсегда. Она пошла было к дому, но скоро повернула к Наташе. Всюду на углах мальчишки сжимали в потных пальцах букеты колокольчиков и ромашек. Но оттого, что Коля сидит в тюрьме или

едет куда-то под громыханье колес — весь мир стал бессмысленным и непонятым.

Поднявшись — Боже, как с каждым днем все тяжелее подниматься по лестнице! — поднявшись на пятый этаж, она позвонила. Ей открыла женщина, соседка Наташи, вытирая мокрые руки о передник.

— Наталью Сергеевну утром в больницу отправили, — шумным шопотом сказала женщина. — Отравилась. Вероналом. В Мечниковскую.

Софья Петровна попятилась от нее. Женщина захлопнула дверь.

17-ый долго не шел. Прошли уже две девятки и два 22-х, а 17-ый все не шел. Потом 17-ый пополз медленно, еле-еле, задерживаясь у каждого светофора. Софья Петровна стояла. Были заняты даже все места для пассажиров с детьми, и когда вошла девятая женщина с младенцем — никто не пожелал уступить ей место. — Скоро весь вагон займут! — кричала старуха с клюкой. — Ездют взад и вперед! Мы, небось, детей на руках таскали. Подержите, не помрете!

У Софьи Петровны тряслись колени — от испуга, от жары, от злого крика старухи. Наконец, она вышла. Она почему-то не сомневалась, что Наташа уже умерла. Больница сверкнула ей навстречу всеми своими вымытыми стеклами. Она прошла в прохладный белый вестибюль. Возле справочного окошечка стояла очередь — три человека. Софья Петровна не решалась подойти без очереди. Справки выдавала красивая сестра в крахмальном белом халате. Возле нее, перед телефоном, в стакане стоял букет колокольчиков.

— Алле, алле! — закричала она в телефон, выслушав вопрос Софьи Петровны. — Второе терапевтическое? — и потом, положив трубку: — Фроленко, Наталья Сергеевна, скончалась сегодня в 4 часа дня, не приходя в сознание. Вы родственница? Можете получить пропуск в покойницкую.

Десятого вечером, надев осеннее пальто и платок под пальто, и калоши, Софья Петровна заняла очередь на на-

бережной. В первый раз предстояло ей продежурить всю ночь бессменно: кто теперь мог сменить ее? Не было больше ни Наташи, ни Алика.

Софья Петровна одна проводила наташин сосновый гроб через весь город на кладбище. В тот день долго шел дождь и большое колесо колымаги плескало ей грязью в лицо.

Наташа лежала в могиле, в желтой земле, недалеко от Федора Ивановича. А где были Алик и Коля?

Она стояла на набережной всю ночь напролет, прислонившись к холодному парапету. От Невы поднимался мокрый холод. Тут впервые в жизни Софья Петровна увидела восход солнца. Оно встало откуда-то из-за Охты и по реке сразу побежали мелкие волны, будто ее погладили против шерсти.

К утру у Софьи Петровны от усталости онемели ноги, она совсем не чувствовала их, и когда в 9 часов толпа кинулась к дверям тюрьмы — Софья Петровна не в силах была бежать: ноги стали тяжелые, казалось, надо взяться за них руками, чтобы приподнять и сдвинуть их с места.

На этот раз номер у нее был 53-ий. Через два часа она протянула в окошечко деньги и назвала фамилию. Тучный, сонный человек поглядел в какую-то карточку и вместо обычного «ему не разрешено» ответил «выслан». После разговора с Цветковым, Софья Петровна была вполне подготовлена к такому ответу и все-таки ответ оглушил ее.

— Куда? — без памяти спросила она.

— Он напишет вам сам... Следующий!

Она пошла домой пешком, потому что стоять и ждать трамвая было ей труднее, чем идти. Пыль уже пахла жарой, она расстегнула тяжелое пальто и развязала платок. Казалось, прохожие разучились ходить: они наталкивались на нее то спереди, то сбоку.

Коля напишет ей. Она снова получит письмо, как получала когда-то из Свердловска.

Все последующие дни, не завтракая, не убирая свою постель, Софья Петровна с утра уходила искать работу. В газете было много объявлений: «Требуется машинистка». Ноги сделались у нее как тумбы, но она покорно ходила целый день по

всем адресам. Всюду задавали ей один и тот же вопрос: у вас есть репрессированные? В первый раз она не поняла. — Арестованные родственники, — объяснили ей. Солгать она побоялась. — Сын, — сказала она. Тогда выяснилось, что в учреждении нет утвержденной штатной единицы. И нигде ее не было для Софьи Петровны.

Теперь она боялась всего и всех. Она боялась дворника, который смотрел на нее равнодушным, и все-таки суровым взглядом. Она боялась управдома, который перестал с ней кланяться. (Она больше не была квартуполномоченной — вместо нее выбрали жену бухгалтера). Она как огня боялась жены бухгалтера. Она боялась Вали. Она боялась проходить мимо издательства. Возвращаясь домой после бесплодных попыток найти себе службу, она боялась взглянуть на стол в своей комнате: быть может, там уже лежит повестка из милиции? Ее уже вызывают в милицию, чтобы отнять паспорт и отправить в ссылку? Она боялась каждого звонка: не с конфискацией ли имущества пришли к ней?

Она боялась передать Алику деньги. Когда вечером, накануне 30-го, она приплелась в очередь — к ней подошла Кипарисова. Кипарисова навевалась в очередь не только в свой день, но чуть ли не каждый день, чтобы узнать у женщин: нет ли чего новенького? кого уже выслали? а кто еще здесь? не переменялось ли вдруг расписание?

— Напрасно вы это делаете, вполне напрасно! — зашептала Кипарисова на ухо Софье Петровне, когда та рассказала ей зачем пришла. — Дело вашего сына свяжут с делом его приятеля — и получится нехорошо, 58, 11, контрреволюционная организация... Зачем вам это нужно, не понимаю!

— Но ведь там не спрашивают, кто передает деньги, робко возразила Софья Петровна. — Спрашивают только кому.

Кипарисова взяла ее за руку и отвела подальше от людей.

— Им незачем спрашивать, — произнесла она шопотом. — Они все знают.

Глаза у нее были огромные, карие, бессонные.

Софья Петровна вернулась домой.

На следующий день она не встала с постели. Ей больше незачем было вставать. Не хотелось одеваться, натягивать чулки, спускать ноги с кровати. Беспорядок в комнате, пыль, не раздражали ее. Голода она не чувствовала. Она лежала в кровати, ни о чем не думая, ничего не читая. Романы давно уже не занимали ее: она не могла ни на секунду оторваться от своей жизни и сосредоточиться на чьей-то чужой. Газеты внушали ей смутный ужас: все слова в них были такие же, как в том номере стенной газеты «Наш путь»... Изредка она откидывала одеяло и простыню и смотрела на свои ноги: огромные, отекающие, как водой налитые.

Когда со стены ушел свет и начался вечер, она вспомнила про наташино письмо. Оно всегда лежало у нее под подушкой. Софье Петровне захотелось снова перечитать его и, приподнявшись на локте, она вынула его из конверта:

«Дорогая Софья Петровна! — написано было в письме. — Не плачьте обо мне, все равно я никому не нужна. Мне так лучше. Быть может, еще все наладится правильно и Коля будет дома, но я не в силах ждать, пока наладится. Я не могу разобраться в настоящем моменте советской власти. А вы живите, моя дорогая, настанет время, когда можно будет посылать ему посылки и вы ему будете нужны. Пошлите ему крабов, консервы, он любил. Крепко вас целую и благодарю за все и за ваши слова на собрании. Я жалею вас, что вы из-за меня потерпели. Пусть моя скатерка лежит у вас и напоминает вам про меня. Как мы с вами в кино ходили, помните? Когда Коля вернется, положите ее к нему на столик, на ней цвета веселые подобраны. Скажите ему, что я никогда про него худому не верила».

Софья Петровна снова положила письмо под подушку. А не разорвать ли его? Она тут пишет про настоящий момент советской власти. Что если это письмо найдут? Тогда Колино дело свяжут с Наташиным делом... А может быть, оставить? Ведь Наташа уже умерла.

январь, годовщина колиного ареста. Через несколько месяцев будет годовщина ареста Алика и сразу за нею годовщина наташиной смерти.

В день наташиной смерти Софья Петровна побывает у нее на могиле. А в годовщину колиного ареста некуда поехать. Неизвестно, где он.

Письма́ от Коли не было. Софья Петровна по пять, по десять раз в день заглядывала в почтовый ящик. В ящике иногда лежали газеты для жены бухгалтера или открытки для Вали — от ее многочисленных кавалеров — но письма́ для Софьи Петровны все не было.

Второй год она уже не знала, где он и что с ним. Не умер ли? Могло ли ей когда-нибудь придти на ум, что настанет время, когда она не будет знать: умер Коля или нет?

Она уже снова служила. От голодной смерти ее спасла статья Кольцова в «Правде». Через несколько дней после этой статьи — замечательной статьи о клеветниках и перестраховщиках, понапрасну обижающих честных советских людей — Софью Петровну приняли на службу в одну библиотеку: не в штат, правда, а вне штата, но все-таки приняли. Она должна была особым библиотечным почерком писать карточки для каталога: 4 часа в день, 120 рублей в месяц. На своей новой службе Софья Петровна не только ни с кем не разговаривала, но даже не здоровалась и не прощалась. Сгорбившись над заваленным книгами столом, в очках, с седыми стриженными волосами, падающими на очки, она высиживала на стуле свои четыре часа, потом поднималась, складывала карточки стопочкой, брала палку с резиновым кончиком, стоящую всегда возле ее стула, запирала карточки в шкаф и медленно, ни на кого не глядя, выходила.

Целая колонна крабовых консервов возвышалась уже на подоконнике в комнате Софьи Петровны, под ногами скрипела крупа и все-таки ежедневно после службы она отправлялась по универсамам закупать продукты еще и еще. Она покупала консервы, топленое масло, сушеные яблоки, свиное сало — всего этого было в магазинах вдоволь, но ведь когда Коля придет письмо, то или другое может как раз исчезнуть. А

иногда рано утром, до службы еще, Софья Петровна брела на Обводный, на барахолку. Жестоко торгуясь, купила она там шапку с ушами, шерстяные носки. По вечерам, сидя в своей неряшливой, нетопленной комнате, она сшивала из старых тряпок мешки и мешочки. Они понадобятся, когда нужно будет уложить посылку. Из-под кровати торчали фанерные ящики разных размеров.

Она почти ничего не ела — только чай пила с хлебом. Есть не хотелось, да и денег не было. Продукты для посылок стоили дорого. Из экономии она топила у себя не чаще раза в неделю. И потому дома всегда сидела в старом летнем пальто и напульсниках. Когда ей делалось очень уж холодно, она забиралась в кровать. В холодной комнате убирать было незачем — все равно холодно и неуютно — и Софья Петровна не мела больше пол и пыль сметала только с коянных книг, с радио и шестеренки.

Лежа в кровати, она обдумывала очередное письмо к товарищу Сталину. С тех пор, как Колю увезли, писем товарищу Сталину она написала уже три. В первом она просила пересмотреть кояно дело и выпустить его на свободу, потому что он ни в чем не виноват. Во втором она просила сообщить, где он, чтобы она могла поехать к нему и увидеть его еще раз перед смертью. В третьем она умоляла сказать ей только одно: жив Коля или умер? Но ответа не было... Первое письмо она просто опустила в ящик, второе сдала заказным, а третье — с обратной распиской. Обратная расписка вернулась к ней через несколько дней. В графе «расписка получателя» стояло что-то непонятное, с маленькой буквы: ерян.

Кто такой этот Ерян? И передал ли он письмо товарищу Сталину? Ведь на конверте было написано: «В собственные руки. Личное».

Регулярно раз в три месяца Софья Петровна заходила в какую-нибудь юридическую консультацию. С защитниками беседовать приятно, они учтивые, не чета прокурорам. Там тоже очередь, но пустяковая, не больше, чем на какой-нибудь час. Софья Петровна терпеливо ждала, сидя на стуле в коридорчике и опираясь обеими руками и подбородком на свою

палку. Но ждала она зря. К какому бы защитнику она ни обращалась, каждый вежливо объяснял ей, что помочь ее сыну ничем, к сожалению, невозможно. Вот если бы дело его было передано в суд...

Однажды — это было ровно год, один месяц и одиннадцать дней после ареста Коли — в комнату Софьи Петровны вошла Кипарисова. Вошла она не постучавшись и, тяжело задыхаясь, опустилась на стул. Софья Петровна взглянула на нее с удивлением: Кипарисова опасалась, как бы дело Ивана Игнатьевича не связали с колиным делом и потому никогда не заходила к Софье Петровне. И вдруг пришла, села и сидит.

— Выпускают, — хрипло сказала Кипарисова, — людей выпускают. Сейчас в очереди своими глазами видела: один из выпущенных пришел за документами. Не худой, только лицо очень белое. Мы его обступили, спрашиваем: ну, как у вас там было? Ничего, говорит.

Кипарисова смотрела на Софью Петровну. Софья Петровна смотрела на Кипарисову.

— Ну, я пойду. — Кипарисова поднялась. — У меня очередь в прокуратуру занята. Не провожайте, пожалуйста, чтобы нас в коридоре никто вместе не видел.

Выпускают. Некоторых людей выпускают. Они выходят на улицу из железных ворот и возвращаются домой. Теперь и Колю могут выпустить. Раздастся звонок и войдет Коля. Или нет, раздастся звонок и войдет почтальон: телеграмма от Коли. Ведь Коля не здесь, он далеко. Он пошлет телеграмму с пути.

Софья Петровна вышла на лестницу и отворила дверцу почтового ящика. Пусто. Пусто в его нутре. Софья Петровна с минуту смотрела на его желтую стенку — как бы надеясь, что взгляд ее вызовет из этой стенки письмо.

Не успела она вернуться к себе и вдеть нитку в иглу (она шила очередной мешок) как дверь ее комнаты опять отворилась без стука и на пороге показалась жена бухгалтера и за ней управдом.

Софья Петровна встала, загораживая спиной продукты.

Ни медсестра, ни управдом не поздоровались с Софьей Петровной. — Вот видите! — сразу заговорила медсестра, ука-

зывая на керосинку и примус. — Обратите ваше внимание: целую кухню здесь устроила. Копоть, гадость, весь потолок закоптила. Разрушает домовое хозяйство. На кухне, с другими, не желает, видите ли, стряпать — гнушается с тех пор, как мы уличили ее в систематических покражах керосина. Сын в лагере, разоблачен, как враг, сама без определенных занятий, вообще — подозрительный элемент.

— Вы, гражданка Липатова, — сказал управдом, оборачиваясь к Софье Петровне, — вынесите немедленно принадлежности на кухню. А не то в милицию заявлю...

Они ушли. Софья Петровна перенесла примус, керосинку, решето и кастрюли в кухню, на прежнее место, потом легла на кровать и громко зарыдала. — Я больше не могу терпеть, — говорила она вслух, — я не могу больше терпеть. И снова высоким голосом, не сдерживая себя, по слогам: я не могу, не могу больше терпеть. — Она произносила эти слова так убедительно, так настойчиво, будто перед нею стоял кто-то, кто утверждал, что, напротив, у нее еще вполне хватит сил потерпеть. — Нет, не могу, не могу, невозможно больше терпеть!

К ней вошла жена милиционера.

— Вы не плачьте, — зашептала она, укутывая Софью Петровну в одеяло, — да вы послушайте, что я вам скажу! Они не по закону поступают. Муж говорит: раз не выслали вас — значит никто права не имеет притеснять. Да вы не плачьте! Муж говорит, многих сейчас выпускают — Бог даст, и Николай Федорович скоро вернется... Ейная дочка выходит замуж — вот мамаша и нацелилась на вашу комнату. А вы не выезжайте и все. Мамаша для дочки нацелилась, а управдом для любовницы своей. Вот они и передерутся... Да вы не плачьте! Я верно вам говорю.

Зимую сквозь двойные рамы уличные звуки почти не проникали в комнату. Зато квартирные шорохи и скрипы были слышны Софье Петровне всю ночь. Настойчиво скреблись мыши (как бы они не подобрались к салу, купленному для Коли). В

коридоре скрипели половицы и, когда мимо проезжал грузовик, вздрагивали входные двери. В комнате бухгалтера каждые пятнадцать минут важно били часы.

Коля скоро вернется. В эту ночь Софья Петровна не сомневалась больше, что Коля скоро вернется. Кипарисова говорит и милиционер Дегтяренко... Он должен вернуться, потому что, если он не вернется, она умрет. Раз невиновных начали выпускать, значит и Колю скоро выпустят. Не может же быть, чтобы других выпустили, а его нет. Коля вернется — и как тогда будет стыдно медицинской сестре! И управдому. И Вале. Они глаз на него не посмеют поднять. Коля не станет даже здороваться с ними. Пройдет мимо, как мимо стены. Когда он вернется, ему сразу дадут какую-нибудь ответственную службу — и даже орден — чтобы поскорее загладить свою вину перед ним. На груди у него будет орден, а с медицинской сестрой и с Валею он не станет здороваться...

Под утро Софья Петровна уснула и проснулась поздно, только в 10 часов.

Проснувшись она вспомнила: что-то вчера было хорошее, что-то она узнала хорошее про Колю. Ах, да, людей стали выпускать, значит скоро и Коля вернется и Алик. Все будет хорошо, все по-прежнему. Софья Петровна поймала себя на мысли: значит и Наташа вернется.

Нет, Наташа не вернется.

Но Коля — Коля уже едет домой, может быть, вагон его уже подъезжает к вокзалу.

Возвращаясь в этот день из библиотеки, Софья Петровна остановилась перед витриной комиссионного магазина и долго перед ней стояла. В витрине был выставлен фотографический аппарат «Лейка». Коля всегда мечтал о фотографическом аппарате. Хорошо бы продать что-нибудь и купить Коле ко дню его возвращения «Лейку». Фотографировать Коля научится быстро — ведь он такой умелый, такой сообразительный.

Весь день Софья Петровна была в приподнятом, радостном состоянии духа. Ей даже есть захотелось — впервые за много дней. Она уселась на кухне чистить картошку. Если приобрести для Коли фотографический аппарат — то вот за-

труднение: где он будет проявлять снимки? Необходима абсолютно темная комната. Ну, конечно, в чулане. Там дрова, но можно очистить место. Можно потихоньку часть своих дров унести в комнату и попросить жену Дегтяренко, чтобы и она взяла вязанку к себе — она не откажет — вот и очистится место. Коля всех будет фотографировать: и Софью Петровну, и близнецов, и знакомых барышень — только Валю и медсестру снимать ни за что не будет. У него составитя целый альбом фотографий, но Вале и медсестре в этот альбом не попасть.

— У вас много дров в чулане? — спросила Софья Петровна жену Дегтяренко, когда та вошла в кухню за веником. — Вязанки этак три, — отозвалась жена Дегтяренко. — Вы любите сниматься? Я очень любила в молодости, у хорошего фотографа, конечно... Знаете что? Колю выпустили.

— Да ну! — вскрикнула жена Дегтяренко и выронила веник. — Ну вот, а вы убивались! (Она расцеловала Софью Петровну в обе щеки). — Письмо прислал или телеграмму?

— Письмо. Только что получила. Заказное, — ответила Софья Петровна.

— А я и не слыхала, как почтальон приходил. С этими прирусами совсем оглохнешь.

Софья Петровна ушла к себе в комнату и села на диван. Ей надо было посидеть в тишине, отдохнуть от своих слов, понять их. Колю выпустили. Выпустили Колю. Из зеркала смотрела на нее сморщенная старуха, с зелено-серыми, седыми волосами. Узнает ли ее Коля, когда вернется? Она вглядывалась вглубь зеркала до тех пор, пока все не поплыло перед ней и она перестала понимать — где настоящий диван, а где отражение?

— Знаете, моего сына выпустили. Из тюрьмы, — сказала она в библиотеке сотруднице, писавшей карточки за одним столом с ней. Та до сих пор не слышала от Софьи Петровны ни единого слова, а Софья Петровна не знала даже как ее зовут.

— Вот как! — ответила сотрудница. Это была неряшливая, толстая женщина, вся осыпанная пеплом от папирос. — Ваш сын, вероятно, ни в чем не был виноват — вот его и вы-

пустили. У нас не станут держать зря человека... А долго сидел ваш сын?

— Год два месяца.

— Что ж, разобрались и выпустили, — сказала толстая женщина, отложив папиросу и принялась писать.

Вечером, столкнувшись с Софьей Петровной в коридоре, милиционер Дегтяренко поздравил ее. — С вас магарыч, — сказал он, пожимая ее руку и широко улыбаясь. — А когда же Николай Федорович к мамаше пожалует?

— А вот пороботает месяц-другой на заводе, потом поедет в Крым отдыхать, — он так нуждается в отдыхе! — а потом и ко мне. Или, может быть, я к нему съезжу, — ответила Софья Петровна, сама удивляясь легкости, с какой она говорит.

Она была радостно возбуждена и даже ноги носили ее быстрее. Ей хотелось каждую минуту говорить кому-нибудь: Колю выпустили. Знаете? Выпустили Колю! Но некому было говорить. Вечером она вышла в магазин за хлебом и сразу встретила любезного бухгалтера из издательства. Еще день тому назад, увидев его, она перешла бы на другую сторону, потому что все, что напоминало ей службу в издательстве, причиняло ей боль. Но теперь она еще издали улыбнулась ему.

Он галантно поклонился и сразу спросил:

— Слыхали наши новости? Тимофеев арестован.

— Как? — смутилась Софья Петровна. — Ведь он же... ведь он же всех и разоблачил... вредителей...

— А теперь его кто-то разоблачил...

— У меня, знаете, радость, — поспешно сказала Софья Петровна. — Сына выпустили.

— Вот как! Примите мои поздравления. А я и не знал, что сын ваш арестован.

— Да, был, а вот теперь его выпустили, — весело сказала Софья Петровна и простилась с бухгалтером.

Возвращаясь домой, она машинально заглянула в почтовый ящик. Пусто. Нет письма. У нее сжалось сердце, как всегда сжималось возле пустого ящика. Ни строчки за целый год.

Неужели потихоньку ни с кем невозможно переслать письма? Год и два месяца нет от него вестей. Не умер ли? Жив ли он?

Она легла в кровать и почувствовала, что ни за что не заснет. Тогда она приняла люминал, двойную порцию, и заснула.

## 18

— Сегодня получила я еще письмо, — рассказывала в кухне Софья Петровна на следующее утро. — Представьте, моего сына директор завода назначил своим помощником. Правой рукой. Местком приобрел для него путевку в Крым — роскошная там природа, я бывала в молодости. А когда он вернется, он женится. На одной девушке, комсомолке. Ее зовут Людмила — правда красивое имя? Я буду звать ее Милочка. Она ждала его целый год, хотя имела много других предложений. Она никогда не верила про Колю худому. — Софья Петровна победоносно взглянула на жену бухгалтера, стоящую возле своего примуса. — И теперь он на ней женится — сразу, чуть вернется из Крыма.

— Внучат, значит, нянчить будете, — сказала жена Дегтяренко.

Медсестра даже бровью не повела. Но через минуту, когда Софья Петровна, сходя к себе за солью, снова вышла на кухню, медсестра сказала ей — «здравствуйте» — будто видела ее сегодня впервые. Первое «здравствуйте» за целый год.

У Софьи Петровны был выходной день и она решила прибрать свою комнату. Если Коля еще и не на свободе, то ведь его должны освободить с минуты на минуту. Он придет, а в комнате такой разгром. Взглянув на себя мельком в зеркало Софья Петровна решила, что ей необходимо снова начать завиваться. А то седые патлы висят. Она вытащила из-под кровати ящики и растопила ими печь. Фанера горела отлично, с веселым треском. Софья Петровна раздумывала: куда бы засунуть консервы, чтобы они не валялись на подоконнике? И к чему столько банок? Когда понадобятся, всегда можно в магазине купить.

Она решила вымыть окна и пол. Ноги у нее болели, как

всегда, и поясница болела, но что же делать, надо потерпеть. Она разорвала мешки на тряпки.

Пока греется вода, надо вытряхнуть коврик. Софья Петровна вытащила коврик на площадку. В скважинах почтового ящика что-то темнело. Софья Петровна, тяжело ступая, пошла за ключом.

В ящике лежало письмо. Конверт был розовый, шершавый. «Софье Петровне Липатовой», прочла она. Ее имя было написано незнакомым почерком. И ни адреса, ни почтового штампа — ничего.

Забыв коврик на площадке, Софья Петровна кинулась к себе. Села у окна и вскрыла конверт. От кого бы это?

«Милая мамочка! — написано было в письме колиной рукой, и Софья Петровна сразу опустила листок на колени, ослепленная этим почерком. — Милая мамочка, я жив и вот добрый человек взялся доставить тебе письмо. Как-то ты поживаешь, где Алик, где Наталья Сергеевна? Все время думаю я о вас, мои дорогие. Страшно мне подумать, что ты, может быть, живешь сейчас не дома, а где-нибудь в другом месте. Мамочка, на тебя вся моя надежда. Мой приговор основан на показаниях Сашки Ярцева — помнишь, такой мальчик был у меня в классе? Сашка Ярцев показал, что он вовлек меня в террористическую организацию. И я тоже должен был сознаться. Но это неправда, никакой организации у нас не было. Мамочка, меня бил следователь Ершов и топтал ногами, и теперь я на одно ухо плохо слышу. Я писал отсюда много заявлений, но все без ответа. Напиши ты от своего имени старой матери и в письме изложи факты. Тебе ведь известно, что я Сашу Ярцева со времени окончания школы даже ни разу не видел, так как он учился в другом ВУЗ'е. И в школе я с ним никогда не дружил. Его наверное тоже сильно били. Целую тебя крепко, привет Алику и Наталье Сергеевне. Мамочка, делай скорее, потому что здесь недолго можно прожить. Целую тебя крепко. Твой сын Коля».

Накинув пальто, нахлобучив шапку, с грязной тряпкой в руках, Софья Петровна побежала к Кипарисовой. Она боялась, что забыла номер квартиры Кипарисовой и не найдет ее. Письмо она сжимала в кармане. Она не взяла с собой палку и бе-

## СОФЬЯ ПЕТРОВНА

жала, хватаясь за стены. Ноги подводили ее; как ни торопилась она, до Кипарисовой все еще было далеко.

Наконец, она вошла в парадную и из последних сил поднялась на третий этаж. Здесь, кажется. Да, здесь. «Кипарисова М. Э. — 1 звонок».

Ей открыла какая-то девочка и сейчас же убежала. Пробравшись по темному коридору мимо шкафов, Софья Петровна наобум открыла дверь и вошла.

Кипарисова, в пальто и с палкой в руках, сидела посреди комнаты на сундуке. В комнате было совершенно пусто. Ни стула, ни стола, ни кровати, ни занавесок, один только телефон возле окна на полу. Софья Петровна опустила на сундук рядом со старухой.

— Меня высылают, — сказала Кипарисова, не удивляясь появлению Софьи Петровны и не здороваясь с ней. — Завтра утром еду. Все до нитки продала и завтра еду. Мужа уже выслали. На 15 лет. Видите, я уже уложилась. Кровати нет, спать не на чем, просижу ночь на сундуке.

Софья Петровна протянула ей колено письмо.

Кипарисова читала долго. Потом сложила письмо и записала его в карман Софьи Петровны.

— Пойдемте в ванную, тут телефон, — шепотом сказала она. — При телефоне нельзя ни о чем разговаривать. Они вставили в телефон такую особую пластинку и теперь ни о чем нельзя разговаривать — каждое слово на станции слышно.

Кипарисова провела Софью Петровну в ванную, накинула на дверь крючок и села на край ванны. Софья Петровна села рядом с ней.

Вы уже написали заявление?

— Нет.

— И не пишите! — зашептала Кипарисова, приближая к лицу Софьи Петровны свои огромные глаза, обведенные желтым. — Не пишите, ради своего сына. За такое заявление по головке не поглядят. Ни вас, ни его. Да разве можно писать, что следователь бил? Такого даже думать нельзя, а не только писать. Вас позабыли выслать, а если вы напишете заявление — вспомнят. И сына тоже упекут подальше... А через кого при-

слано это письмо? А свидетели где?.. А как доказать?.. — Она безумными глазами обвела ванную. — Нет уж, ради Бога, ничего не пишите.

Софья Петровна высвободила руку, открыла дверь и ушла. Она торопливо, но медленно, брела домой. Нужно было закрыться на ключ, сесть и обдумать. Пойти к прокурору Цветкову? Нет. К защитнику? Нет.

Вынув из кармана письмо, она разделась и села у окна. Темнело, и в светлой темноте за окном уже загорались огни. Весна идет, как уже поздно темнеет. Надо решить, надо обдумать, — но Софья Петровна сидела у окна и не думала ни о чем. «Следователь Ершов бил меня...» Коля по-прежнему пишет «д» с петлей наверху. Он всегда писал так, хотя, когда он был маленький, Софья Петровна учила его выписывать петлю непременно вниз. Она сама учила его писать. По косой линейке.

Стемнело совсем. Софья Петровна встала, чтобы зажечь свет, но никак не могла отыскать выключатель. Где в этой комнате выключатель? Она шарила по стенам, натываясь на сдвинутую для уборки мебель. Нашла. И сразу увидела письмо. Измятое, скомканное, оно корчилось на столе.

Софья Петровна вытащила из ящика спички. Чиркнула спичку и подожгла письмо с угла. Оно горело, медленно подворачивая угол, свертываясь трубочкой. Оно свернулось совсем и обожгло ей пальцы.

Софья Петровна бросила огонь на пол и растоптала ногой.

*Лидия Чуковская*

19. XI. 1939 — II. 1940.

*Ленинград*

## ГАНИЙСКИЙ БЛОК-НОТ

1

*...Допустим, как поэт, я не умру,  
Зато, как человек, я умираю.*  
*Георгий Иванов*

Восходит солнце на востоке  
И снова к западу идет.  
Судьбы запутанные сроки  
Какая Парка расплетет?

И слишком много здесь туманов  
Вдоль Марны, медленной реки...  
Я погибаю, как Иванов,  
От той же нищенской тоски.

2

В краю лесов, мороза, снегопада  
Такая там бывает тишина!  
И вот уже мне ничего не надо,  
Когда воскреснет в памяти она.

3

В пространстве кружатся собаки,  
Летят к Венере аппараты,  
А небо тонет в полумраке  
И тучи словно клочья ваты.

Март светлый, март — весны преддверье,  
Март — радость всех котов на крыше,  
Магической хлопнув дверью,  
Шагов своих уже не слышит.

Как парус надуваясь гордо,  
Не прекращает он кичиться,  
А в вышине — собачья морда,  
В луну готовая вцепиться...

И всем, стоящим у порога  
Междупланетного конклава,  
Двуногим и четвероногим, —  
Неувядаемая слава!

## 4

Но всё-таки трава среди торцов  
Пробьется и весна другая будет.  
Тысячелетьями о вере и о чуде  
Поет нам хор согласных голосов.

И гордая как вихрь непобедимый,  
Жизнь торжествует, смерти вопреки,  
И все в цвету, столетьями хранимы,  
Качаются деревья у реки.

## 5

И вот опять чуть слышное движенье  
Каких-то электронов, может быть,  
Вдруг слышу я. И в этом смутном пенье  
Как музыку небес мне различить?

Она звучит там, за пределом мира,  
Где времени и расстоянья нет  
И вот опять заволновалась лира  
И глухо отзывается в ответ.

*Ю. Терапиано*

## БЕЗЫМЯННЫЕ ЗАПИСКИ\*

Осень 1921 г. Париж.

Не может не вскрикнуть почувствовавший боль, восторг или удивление: что ему до того, что вскрикивали уже тысячи других!

*Индийское изречение.*

Книга моей жизни, — ах, этот высокий стиль, эта нищета человеческих слов, столь нестерпимая особенно для нас, людей слова, измученных бесплодной борьбой с ним до того, что лучшие, искуснейшие между нами чувствуют себя почти бессловными! — Книга моей жизни есть книга без начала и конца;<sup>1</sup> кроме того, ей которая даже и теперь, несмотря на ее некоторые преимущества перед другими, так мало нужна миру, предстоит в самом недалеком будущем сдача в архив, тлен и забвение: вот наиболее роковые знаки, под которыми я жил всю жизнь. Хорошо знаю, что они участь общая. Но я всегда чувствовал и чувствую их гораздо сильнее, чем многие другие, — не по этой ли причине, кстати сказать, и стал я писателем, художником?

\* Все убеждены, что И. А. Бунин начал писать «Жизнь Арсеньева» в Грассе, в 1927 году, но первые наброски романа, которые я, разбирая архив Ивана Алексеевича, недавно обнаружил, были написаны в Париже в 1921 году. Эти автографы озаглавлены «Безымянные записки» и «Книга моей жизни». В 1926 году И. А. Бунин использовал часть страниц «Книги моей жизни» создавая рассказ «Цикады» (в 1951 г. он его назвал «Ночь»), который органически связан с романом «Жизнь Арсеньева». *Л. Зуров.*

<sup>1</sup> В «Жизни Арсеньева» сказано: «У нас нет чувства своего начала и конца». См. «Жиз. Арс.» Истоки дней, Книга Первая, стр. 7. Соб. Соч. И. А. Бунина. Петрополис. 1935 г.

Ноябрь, 1921 г.

## КНИГА МОЕЙ ЖИЗНИ

«Не может не вскрикнуть почувствовавший боль, восторг или удивление: что ему до того, что вскрикивали уже тысячи других?»

Это сказано кем-то, умершим тридцать веков тому назад, но чем я отличаюсь от сказавшего это? Умерли книги, написавшие люди о своем земном существовании, но что мне до того. Во все времена и века, с детства до могилы томит каждого из нас неотступное желание говорить о себе — вот бы в слове и хотя бы в малой доле запечатлеть свою жизнь — и вот первое, что должен я засвидетельствовать о своей жизни: это нерасторжимо связанную с нею и полную глубокого значения потребность выразить и продлить себя на земле.

И еще сказано в том же древнем писании: — «Книги наших жизней легко смешать. Не важно имя, которым условились называть меня в моем селении: когда я прохожу по другому селению, все думают только то, что идет человек. И когда я говорю о моей жизни, я непременно говорю и о твоей. Я не могу не искать сочувствия у тебя в моей боли, грусти или радости. Но ведь и ты не можешь. Подумай же, что это значит».

Да, пусть подумает это всякий читающий эти строки в этот и будущий день, когда даже имя мое исчезнет из людской памяти.

Как у всех, моя жизнь есть нечто не имеющее начала и конца, есть книга обреченная на тлен и забвение в самом недалеком будущем. И вот второе — столь тесно связанное с первым, — что надо сказать прежде всего. Постоянно сознание или ощущение этого ужаса преследует меня чуть не с младенчества, под этим роковым знаком я живу весь век. Хорошо знаю, что такой знак есть участь общая. Но мне кажется, что я всегда чувствовал и чувствую его гораздо сильнее, чем многие другие.

Я прожил почти полвека.<sup>2</sup> Но мне когда-то сказали это — то, что я родился в таком-то году,<sup>3</sup> в такой-то день и час: иначе я не знал бы не только дня своего рождения, — а следовательно и счета прожитых мною лет, — но даже и того, что я существую в силу именно рождения. Да и вообще странна основа моей жизни: стоит мне мало мальски задуматься над этой жизнью — тотчас же непонимание, ничем не разрешающееся удивление. Это как когда смотришься в зеркало: что это такое, кто это такой, кто это такой, которого я вижу, который есть я и о котором я думаю, и кто собственно на кого смотрит? Опасное занятие, с ума можно сойти.

Полагают, что лишь человек дивится своему собственному существованию и что в этом его главное отличие от прочих темных существ, которые еще в раю, в неведении, в недумании о себе. Если так, отличие не малое. Надо только прибавить, что и люди отличаются друг от друга — степенью, мерой этого удивления. Что до меня, то повторяю: я отмечен этим свойством очень явственно.

\* \* \*

Рождение ни как не есть мое начало. Мое начало и в той непостижимой для меня тьме, в которой я был от зачатия до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах, пращурах, ибо ведь они тоже я.

Да, Книга моей жизни — книга без всякого начала, если, конечно, не успокоиться на церковной записи, что мое существование началось полвека тому назад, на рассвете одного из бесчисленных дней, которые были и будут на земле. Но она и без конца, потому что, не понимая своего начала, не чувствуя его, я не понимаю, не чувствую и смерти, о которой я тоже не имел бы никакого представления и знания, родившись

---

<sup>2</sup> «Я родился полвека тому назад...» «Жизнь Арсеньева». Книга первая. Страница 7-ая. Собр. сочинений И. А. Бунина. Петрополис.

<sup>3</sup> «Мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте». «Жизнь Арсеньева». Книга первая. Петрополис.

и живя где-нибудь на совершенно необитаемом острове.<sup>4</sup> Я весь век под страшным знаком смерти, я несказанно боюсь ее.<sup>5</sup>

Очень зыбки мои представления времени, пространства.

Меня, по некоторым причинам, выделили из множества прочих людей. Выделили мои умственные способности, воображение, память, восприимчивость, умение высказывать себя. Что-ж, хотя жизнь моя есть почти сплошное и мучительнейшее сознание слабости и ничтожества только что перечисленных сил моих, я, по сравнению со многими, и впрямь выделяюсь в некоторых отношениях. И поэтому, то-есть по причине того, что я не совсем обычный человек, мои представления времени, пространства и ощущение себя самого зыбки особенно. Да и не могут быть иными — как у всех людей моего разряда.

Что это за люди? Это те, которых называют поэтами, художниками, созерцателями, творцами. Чем они должны обладать? Способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, не только свою страну, но и другие, не только себя самого, но и прочих людей.

Великий мученик или великий счастливец такой человек? И то и другое; ибо он не может не быть то тем, то другим, должен испытывать то восторг, то отчаяние, должен острее других чувствовать и тот океан, которого он есть волна, чувствовать связь волн — и рождение, жизнь отдельной волны, обреченной на гибель, на слияние.

Тысячи верст отделяют великий город, где мне суждено писать эти строки,<sup>6</sup> от тех русских полей, где я родился, рос. И обычно у меня такое чувство, что поля эти где то бесконечно далеко, а дни, которые считаются моими первыми днями, были бесконечно давно. Но стоит мне хотя немного напречь

---

<sup>4</sup> «А родись я и живи на необитаемом острове». «Жизнь Арсеньева», книга первая. Петрополис.

<sup>5</sup> Многоточием я везде отмечаю места взятые И. А. Буниным для рассказа «Цикады». Л. З.

<sup>6</sup> Париж. Л. З.

мысль, как время и пространство начинают таять, сокращаться. И так ведь и было всегда.

Не раз испытал я нечто по истине чудесное. Не раз случилось: я возвращаюсь из какого-нибудь далекого путешествия, возвращаюсь в те степи, на те дороги, где я некогда был ребенком, мальчиком — и вдруг, взглянув кругом, чувствую, что долгих и многих лет, прожитых мною, как не бывало. Я чувствую, что это совсем не воспоминание прошлого: нет, просто я опять прежний, опять в том же самом отношении к этим полям и дорогам, к этому полевому воздуху, к этому тамбовскому небу, в том же самом восприятии и их и всего мира, как это было вот здесь, вот на этом проселке в дни моего детства, отрочества... Нет слов передать всю боль и радость этих минут, все горькое счастье, всю печаль и нежность их!

В такие минуты не раз думал я: каждый цвет, каждый запах, каждый миг того, чем я жил здесь некогда, оставляли, отпечатывали свой несказанно таинственный след.

...Не раз чувствовал я себя не только прежним собою — ребенком, отроком, юношей, но и своим отцом, дедом, прадедом, пращуром; в свой срок кто-то должен и будет чувствовать себя — мною.

Я думал и думаю: богатство таланта, знание — что это, как не богатство того, что я назвал, отпечатками, как ни та или иная чувствительность их и количество их проявлений в луче того Солнца, что откуда то падает на них то ярче, то бледнее, в ту или иную минуту?

Все они и ум навеки померкнут, погибнут в могиле, в той последней тьме, куда отойдешь ты в свой день? Но разве не казалось тебе, что и при жизни мириады их уже погибли, утратили способность оживать, проявляться, и разве ты не ошибался? И где грань между тьмой могильной и той, в которой и при жизни таится твоя младенческая, детская, юношеская жизнь, жизнь, лишь в редкие мгновения озаряемая, оживающая?

Все же бесконечна и невыразима боль, тоска и нежность этих мгновений. Вот я чувствую воскресшее детство, отрочество, молодость, до жуткости чувствую телесность этого во-

скресения: но откуда же тогда и другое — чувство все-таки утраты, разлуки, потери? Что такое моя нежность — и вообще нежность — как не жалость, не сожаление? Этот прежний я, которым я опять стал, все-таки он бесконечно далек и бесплотен. И нет тех зримых дней, — зримых так, как я вижу сейчас эту бумагу, — что когда-то давали мне свет, лазурь, запах, радость, нет — и никогда не будет! — уже многих, многих, деливших со мной эти дни, тех любимых, милых, для которых как будто, — только как будто для них! — и жил я в этом земном мире. Услышьте меня, ушедшие и до могилы незабвенные! Но отклика нет — и не будет.

\* \* \*

Вспоминаю недавний день, на рассвете которого мне исполнилось сорок девять лет. По случайности или потому, что во сне все-таки теплилось во мне сознание, ощущение времени, условного деления и названия его, я проснулся в тот день как раз на рассвете. Нынче я родился, подумал я, и мне сорок девять лет. Ах, как страшна и велика казалась когда-то подобная цифра! Казалось когда-то, что это какое-то особое, почти страшное существо — человек, проживший пятьдесят, сорок, даже тридцать лет, какой-то директор гимназии, учитель с его очками, бородой и запахом табаку от фрака с золотыми пуговицами. И вот таким существом стал я сам. Что же я такое, сказал я себе, чем именно стал я теперь? И сделав маленькое усилие воли, мгновение подумав о себе, как о другом, — как дивно, что мы можем это! — я вполне живо ощутил, что я и теперь все тот же, почти все тот же, чем был и в десять и в двадцать лет.

Я зажег электричество, взглянул в зеркало: только некоторая сухость и определенность черт, серебристый налет на висках, несколько поблекший цвет глаз да многая душевная опытность отличают меня от прежнего — только это. И я особенно легко встал с постели, поймав ногами туфли, накинул шелковый халатик, — необыкновенно люблю шелк! — и вышел в другие комнаты, еще чуть светлеющие, еще по ночному спокойные, но уже принимающие новый, медленно приближающийся день, слабо и таинственно разделивший по сере-

дине, на уровне моей груди, их полутьму. Сладкая рассветная тишина покоилась еще и во всем том огромном человеческом гнезде, окружавшем меня, которое называется одной из вечных столиц мира.<sup>7</sup> Молчаливо и как-то по иному чем днем, стояли многочисленные дома, полные спящих сверху до низу, молчаливые и пустые, еще чистые улицы лежали подо мной, но уже зелено горели городские огни в их прозрачном сумраке. И вдруг, взглянув на этот сумрак, уловив в нем рождение нового дня, я опять, опять испытал то непередаваемое чувство, которое всю жизнь неизменно испытывал я, случайно проснувшись на ранней утренней заре...

\* \* \*

Нет, это только ничего не значущая случайность, — то что мне суждено жить не во дни Христа, Тиверия, не в Иудее, не на острове Кипре, а в так называемой Франции, в так называемом двадцатом веке. За всю долгую жизнь с ее бумагами, чтением книг, странствиями и мечтами я так убедил себя, будто я знаю и представляю себе огромные пространства места и времени, столько я жил в воображении чужими и далекими мирами, что мне все кажется, что я был всегда, во веки веков и всюду. А где грань между моей действительностью и моим воображением, которое есть ведь тоже действительность, тоже жизнь?

Печаль пространства, времени, формы преследуют меня всю жизнь. И всю жизнь, сознательно и бессознательно, то и дело я преодолеваю их. Но на радость ли? И да — и нет.

Я жажду жить и живу не только своим настоящим, но и своей прошлой жизнью и тысячами чужих жизней, современным мне и прошлым, всей историей всего человечества со всеми странами его. Я непрестанно жажду приобретать чужое и претворять его в себе. Но зачем? Затем ли, чтобы на этом пути губить себя, свое я, свое время, свое пространство — или затем, чтобы, напротив, утвердить себя, обогатившись и усилившись чужим?...

*Ив. Бунин*

---

<sup>7</sup> В рассказе «Цикады» Париж заменен южным приморским городом.

## ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

### 1

Но горю не помочь — и полно говорить  
О жалкой мелочи житейской:  
Нам реку черную придется переплыть,  
Доплыть до города Летейска.

Но я хочу — пойми! — на память взять с собой,  
На память взять в страну забвенья  
Хотя б дубовый лист с отчетливой резьбой  
И уберечь его от тленья.

Чтоб видела душа, покинувшая труп,  
Бродя в стране, где бродят тени,  
И августовский зной, и запыленный дуб —  
Иль хоть бы тень от летней тени.

### 2

Шепчу слова, бессвязно, безотчетно,  
Бессмысленно в безлиственной аллее,  
Проходит день бесплодно и бесплотно,  
Но темные слова уже светлее,

И вижу звук, как серебристый луч, я  
И кажется — не обречен шептать я:  
Уже слетает ангел полнозвучья  
Наплывом музыки и благодати.

А в небе отблеск — дымный, дынный, длинный —  
И колокол звонит (не дар Валдая)  
И синие цветы иной долины  
(Не то, что рая, но — иного края)  
В сиянии цветут не увядая.

### 3

Зачем, скажи, ты терпишь холод грубый,  
Не рвешь серебряную нить,  
Скрипач усталый, друг печальногубый,  
Кого надеешься пленить?

Кто слушает? Кто вслушается в пенье,  
Поймет мелодию твою?  
Один смычок целует в восхищенье  
Струну, певучую струю.

Ну чтож, мечтай, что там, у страшной двери,  
Где вьются тени средь теней,  
Увидишь ты, как тихо внемлют звери  
Певучей музыке твоей.

## 4

Да, милые мелочи — вас тоже потоп унесет,  
и внидут потемки в свои ледяные потемки.  
И значит, не надо житейских печальных забот,  
послушаем ветер в саду, синеватый, негромкий.

Послушаем вечер над цветущим жасмином, когда  
уже не поют соловьи, но трава напевает.  
Кукушка, не спи, это полдень, давай, погадай.  
А впрочем, я знаю, кукушек в садах не бывает.

Уже над левкоями, там, аквамарин светляка,  
и ночь расцветает большой темно-синей лилеей.  
Не надо грядущих несчастий. Вот так — на века.  
А может быть, а, — на далекой звезде веселее?

## 5

Кто запустил в это серое небо  
семь разноцветных шаров?  
Словно бы взяты живыми на небо  
семь драгоценных тюльпанов.

Вот и темно, но вслед за шарами  
везет самолет огоньки:  
Бог украшает цветными шарами  
ветки невидимой елки.

«Лопнет, как мыльный пузырь — и скоро —  
шар, на котором живем».  
Всё-таки это, пожалуй, нескоро.  
О, улетим за летучим огнем,  
с легким огнем поиграем.

*Игорь Чиннов*

## УРБИНО

В Тоскане, в Умбрии, да и во всей центральной Италии, облик средневекового города прежде всего определяется тем, что он построен на холме. Чаще всего он увенчивает этот холм (который нередко можно назвать горою), его зубчатые стены и башни пресекают вам путь в высоту, а войдя в укрепленные ворота вы снова подымаетесь по его кривым и узким улицам, частью и по лестницам, к вершине, где обыкновенно и найдете вы его ратушу, «Палаццо Публико» и его собор, — на двух отдельных площадях или на одной и той же, собирающей горожан и для управления и для богослужения, **соборной**, в обоих смыслах хитрого этого слова: церковной и вместе с тем коммунальной, общинной.

Есть, конечно, исключения, и знаменитые: Флоренция в долине Арно, в продолговатом обрамлении своих нежно-зеленых и нежно-голубых высот; равнинная — лагунная некогда — Пиза: предгорная Лукка в кольце своих стен; Сиена в своей воронкообразной котловине. Есть разросшиеся городки, выплеснувшиеся за стену, спустившиеся, как Перуджия, почти к подножию холма. Есть построенные с самого начала не на вершине, а на склоне. Но типичен облик именно увенчивающего возвышение города или городка, — типичен для всамделишных, а потому и для воображаемых городов, как нам их рисуют живописцы XIV-XV века. Как они ежатся, как щетинятся там, на своей вышке! Глубоки их колодцы, вместительны кладовые и погреба. Попробуй, возьми нас измором, после того как расшибся ты о наши стены и был облит с башен кипятком и горящею смолой! Ну а ежели ты мирный пришелец, подымайся медленно к воротам; переступив порог, поклонись Мадонне, вон ее часовня, и подымайся выше, будь гостем в нашем общем доме. Хоть и спорим мы между собой, да и де-

ремся, порою насмерть, тут, внутри стен, все же наше совместное жилище; на улице ты точно взаперти, пока за угол не завернешь; смотри: из окна в окно переглядка, из двери в дверь перебранка, а на площадь выйдешь — тут мы собираемся, толкуем о делах, торговых и городских, тут ты опять внутри, как под крышей, только что без крыши. Кругом домá, за ними другие домá или стены; полезай на колокольню, если хочешь поглядеть окрест...

И в самом деле, средневековым городам, даже и не нагорным, чужды прямоугольные пересечения «проспектов», уходящих в неприкровенную зияющую даль. Кривизна их улиц совсем вблизи замыкает горизонт, а площади, даже большие не открываются широко в пространство, никак не могут нам напомнить ни Марсова поля, ни хотя бы лишь Дворцовой площади в запоздалой нашей (и теперь заштатной) Северной Пальмире. Что же касается старинных городов по сю сторону Альп, то они так же перегорожены и отгорожены, как южные, но редко соперничают с замками по части увенчания высот, и жители их, кроме того, куда меньше живут на площадях и улицах, чем южане. В тех, что побогаче, дома бывают щедрей разукрашены, чем в Италии, особенно, чем в этих тосканских и умбрийских городах: зато здесь ощущается какая-то строгость и гордость, одинаково присущая и отдельным зданиям, и городу в целом, которая там отсутствует. Быть-может это объясняется тем, что в Италии феодальная знать, даже имея замки, жила, хотя бы часть года, в городах. Это могло способствовать аристократизации буржуазных вкусов; во Франции, в Германии этого не было. Францисканский монах, брат Салимбене из Пармы, присутствовавший в ста верстах от Парижа, в городе Сансе, при въезде туда короля Людовика Святого, нашел, что тамошние дамы, в праздничных своих нарядах, похожи на горничных; *pedissequae esse videntur*, говорит он на забавной своей латыни. У нас, мол, не так. «У нас», скажем мы за ним, т. е. в Италии, в XIII веке, как и позже, городской патрициат не совсем того же был состава и не совсем тех нравов, что на Севере. Отчасти пожалуй потому и Франциск, сын Петра Бернардоне, купца из Ассизи, так смолоду был не похож

на купеческого сына. Потому, быть-может, и в творениях флорентийца Данте Алигьери, приписанного к цеху торговцев лекарствами и пряностями, решительно нет ничего, что хоть издали отзывалось бы мещанством. Суровыми могли показаться иноземцу те каменистые нагорные городки; но, думаю, там, и в торговых рядах не много было совсем уж «галантерейного», приказничьего духа. Орвьето, Тоди, Губбио, Сан Джиминьяно, — нет, даже нынче, при всей массовой уравниловке туризма, не дышат им они. Их высокая бедность им зачита: нагота их неболтливых стен.

\* \* \*

Таков же на своем с двойною вышкой холме, простой и гордый, дружелюбный и царственный Урбино. Он немножко на отлете, на полдороге к морю от тех мест, где граничит Умбрия с Тосканой; и была у него особая судьба. Его замок-дворец не имеет себе равных, да и властитель, князь-кондотьер, по чьей воле замок был построен, тоже, в пятнадцатом веке, среди себе подобных, равных себе не имел. Шапошное с ним знакомство (в смысле «шапку долой») легко завести, еще не повидав его дворца, во Флоренции или в Милане. Мастер, из самых прославленных нынче (и вполне достойный всяческой славы), Пьеро делла Франческа, изобразил его коленапреклоненным пред Богородицей с Младенцем, окруженной святыми. Он в латах поверх кольчуги; шлем с забралом, железные рукавицы и полководческий жезл положил перед собой на землю; молитвенно сложил старческие уже и трудовые, невыхоленные руки (на левой три кольца) голову же, большую с выпуклым лбом, не склонил; мы видим в профиль его необычайно горбатый нос, резко вдавленный сверху, и четыре бородавки на щеке. Это и есть Федерико да Монтефельтро, герцог урбинский. Картина теперь в Милане, в галлерее Брера, но происходит она из монастырской церкви в ближайших окрестностях Урбино, где висела над главным алтарем, и повидимому написана была в ознаменование двух быстро следовавших одно за другим событий; рождения сына герцога, Гуидобальдо, и смерти его жены, Баттисты Сфорца, погребенной в этой церкви, как впоследствии и Федерико, и его сын. Пережил он жену на де-

сять лет, и на такой же срок пережил его, своего друга и покровителя, Пьеро делла Франческа (умерший в 1492 году); но картина эта — вероятно последнее произведение его: он стал слепнуть задолго до смерти, да и к живописи охладел, возлюбив математику и архитектуру. Однако, не в первый раз написал он тогда герцога. Тот же горбоносый профиль с теми же бородавками предстает нам в знаменитом флорентийском двойном портрете. Справа — герцог, слева — его жена, на обратной стороне они едут навстречу друг другу на триумфальных колесницах, в сопровождении различных аллегорических фигур, а за ними расстилается далекий холмистый, полужантаслический и все же правдивый, пронизанный воздухом и светом прозрачно-серебристый пейзаж.

Третий портрет Федерико остался в его дворце, откуда столь многое — почти все — исчезло из находившегося там прежде. Писал его испанец Педро Берругете, который вместе с фламандцем, Юстом из Гента, украсил рабочий его кабинет изображениями древних и новых мыслителей, ученых и поэтов, — частью и сейчас они там, частью перекочевали в Лувр. Герцог — опять он повернут к нам левой стороной лица — сидит в высоком кресле; у ног его жезл и шлем; поверх лат мантия с горностаем; к поясу пристегнут меч; на правое его колено, в торжественном одеянии, держа скипетр в руке, опирается малолетний его сын. Но сам военачальник и властитель, воли своей не провозглашает, ни войной, ни казнью не грозит: он держит в руках, слегка опирая его на пюпитр с резным, готическим еще узором, тяжелый раскрытый фолиант, и внимательно его читает. Эти руки его, мы их сразу узнаем, они те же, что в Милане, их и там (как давно уже замечено) не Пьеро писал, а Педро. Крепкие руки: для меча! Но и книгу они держат крепко. Тридцать лет был он наемным полководцем, хоть в наем себя сдавал и не вовсе, как иные, без разбору: бился бодро, вел войну умно, жег и грабил, как полагалось, добычей не гнушался, плату взимал без уступки, казну приумножил, но городом и его округой, наследственной вотчиной своей, еще Барбароссой, за три века до того, пожалованной его предку, правил милостиво и мудро, от нее наживы не ис-

кал, а нажитое мечом, или продажею меча, щедро тратил на ее благоустроенье и украшенья. Правда, наибольших затрат несомненно требовал огромный его дворец, но ведь ими он и питал тех, чей труд был ему здесь нужен, да и был этот дворец в большей мере учреждением, чем жилищем, был рассадником знаний и умений, добрых нравов, высоких искусств. Надо помнить и нам об этом, когда мы приезжаем в Урбино, — ради дворца приезжаем, и находим в великолепных его залах всего лишь скромную сравнительно и в недавнее время размещенную там картинную галерею.

Федерико личных раскошеств не любил. Не мог бы Петрарка, с того света взглянув на него, сказать, повторяя свой отзыв об одном князьке своего века, что он разукрашен, как церковный алтарь в праздничные дни. Одевался и держал себя просто. Без свиты гулял по городу, заходил в лавки и мастерские. Приема у него долго ожидать не приходилось. К его столу приглашались люди всех званий, способные вести разумную беседу, и двор его современники уподобляли той академии до всех академий, которой во Флоренции, в те годы, окружил себя Лоренцо Медичи. Недаром был Федерико учеником гуманиста (Витторино да Фельтре). Не одному военному искусству обучались при его дворе молодые люди с разных концов Италии, да и не из одной Италии, посылавшиеся к нему. Гуманисты, жившие здесь годами, читали им лекции, на которых любил присутствовать и сам герцог. Собрал он большое количество древностей, произведений искусства, музыкальных инструментов, но главной гордостью его было книгохранилище, содержавшее много драгоценных рукописей, греческих, латинских, еврейских, большинство которых поступило впоследствии в ватиканскую библиотеку. После его смерти, болезненный его сын, при поддержке просвещенной жены своей, Елизаветы Гонзага, продолжал держаться порядков, заведенных отцом, как и унаследовавший (по усыновлению) герцогство племянник его, Франческо Мариа делла Рóвере. В знаменитой книге графа Бальдазара Кастильоне «Царедворец» (*il Cortegiano*) пересказаны беседы, которые каждый вечер велись во дворце в 1507 году, под всегдашним председательством герцогини

Елизаветы. Тема этих бесед заранее была установлена по всеобщему согласию с предложением одного из их участников. Обсуждался все эти вечера, во всех подробностях, идеальный образ «царедворца», т. е. в сущности человека добрых нравов и хороших манер, того, что позже, по английскому образцу, повсюду в Европе стали называть джентльменом. Книга Кастильоне имела огромное влияние. Можно сказать, что в этом чересчур большом для крошечной столицы дворце были, не выдуманы, конечно, но едва ли не впервые сознательно обдуманы и определены, те правила поведения и те мерила воспитанности, образованности, умственного и словесного изящества, да и подлинной, хоть и немножко показной, морали, которые затем признавались веками (пусть и в измененном виде) обязательными для все расширявшегося круга людей, и которым подчиняемся во многом еще и мы, сами того не зная.

\* \* \*

Теперь, вспомнив все это, мы войдем с особым чувством во дворец, о котором Кастильоне сказал, что это целый город в образе дворца. Незримо встретят нас там и вояка-книголюб, которого назвал он «светочем Италии», и герцогиня Елизавета, о которой говорит он всегда с такой нежной почтительностью (ее немощный муж после ужина уходил к себе, в беседах участия не принимал); и сам он, вежливый граф, отнюдь не лукавый царедворец, чей облик хорошо нам знаком по луврскому портрету, написанному несколько позже — в Риме — его другом Рафаэлем. В год, когда шли беседы, Рафаэль был во Флоренции, Урбино давно оставил, хоть порой, быть может, сюда и наезжал. Знаменит он уже был, о нем упоминается в беседах, говорится о «грации» его; и ведь он здесь вырос, это его город, — нет, невидимо и он будет нас во дворце сопровождать. Именно грация, высокая естественность его искусства, та, что совсем не присуща сырому неотесанному естеству, разве не впитал он ее здесь, или хоть мечту о ней, мечту, вдохновлявшую в конечном счете и всех собеседников «Царедворца», всех придворных этого непохожего на другие дворы, но которую он один сумел воплотить — не рассуждая

о ней — в лучшем, что он создал, самом благодатном; за что и даровано ему было столько славы и любви.

Посетить мы не забудем и дом, где он родился и где научил его ремеслу очень ремесленный живописец, его отец. Милый старый дом на улице, круто подымающейся к другой вышке, не той, где замок; но до замка все же дойти от него можно в пять минут. Погуляли мы — вниз и вверх — по городу, заглянули в церковь, одну, другую, поглядели на горную панораму, открывающуюся то тут, то там, полюбовались снизу на боковой фасад замка с двумя башнями и лоджиями между ними, зашли в собор, большой и холодный, переделанный в конце XVIII-го века — там есть картина Федерико Бароччи, чудеснейшего, когда он в ударе, здешнего живописца, наследника Корреджио больше, чем Рафаэля; но живописца, чья живопись не случайно все же в Урбино родилась: он слышал ту музыку, к которой до него так усердно прислушивались тут, так настойчиво хотели слышать...

И вот мы входим во дворец. Его квадратный двор — всем временам урок гармонии и простоты, как и тронный зал в спокойном величии своем, не суровом, приветливом, но чего-то все же требующем от нас — того самого, чего требовали от себя и друзей своих тени, вышедшие нам навстречу. Архитектор Лаурана (славянин, с того берега Адриатики) работал для них. В этом же духе и все другие, по его планам возведенные покои, — те, где жил Федерико и его рано умершая жена, те, в которых жена его сына собирала гостей и управляла их беседой. И старый Пьеро, сын Франчески, из соседнего тосканского городка, уже этим воздухом дышал, как видно хотя бы по архитектуре в здешней («Бичевание Христа») или в миланской его картине. И юный Браманте, и Рафаэль, и позже еще этот женственный, живописный, умиленный, изнеженный Бароччи... Как будто раскрыл свою книгу Кастильоне, перелистнул первые страницы, посмотрел на нас, слушаем ли мы, и стал читать:

— На склонах Аппенин, почти посредине Италии, но ближе к Адриатическому морю, высится, как все знают, маленький город Урбино...

Мы слушаем и не можем не думать: в городке этом ключ — один из драгоценнейших тайных ключей — к тем созданиям этой страны, о которых едва ли не с большим еще правом, чем обо всех других, мы говорим, мы должны сказать, что они неповторимы и незаменимы.

*В. Вейдле*

## СТРАННЫЕ СТИХИ

### ТАМ

В том городе, откуда я пришел,  
Дворцы и храмы не похожи  
На ваши, нет, и лица тоже.  
И ничего у вас я не нашел  
Ни на земле, ни в небесах, что мне  
Хотя бы чуть напоминало  
О нашем счастье небывалом,  
Какое вам не снилось и во сне.

Но та же ведь и здесь горит звезда,  
У вас, на небе предрассветном.  
В кольце любви, в кольце заветном,  
Заклочены все души навсегда.  
И на пиру богов мы не одни  
За чашей круговой пируем.  
Но мы, свободные, ликуем,  
А ваши прокляты пустые дни.

### ОГОНЬ

Это все, что я имею — тело.  
О душе не спрашивай: сгорела.  
Как — не знаю сам. В одно мгновенье.

Не было ни страха, ни томленья.  
Над водой луна плыла, качаясь,  
И в пустой воде не отражаясь.

И увидел я тогда впервые  
Те глаза — не добрые, не злые, —  
Под спадавшей до земли вуалью,  
Что сожгли меня своей печалью.

## УЛЫБКА

*Мы, сильные, свергаем власть рабыни,  
Свергаем — Красоту.*

*З. Гиппиус.*

Змей, с каким никто не смел сражаться,  
Обезглавлен. И твои уста,  
Разучившиеся улыбаться,  
Улыбнулись вновь, о, красота!

И растаяла, как призрак зыбкий,  
В свете ярко вспыхнувших огней,  
От божественной твоей улыбки  
Безобразная толпа теней.

## БЛИЗНЕЦЫ

В темнозеленом золоте листвы,  
Как в ожиданья полной чаще райской  
(Куда пути утеряны, увы!)  
Играли мы в неожиданный полдень майский

Веселые два брата близнеца.  
О, как чудесно были мы похожи!  
Мы дрались и смеялись без конца,  
В зеленой тьме друг другу строя рожи.

И целовались. Не было смешней  
И радостней для нас, чем это сходство  
На свете ничего. И лишь поздней  
Мы поняли, в чем наше превосходство.

Не ждите объяснений: все равно  
В том сне волшебном все необъяснимо  
И птица, что влетела к нам в окно,  
И женщина, что проходила мимо.

*Владимир Злобин*

## ПАМЯТИ ПОЭТА

Не закрепленный бичевой,  
Он странным телом инородным  
(Каким-то пьяницей свободным)  
Скитался в синеве живой, —  
Быть может, ангелом безродным  
Летел по ломаной кривой.

Это из стихотворения Корвина про сорвавшийся воздушный змей.

Не виделись мы с ним давно, очень давно, со времен догитлеровского Берлина, но письменная связь не была порвана и Океаном, и из-за Океана продолжал он мне посылать свои своеобразные письма: кое-что о семье, немного о себе и весьма объемисто — или нечто вроде математического трактата или детальный экскурс в Бородинскую битву или яростный выпад против Михаила Черниговского... Когда я попросил Корвина подробнее остановиться на обстановке, в которую он попал, переселившись из Парижа в Америку — он мне ответил: «Я — вне быта!» Трудно сказать, было ли это обронено с гордостью или с горечью. Вероятно, и того и другого было поровну. Но совершенно наверняка, что в ответе Корвина было очень мало поэтической фигуры и была большая доля истины. Определенная внебытовая печать лежала на всем его облике. Возможно, что уже в самые ранние годы влекло его из мира реальности — во всяком случае, в те ранние годы, о которых позднее так хорошо будет сказано: «Есть счастьем меченные дни—Как золотой песок они—В сердечной трещине осели». Эти ранние годы запечатлены в его поэме «Золотой песок» какими-то летучими видениями с милыми призраками, расплывающимися, сплетающимися с такой же ирреальной действительностью. И, конечно, образованию крепкой бытовой оболочки мало способствовали дальнейшие годы, когда «Пустынные дороги и война — Нам заменили классиков сполна», когда

«Привычно кровью истекая — Мы отступали в никуда». И это «никуда» обернулось Берлином начала двадцатых годов.

Меньше, чем после второй мировой войны но, конечно, и тогда Берлин, и существование в нем, выпадали из реально-сти. Нас, нежданно причаливших туда, прежде всего подавило серое однообразии облупившихся домов, почти всегда пяти или шестизэтажных, вытянувшихся безупречно прямыми у лица - ми и мы беспомощно терялись, не различая, где Шиллер-, где Гётештрассе. А временами город упал в крошечную темно-ту и зловещую тишину: частичные забастовки сменялись все-общими и подходящи для хмурого большого города бывали преступления: где то на задворках убивали женщин, делали из них сосиски и по ночам на углу каких-нибудь Кант- и Шопен-гауерштрассе по виду такие симпатичные сосисочники прода-вали запоздавшим гулякам из аппетитно сверкающей эмали-рованной посуды сосиски, сдобренные горчицей ... Никак не был в те первоначальные годы уютен Берлин и лишь медленно, постепенно научились мы различать его особые черты. Каждая из пугавших улиц приобретала свой характер — мы креп-ко срослись с Берлином. Он оживал вместе с нами. И когда злая необходимость заставила расстаться с ним, оторваться было по настоящему больно. К тому же ведь мы отрывались от своей молодости!

«Междоусобицы гражданской — Полусозревшее зерно — Я по ветру лечу давно» ... в этом наши судьбы с Корвиным со-шлись: я попал в Берлин тоже побывав в несколько странной «освободительной армии», которая, воодушевленная приказом командира «бей в морду, как в бубен, за все отвечаю», вместо Москвы захватила одну из столиц Прибалтики, к счастью, без-кровно. Но и этого для меня было достаточно, и я, кое-как, в остатках военного обмундирования, с помощью доброй руки, протянутой из Берлина совершенно до тех пор незнакомого мне В. Б. Станкевича, — осел в Берлине. Ко времени появления Корвина я сидел там уже сравнительно крепко, снимая комнату у «военной вдовы» с искушающей фамилией — Кокотт. Но фамилия обманывала: вдова была почтенная, высокая, подсох-шая, с лицом заостренным, в древних пожелтевших букольках, всегда подрагивающих словно подвески на люстре (ибо сама вдова всегда слегка подрагивала) и только-только не звенев-ших. От военного прошлого на главной стенке ее комнаты

оставался портрет усатого Вильгельма и под ним же, как полагается по рангу, столь же усатые изображения ее мужа.

Была у нее еще привычка, утром, перед тем как войти в мою комнату с завтраком (ячменный кофе уже разведенный беловатой жидкостью и кусочки хлеба с свекольным мармеладом) — дрожаще проскандировать:

— Раз, два, три! Как хозяйка, имею право войти не постучавшись! — и только после такого на всякий случай предупреждения, распахивалась дверь... Это все, что оставалось у нее от военного прошлого, в остальном была она глубоко штатской, равно ненавидя и войну, и революцию.

На фрау Кокотт я производил сильное впечатление точностью своих уплат за комнатку, основной мебелью которой было вздувшееся перинами огромное двухспальное ложе, оставлявшее место только для столика, исполнявшего массу посторонних обязанностей и стула, прикрывавшего подушкой с золотыми кистями просиженную дыру. Да, была еще красивая кафельная печка, никогда не топившаяся; на ней я умудрялся писать, а в ней хранить свои рукописи. Моя аккуратность в расплатах основывалась на том, что я уже имел тогда подобие твердой почвы под ногами в виде крохотного, но постоянного гонорара в только что открывшемся «Руле», где до самого конца этой газеты вел я театральный и художественный отделы. Было, конечно, несколько парадоксально, что я, облаченный в какое-то полувойенное сборное одеяние, часто полуголодный, был посетителем первых рядов партера премьер берлинских театров. Но все же по сравнению с многими другими такое парадоксальное положение было даже привилегированным.

Не помню, где, когда, при каких обстоятельствах мы впервые сошлись с Корвиным. Он возникает как то сразу уже сидящим на единственном стуле моей комнаты: большая голова с крепко высеченными чертами, под гладко расчесанными на прямой пробор черными до блеска волосами, очень высокий лоб, всегда очень внимательно глядящие глаза, острый нос, энергичный подбородок. Большой голове и крупно высеченным чертам подходил бы высокий рост, но Корвин был хотя и крепок, но роста небольшого. Облачен он был в военную шинель разнообразных оттенков, неснимающуюся и в моей комнате.

В течение ряда лет был он моим утренним посетителем почти ежедневным. Газетная моя работа отучила меня от вставания в нормальное время, да и температура не привлекала выбираться из двухспального ложа, он же старался надолго поглубже врасти в кресло, в подушку с золотыми кистями. О своей жизни, и прежней, и недавней, он говорил неохотно, чувствовалось, что очень еще болит. И долго я не знал, на что он живет и где обитает. Внебытовую окраску придавало ему еще и то, что носил он фамилию двойную Корвин-Пиотровский и все не мог приспособиться, какой половинкой звучнее называться. Остановился, наконец, на второй и первые сборники так у него и появились: Вл. Пиотровский.

Говорил (с некоторым сомнением) какой он поэт уже теперь и (с большой уверенностью) каким поэтом он станет. Стихи свои читал очень охотно, читал просто, без подпеваний и завываний, оттеняя смысловую ткань стиха, будто уже и в те времена предвидя **что** именно станет главным в его поэзии. А дойдя до какой-нибудь «тонкости», не мог удержаться, чтобы либо хитро не подмигнуть, а то и языком прищелкнуть: а, каково?

Чтение стихов тонуло в табачных дымах, Корвин же свою поэзию заправлял еще моим завтраком, благо не любил я это ячменное кофе с серым хлебом, а для Корвина было это, вероятно, и обедом. Конечно, чтения заключались диспутами, иногда даже бурными и тогда — «Раз, два, три, как хозяйка, вхожу не постучавшись!» — в дверь просовывалась голова Кокотты, но подрожав букляшками, она сейчас же, как некий дух, исчезала и даже с просьбой ее простить.

Не помню, чтобы дискуссии наши выливались в серьезные разногласия. Последствием их бывали вымарки, исправления, а то и вовсе стихотворение писалось заново или выкидывалось. Стихи у Корвина выливались с легкостью поразительной, но с тем большим упорством работал он над отделкой. Конечно, во многом были они еще незрелы, а порою и никак для него не характерны. Уже и в те баснословные года выходили журналы и альманахи и преимущественно с названиями сугубо русскими: «Жар-Птица», «Сполохи», «Струги». Своею русскостью первые стихи Корвина очень подходили к таким названиям и, за неприбытием еще в эмиграцию старшего поколения, расположившийся один на вершущке нашего Олимпа

Саша Черный впрочем, совсем не черный, а уже седой — прочил покровительственно Корвина в продолгатели русских традиций гр. Ал. К. Толстого. Человеку свойственно ошибаться — несколько лет спустя профессиональный критик «сладчайший» Ю. И. Айхенвальд после «Машеньки» приветствовал в лице Сирина-Набокова восходящего Тургенева!

В ту первобытную пору заработков наших на пивные пиршества еще не хватало и долгими ночами, иногда до рассвета, выхаживали мы с Корвиным ниткой растянувшиеся улицы, куда только не забредали и о чем только не договаривались — непередаваемые многозначительные разговоры обо всем и ни о чем! Но меньше всего говорили мы о жизни текущей, представляя ей течь, как ей угодно, совершенно в нее не вмешиваясь. Только тогда, когда берлинское небо начинало тихо бледнеть и легкий ветер веял от Тиргартена и Груневальда сжежим воздухом, от прикосновения которого вся городская зелень сразу погружалась во всяческое чириканье, которое вдруг заглушал утренний грохот катившегося последнего конного омнибуса «Центр-Галлензее», за ним следом, бойко вскачь грохотал фургончик первого молочника — только тогда мы расходились, никак не уставшие, но хорошо освеженные и нашей бес-толковой беседой, и берлинским утром, таким прекрасным, что не забывается оно до сих пор.

А зимой, когда в комнате нетопленная печка только раздражала своими живописными кафелями, а улицы пронзали сквозняками, согревались мы, бывало, в щедро отапливаемом поезде окружной дороги: «большое кольцо» ее катило через самые дальние предместья часа четыре, цена же за поездку не увеличивалась, была одинакова на одну ли станцию или катать вокруг всего Берлина от вокзала Шарлоттенбург до Шарлоттенбурга же!

Мы, подложив на деревянные скамейки верхние одеяния, располагались довольно удобно, но предаваться симпозиуму было трудно: после вскриков на станциях горловыми, немцам одним присущими, голосами — «Готово! Отправление!» — спасенные от репараций древнейшие довоенные вагоны скрежетали, скрипели, лязгали на остановках, задрожав, подбрасывали. А за окнами свистело и шипело — казалось, что это наша ностальгия разлетается там плотными клочьями пара, оседая и стекая по окнам мутными слезами. Не рассмотреть через

заплаканное окно, куда, в какие края нас занесло, можно было при желании воображать, что Бог знает куда. Но мы, наслаждаясь в полном молчании, растворялись в банном парном жаре, выключавшем всякие желания. И такие прогулки тоже были хороши.

После такого первобытного счастья возник первобытный рай. На одной из предвокзальных площадей, застывшей в неприятной серой хмурости, в сыроватых и темноватых залах прогоревшей пивной — возник Союз русских студентов. Чтобы утешить русских студентов в их тоске по родине, художник Меерсон, очень по виду похожий на Мейерхольда, разрисовал все стены такими же остроугластыми, как он, неграми, пляшущими и дудящими, в красных и желтых фраках. Когда эти пляшущие негры были изготовлены, на фоне их русские студенты могли начать бурно раздробляться на монархистов, демократов и крайних левых и для смягчения политических страстей культурной духовной деятельностью, — в одной из пустых комнат были сооружены полки, на них навалили книжные новинки, сверху Меерсон кривыми буквами начертал — «Пантеон» — и открылась книжная лавка стараниями общего приятеля разбитного около-студента по прозвищу «хохмач», что одесски значит: острослов. Тогда уже естественно было начаться всевозможным литературным выступлениям и, конечно, через много лет и кусочек от этого преобразится так в поэме «Поражение»:

Согревшись в беженской пивной  
Мы вспоминали цвет сирени,  
Расстрел под северной луной,  
Садов взволнованные тени —  
Но и в скитальческой тоске  
Поэты наши и пророки  
Дорожной палкой на песке  
Упрямо выводили строки.  
Недолговечные слова,  
Косноязычное томленье, —  
Маститым критиком едва  
Замеченное выступленье...

А потом началась эпопея Утеш. Такова была фамилия владельца обезлого, исходящего пивными испарениями кабачка,

затерявшегося между бесчисленными улицами Шиллера и Гёте. Как-то само собою пошло, что группа разудалых болгарских студентов слилась здесь с бурным морем студентов русских и все это возглавлялось «элитой» — ее представляли мы, несколько молодых литераторов, поэтов, художников. Очень долго ежевечерне заседали мы здесь с Корвиным, все наши вечера начиная одним и тем же — игрою в шестьдесят шесть. Вошло уже в нашу привычку, что в выигрыше оставался всегда прирожденный математик Корвин, я же, имевший в аттестате зрелости по математике тройку с двумя минусами (да и то по снисхождению) расплачивался яичницей доходившей до десятка яиц. В проигрыш входил и «гrog а ля Бурдон» — памятная, в нос бьющая, крепко приперченная смесь пива со шнапсом, названная в честь некоего Бурдона, славного кавалера, во времена мифические будто бы перепившего даже саму фрау Утеш, а это было не легко! Обычно в начале вечера она деловой немецкой хозяйкой царила за пивной стойкой, светлосудрая, колышащая пышным бюстом. Но постепенно, после нескольких знаменитых грогов фрау Утеш все более приходила в оживление и вдруг из-за своей стойки простирала над нами руки, словно всех широко обнимая и пронзительно восклещала:

— Ай-да-да-да! Давай петь по руски! — и затягивала дрожащим тремоло: — Вольга, Вольга, мать родная... — Мы все дружно подхватывали. И если маленькому, попугаеобразному герру Утеш не удавалось во время вытолкнуть жену в их семейные комнаты, она начинала целовать нас подряд, обнимая и поодиночке и группообразно. А под конец все выливалось в общий пляс с гиканьем и топаньем — «Половецкие пляски» из «Князя Игоря»!.. Друг мой старинный, дорогой мой сверстник! Среди потревоженных здесь теней, пожалуй, мы одни с тобой пока еще живы. Прости меня, ныне почтенный и по многим заслугам уважаемый, позволь не обойти в этой эпопее и твоей привычки: в завершение пляса, с графином в руке, в живописной позе застыть, прищуриться, по-половецки гикнуть и — бац графином об стену! — Ух! Сошел с рельс! — и за графином пошло уже все, что под руку попадет! Однажды мы, захваченные твоим порывом и бросившимся в головы «гrogом а ля Бурдон» начали безжалостно метать в стенку чем попало, оставляя без внимания мольбы герра Утеш. Ужасны бы-

ли последствия. На следующий вечер нашли мы двери «нашей комнаты» запертыми, впускали только в первый «общий зал»...

По этим, может-быть чересчур подробным описаниям все же яснее можно увидеть, как вопреки миру внешнему удивительно вызревала поэзия Корвина, совершенно этому миру чуждая, и в своих образах, и в замкнутости строгих узаконенных форм. Однако, одним несомненно повлиял этот мир и на характер самого поэта, и на его поэзию: своим уклоном в некоторую ирреальную гофманщину, только без ее чертовщины; и уходя своим творчеством от нее в прошлое, Корвин, думается, подсознательно хотел обрести во временах далеких нечто более крепкое, более устойчивое, чем колеблющееся окружающее.

Характерна одна из многочисленных неожиданных его реакций, показывающая, как крепко и глубоко, совершенно вне окружающего, постоянно работала его мысль и как где-то далеко пребывало его существо.

Однажды чудесной июньской ночью, выйдя из пивной Утеш, вероятно под влиянием выпитого, хватил нас с Корвиным на то, чтобы ночным поездом докатить до Потсдама. Старинными улочками, утопавшими в таинственности тихого предутреннего часа, дошли мы до Сан Суси. Калитка главных ворот парка стояла приоткрытой, немного тому подивившись, мы вошли. И через весь парк, застывший в лунном сиянии, в ароматах сирени и жасмина шли мы онемевшие и даже ступать старались неслышно. А когда вышли на огромную площадку, всю в розах, перед «малым Версалем», Корвин подскочил к одной из мраморных богинь и, облокотившись на ее пьедестал, начал с подъемом, во весь голос читать свое стихотворение о том, как «сад в три дня молоком облит», а под кустом «половечная девка спит» и что «надо забирать ее в полон». Хотя стихотворение было и очень хорошо, но я предпочел не без труда повлечь его скорее из парка и у входа, сбоку, мы заметили: «вход строго воспрещен и только по разрешениям в конторе до 12 часов дня»... После мы узнали, что в Потсдаме тогда проживал кронпринц, на всякий случай охраняемый караулом.

В те годы у Корвина вышли три книжки стихов: «Святогорскит», «Полынь и звезды», «Каменная любовь». Была у него и проза, не представляющая особенного интереса, дававшая

ся ему с трудом и им самим не особенно любимая. Уже по названиям сборников видно, что русская вязь остается их основной. В них уже выявлялась основная особенность Корвина: сочетание двух планов, двух миров — здешнего, как он видится поэту и другого, ирреального. Все творчество его пронизывала острая любовь к родине, любовь оптимистическая. И особенно, в стихах чисто лирических, бьющая иногда через край сексуальность какого-то полуязыческого оттенка. Россия — скорее Русь — виделась Корвину, по большей части, древней, первобытной, почти такой, как она привиделась Стравинскому в «Весне священной». Ощущение родины, земли вообще у Корвина чрезвычайно мужественно — в противоположность Есенину и Клюеву, которых, кстати, уверен, в те времена и знать он не мог уже потому, что очень мало читал, не выходя из своего «круга чтения», о котором скажу ниже. И земля, помнится, никогда у него не воплощалась матерью, но или девой, созревшей для супружества, или женой, готовой понести плод:

Ярится степь, — уже не дева,  
 Дождем и солнцем пронзена,  
 Земля для пламенного сева  
 Блестательно обнажена.  
 Сгрудились борозды за плугом,  
 Безмолвен пахарь и суров  
 И черный пар пояшет туго  
 Сосцы набухшие бугров...

— это начало поэмы «Земля» из второго сборника Корвина. В этот же период уже вполне определились и такие основные свойства музыки Корвина, как тяготение к большим формам, мужественный голос и тщательнейшая отделка строгого стиха. В первых трех сборниках наиболее значительны поэмы «Полки Игоревы» и «Плач Ярославны».

Снилось мне: на горах, на черных  
 Пеленали в холсты меня  
 И коньки в теремах узорных  
 Поломались к закату дня.  
 Замешали в вино отраву,  
 Дали выпить мне то вино,  
 В синем кубке лежали травы,  
 Оплели корневищем дно.

У колчанов открыли тулы,  
Часто сыпали мне на грудь  
Крупный жемчуг, и долгим гулом  
Ворожила ночная муть...  
Смутный сон. На походном ложе  
На тесовом, я ждал утра  
И твой плач, на туман похожий,  
Стлался медленно вокруг шатра.  
Барабаны пробили зорю,  
Батарейный трубил трубач —  
Между Волгой и Черным Морем  
Встал к полудню твой древний плач. —

— в этом отрывке из поэмы «Плач Ярославны» — все характерное для поэзии Корвина того периода. Следует заранее отвести всякое подозрение в склонности к широко потом распространившейся моде к «погребальному». Таковой у Корвина совершенно не было, приведенные строки — великолепный парафраз «Слова» и Игорь Корвина «веселый», «кудрявый» благополучно возвращается домой, как ему в «Слове» положено, к своей Ярославне.

Вспоминается, что одно время у Корвина были планы героической поэмы о Колчаке и, нечто вроде плача Иова Многострадального — поэмы о Николае Втором. Он, кажется, даже читал мне отрывки. Но вместо того, расставшись с нашим современным средневековьем, уйдя неожиданно от удачно найденных, красочных, но порою бывавших и вычурными, образов и словечек, он вдруг очутился в итальянском Возрождении и не расставался с его героями до самой своей смерти.

Одновременно им овладевает молитвенное благоговение перед Пушкиным и в то же время нежная, какая-то словно интимная любовь к нему, чувство единственное и тоже — до конца его дней. Пушкина знал он досконально, слышал каждую его интонацию и ритм, классический пушкинский ямб завладел им и стал его излюбленным размером. Корвин был отличным образцом ученичества — прямо без посредников, когда ученик перенимает у великого мастера все то высокое, что только способен перенять, не теряя своей индивидуальности, своего лица. Думается, что в охватившем вдруг Корвина стремлении к Пушкину заключалось такое же подсознательное желание найти устойчивость в этом мире, как ранее желание обрести

нечто крепкое в древней Руси, где, возможно, и князь Игорь с Ярославной, и все половецкие девки под кустом представлялись поэту куда более реальными, чем мы все, его окружающие, расплывающиеся, сливающиеся с возникшими откуда то нелепыми фрау Кокотт, фрау Утеш.

То же случилось и с эпохой Возрождения, где он вдруг проснулся и почувствовал себя куда бóльшим хозяином, чем в полупризрачном мире эмиграции с его русским Берлином, почувствовал хозяином с помощью Пушкина, которого он любил превыше всего и с помощью Шекспира, которого он холодноовато читал, но изучил основательно. Его «Драматические поэмы» (как их определил Корвин) меньше всего стилизация. Естественность их до того поразительна, что представляется, что написаны они не **про** эпоху Возрождения, а в эпоху Возрождения. В то же время персонажи их, действуя и разговаривая, как люди Ренессанса, — мыслят и живут проблемами современных нам людей, и их раздумья и стремления, и стремления самого поэта, входящие вводными лирическими отклонениями — современны. Меньше всего гонится Корвин здесь за историческим реализмом, подчеркивая это ясными анахронизмами. Удивительное художественное смешение! Словно для того, чтобы выпуклее оттенить черты и проблемы нашего времени, Корвину гораздо удобнее было глядеть, расположившись в той, другой эпохе, более для него понятной, близкой и реальной, чем наша. Представляется, что и во всем своем дальнейшем творчестве продолжал он глядеть на наше время из эпохи другой и в этом лежат начала его своеобразного романтизма с порядочным уклоном в зигзаги бароко, порою достаточно отражавшегося и на его житейских чертах.

Первые сборники Корвина, как сказано, выходили под второй половиной его двойной фамилии: Пиотровский. Потом, пожонглировав некоторое время обеими половинками, он решил подписываться только Корвиным и начал убедительно рассказывать, что он потомок венгерских королей Корвиных, из которых Матвей Корвин был всесветно знаменит и что есть у него, Владимира Корвина, шансы претендовать на венгерский трон, ежели «что произойдет»... В стихах одной из поэм это выражено так: — «Наследник славы европейской — Венгерской и иных корон»... Потом и эта родословная показала ему короткой и в одном из последних своих писем он уже вел свой

род от римского сенатора Марцелла Корвуса, отмеченного Сенекой за красноречие и упомянутого Горацием. На эту тему, с усердием и прилежанием прямо поразительными, готов он был писать настоящие исследования и вести разговоры с пресерьезной убедительностью, ставившей в тупик, а порою и раздражавшей, собеседника.

И еще было у него чудачество — и тоже несомненный зигзаг в бароко: привычкой вошло у него аттестовать себя, как гения, и также с величайшей серьезностью и убедительностью, так что часто думалось, что сам он в этом глубоко уверен. И от этого иные впадали в глубокое недоумение, а порой и в негодование. Теперь мне кажется, что такого рода чудачества относились также к категории попыток самоутверждения в мире, где иногда чувствовал он остро и свою «инородность» и «безродность». И потому, конечно, в отношениях с другими бывал он часто и труден и странен.

Драматические поэмы не только творчество уже вполне зрелого художника, но они и наиболее примечательны и самобытны, среди всего созданного Корвиным, по ясности, отточенности легкотекучего своего языка, порою заостренного рифмой, по своеобразию своих персонажей, по насыщенности действием. Полные лирики и бурной фантазии, тяготеющие одновременно и к героике, они наиболее ярко отразили склонность музыки Корвина к философии и не за эту ли свою черту оказалась близкой поэзия Корвина такому взыскательному и тонкому ценителю, как Григорий Ландау?

В прелестной драматической поэме «Смерть Дон-Жуана» Корвин, отталкиваясь прямо от Пушкина, начиная свое действие с пушкинского финала, заставляет своего героя воплотиться в стеклянную роспись святого на кладбищенском своем памятнике и стать свидетелем встреч погруженной в двойной траур (по командоре и Дон-Жуане) донны Анны с Лепорелло, так умело внешне перенявшего оболыстительные повадки своего покойного хозяина, что, в конце концов, донна Анна удаляется с кладбища благосклонно «склоненная на руку Лепорелло» и готова принять своим сердцем за настоящего Дон-Жуана его искаженный образ. И тогда —

...Прощай, мой друг!

И ты прощай, пустой сосуд, что мною

Наполнен был и пересох до дна.  
Все кончено. Рассыпья, донна Анна!

— после этих слов «стекло раскалывается и падает со звоном». Дон-Жуан умирает вторично и уже окончательно.

«Смерть Дон-Жуана» заключается меланхолическим разочарованием, иронической горечью. В поэме «Король» разочарование гораздо более острое, ядовитое. В нем ставится и своеобразно разрешается вопрос о преступлении и возмездии, которого, против ожидания, не последовало. В борьбе за престол «Король» совершил ряд тягчайших преступлений, пролил кровь даже своего сына. По его холодному расчету теперь должно прийти возмездие — и он готов его встретить, каково бы оно ни было. Но оно не приходит!

...Я во всем одни удачи знаю  
И ни обид, ни даже огорчений  
Заботливый судья не отпустил  
На долю мне. Убийственный отпор  
Готовил я для Бога и людей.  
Я, как пружину, волю закалял,  
Чтоб отпустить ее в лицо преградам.  
И вот она разжалась. Но кругом  
Лишь пустота податливо качнулась.  
Все напряженье, весь закал и мощь  
И натиск мой — погибли бесполезно.  
Так ошупью по лестнице бредет  
Слепой, и вдруг, не рассчитав ступеней,  
Еще одну перешагнуть готовый,  
Срывается и падает неожиданно  
Ступив на гладко вымощенный пол...

Никак не от раскаяния или отчаяния, но от пресыщения удачей и от непрявления Возмездия, как основного закона, рушится в «Короле» мировой порядок, вырождающийся в «тусклый сон без радости и муки», когда и гость с того света всего лишь «дыра души, заштопанная наспех», когда и «небо пусто». Завершением оказывается «еще одна забава: порошок, аптекарем для вкуса подслащенный». Если возможно счастье такой исход за все же проявившееся Возмездие — это будет единственным светлым пятном в «Короле», написанном,

кстати, задолго до появления произведений Сартра и Камю и, конечно, совсем в иной манере.

Наряду с героями в «Короле» и «Смерти Дон-Жуана» живы до чрезвычайности и вторые персонажи. Мастерски преподана в «Короле» характеристика «массы» — в заостренном духе «народ безмолствует».

В той же форме драматической поэмы, пронизанная романтизмом, «Ночь перед дуэлью» — о последней ночи Пушкина, и поэма «Бродяга Глюк» — о свободе творчества с центральной фигурой Бетховена. Самая же крупная вещь в этой серии, это — «Беатриче», и по содержанию, и по размаху являющаяся уже настоящей трагедией. Помеченная 1926-1928 годами, она была издана берлинским издательством «Слово» в 1929 г., но возвращался к ней Корвин в своей жизни неоднократно; последняя переделка ее была закончена им незадолго до смерти.

Ежедневные встречи с Корвиным продолжались, но теперь уже и в зимнюю пору не надо было бежать из моей комнаты в поисках тепла: кафельная печка нагревалась щедро и благосклонная Кокотт умудрилась как-то вместить «стиля модерн» кушетку — в знак внимания к Корвину.

В дополнение к очередной моей работе был я в ту пору завален своеобразным заказом. Одно крупное русское зарубежное издательство купило у немецких издательств серию книжек-картинок для детей и надо было немецкое «пересоздать» на русский лад. То-есть, к иллюстрациям, бывало, понастоящему хорошим, но порою типично немецким, сочинить нечто подходящее в русском духе в стихах, иногда целые поэмы. Случалось, что заказы давались на несколько книжек и к определенному сроку, тогда в помощь призывался Корвин. Я ложился на постель, а он — на кушетку и, упиваясь кофе уже не ячменным, а настоящим, мы, кто скорее, изготавливали книжку, не очень много думая о целях воспитательных и утешая свою совесть тем, что такие упражнения способствуют технике стиха и, стало быть, как-то все же идут на пользу истинной поэзии.

Появились у Корвина гонорары и за выпускаемые им книжки, и за отдельные стихи по журналам. Хотя было все это в размерах эмигрантских и непостоянно, но все же уже давно была сброшена отливавшая цветами радуги военная шинель, а

вместо кепки, заменявшей порой подушку, появилась широкополая шляпа. Имелся уже, разумеется, и постоянный адрес, но дома Корвину попрежнему не сиделось: «Дома, гость непостоянный — Скучной лампы не зажгу»... зажег он ее только ложась в постель, записывая до утра стихи.

Давно была несколько необычно изжита и эпопея Утеш: вдруг нам как-то бросились в глаза совершенно непривычные посетители, размещавшиеся за несколькими столиками, покрытыми белоснежными скатертями, и попивающие шампанское! После потребованного нами разъяснения герр Утеш в смущении признался, что это особые гости, допускаемые им за некоторую плату, любопытствующие ближе ознакомиться с «национальным выражением русского, болгарского и вообще чисто славянского веселия». После этого мы прекратили посещения Утешей и в скорости кабачок, кажется, вылетел в трубу.

За многие, многие годы встречи наши с Корвиным заметно прерывались лишь дважды. Корвин исчезал на продолжительные сроки, словно в воздухе растворялся, без каких-либо предвидений и лишь спустя некоторое время — и не от него самого — доходило объяснение. «Не закрепленный бичевой... Летел по ломаной кривой...» В первый раз оказалось, что он очутился в Заарове, подберлинском курорте, в литературной колонии вокруг Максима Горького. Вторично исчез, став техническим работником сменовеховского «Накануне», одновременно в этой газете и сотрудничая. Конечно, духовные источники сменовеховства, за немногими исключениями, были гораздо менее замутненными, чем оголтелый совпатриотизм (о каких либо духовных источниках которого вообще говорить странно), особенно поразивший русский послевоенный Париж. Да и НЭП Ильича был все же несравним со сталинщиной послевоенных годов и легко мог обмануть тех, кто тосковал по родине. Как раз к этим последним принадлежал и Корвин, мечтавший иметь под своими ногами вместо неверной чужой земли твердую землю родины, землю, о которой были у него стихи, родину с большой буквы, которая и в революции воспринималась им с таким повышенным романтизмом, что в его поэме даже никогда, кажется, не стрелявшая пресловутая «Аврора» — «натужно вздулась и пальнула»...

После исчезновений Корвин вдруг появлялся у меня так же неожиданно, как и исчезал, весьма задумчивый, сразу на-

чаяя с «in medias res»: — «А знаешь, Юрий...» Все началось с новых его стихов, без всяких объяснений. И даже никогда, ни одним словом он мне не сказал, как проходило время в Заарове, каковы его впечатления от «Алексея Максимыча» и от его окружения. И я никогда не выпытывал — как, почему, зачем, — принимая исчезновения за завиток склонной к барокко натуры. Я видел в нем в первую очередь поэта и ценно было для меня такое его признание в одном из позднейших писем: «...в стихах своих я не лгу никогда. Что бы я ни писал, куда бы я ни писал — это все искренне и правдиво, даже если потом я и не соглашался с написанным».

Характерно, что и с такими своими зигзагами оставался Корвин до конца дней своих верен строжайшей старой орфографии — и с ятями, и с твердыми знаками.

Еще и по другому, с уклоном в метафизическое, начала проявляться у Корвина его «незакрепленность бичевой»: с громадной силой воображения создавая своих необычных героев, Корвин и в жизни все более продолжал оставаться в мире их горько меланхолических размышлений и проблем, словно не он, а его персонажи начали постепенно овладевать им, ведя к тупику и мраку. Как раз в эти годы Корвин встречает очень благожелательные отклики и в печати, и в литературном кружке Айхенвальда — Гр. Ландау, Вл. Сирин, В. Ирецкий... И в кружке берлинских поэтов — милые Р. Блох, М. Горлин, С. Прегель и др. — он находит и уважение, и понимание, и любовь. Здоровая атмосфера этих кружков была лишена кружковщины и узкого литературного политиканства. Но как раз в эти годы самое творчество Корвина, находившееся в полном расцвете, попадает под угрозу: выведенный из себя ничтожностью и случайностью заработков, Корвин решает «сесть на машину», что в переводе с языка берлинско-эмигрантского означает — сделаться шофером. Обучение, а потом поездки, особенно ночные, выматывают и силы, и нервы, и не только наши с ним встречи становятся все реже, выпадает и так хорошо наладившееся, нужное как воздух, общение с поэтами. Главное же, нет времени для творчества, от чего Корвин впадал в настоящие припадки острого отчаяния. И тогда настоящим спасением от нарастающего душевного кризиса явилась женитьба, вдруг давшая совершенно новое и свежее духовное содержание, выпутавшая из клубка охвативших со-

мнений и давшая новый толчок творчеству. На скромной свадьбе был я шафером и надо с почтением подивиться, как словно сошедшая с портретов флорентинских мастеров нежная его подруга умела обратиться в дальнейшей, никак не легкой, жизни в отважного, верного друга, прекрасную мать и тонко понимающую жену поэта.

В последние берлинские годы пути наши как-то разошлись; я, вдобавок к работе газетной, с головой ушел в практическую работу по театру, а Корвин, когда не «сидел на машине» и если не бывал дома — заседал в литературных кружках. А когда мне доводилось заставлять его дома, казалось, что для всего он умеет теперь выкроить время, что он спокоен, чувствует себя живым среди живых, «воплощенным». Думается, что и лирические стихотворения этого периода относятся к лучшему, созданному Корвиным; несмотря на свойственную ему раздвоенность они лишены всякого тумана, классически ясны и, не теряя своей мужественности, для поэзии Корвина редки своей задушевностью и нежной интимностью.

Потом нечастые наши встречи вовсе прервались. Судьба развела нас и увидиться больше не пришлось. От охватившей Германию гитлеровщины я переселился в Югославию, а он, несколькими годами позже, перебрался в Париж. Уже после войны, осев после Югославии в Швейцарии, я узнал от друзей, что семья Корвиных — в это время уже подрастал сын — по мере возможности благополучна все в том же Париже, живут от «пушурарв», на которые великим мастером оказался Корвин, во время войны и в Резистансе побывавший, и девять месяцев посидевший «в тюрьме особой — изъеденной со всех сторон», где он едва не был выведен «в расход» и где вел себя с большим мужеством.

Он так описал мне первые свои парижские годы: «очутившись в Париже с трехлетним ребенком без гроша, мы с женой решили, что нам все равно помирать с голоду и потому следует кормить ребенка. Когда я сидел в тюрьме, жена раздобыла где-то кулек таинственной крупы, смешанной с мышинным пометом. Огня не было, угля не было. Жена разыскала где-то пустую банку из-под консервов, немного коровьего жира и фитилек. Банка, изрядно смердящая, выставлялась на балкон и варилась на чистой воде каша для сына... Когда я вернулся из тюрьмы, мы стали раскрашивать шелковые платки, покупать

лук, хлеб и прочее. Выкармливали сына. Он гулял на улице под окном и одичал. Тогда надумали послать его в Англию, где был сад и благовоспитанные дети. Платили за него платками. Там научился он говорить по-английски, а когда забрали его в Париж, я засел за учебники и сын выдержал экзамен в лицее на «отлично». Пишет по-французски порядочные стихи и неплохо говорит по-русски...»

В послевоенное время Корвин не избежал участи многих русских парижан и еще раз «полетел по ломаной кривой» заодно с совпатриотами, но в скорости благополучно приземлился. Близости с русским поэтическим Парижем у Корвина не могло выйти — упал он в этот Париж действительно «телом инородным». Наполненный страстями воздух, веющий в его драматических поэмах, самый размах их явились полной противоположностью царившему сравнительно долгое время модному парижскому учению о поэзии «малых форм», упершемуся в конце концов в интимные дневниковые записи. Поэзия Корвина явилась противоположностью той «школе» поэтического шопота и полутонов, которая тематически увязла в кропотливом самоанализе и, тщательно отгородившись от живого внешнего мира, предпочитала пары искусственного парника притокам свежего воздуха.

Яркое, но одиноко индивидуальное явление музыки Корвина оказалось совершенно против течения и, не укладываясь дисциплинированно ни на какую «школьную» полочку, грозило свежестью и смелостью расшатать «школьный» строгий устав. И монпарнасские пророки, с готовностью отмечавшие как «лица необщее выражение» всякое случившееся искажение лица у своего друга, монпарнасского сидельца, — прошли мимо действительно «необщего выражения» лица музыки Корвина, похваливая его сквозь зубы, а то и вовсе не замечая... В Париже Корвин болезненно чувствует безвоздушность окружающего пространства и одинокость в своем творчестве и это тем тяжелее, что жизнь продолжает даваться нелегко. Он так писал о борьбе за существование: «...я работаю над платками бесконечно много, до часу и до двух ночи. После работы у меня отваливаются руки и ноги... Я очень устал. Ведь не забудь: девять месяцев тюрьмы и голода и ни одного дня отдыха. Но в смысле упадочничества или моральной расхлябанности это нисколько на меня не повлияло, но руки просто повисают

как плети»... Такое состояние ведет к еще большей обостренности его поэзии.

Даже лишь одно только соседство с «парижской школой» не прошло даром для Корвина и в первом его вышедшем в Париже сборнике «Воздушный змей», в противоположность уже казалось бы определившемуся творчеству, большим формам и глубокому дыханию — поэзия его как бы делает кривую, появляется отгораживание от мира внешнего и создается мир искусственный и разглядывание самого себя во всех подробностях — нечто типичное для парижского микрокосмоса. Все окутывается как бы серым флером, былая героинка вот-вот готова перейти в «школьный» шопот. Формальный блеск порою становится подавляющим и тогда кажется, что Корвин предается какой-то формальной игре, ворожбе, заключив свою поэзию в реторту. В этом сборнике иногда чувствуется, как мучительно давит музу Корвина нависший пресс «школы», но по нескольким поистине великолепным стихотворениям чувствовалось все же, что муза жива и, правда, в следующей книжке «Поражение. Поэмы и стихи о России», Корвин имел достаточно силы, чтобы снова стать самим собою и с уверенной легкостью освободиться от того наносного, что стесняло его движения и дыхание.

Две наибольшие удачи сборника — поэмы «Золотой песок» и «Поражение». Кроме темы о России общим для всего сборника здесь является и размер, все тот же излюбленный Корвиным ямб. В поэме о детстве этот ямб льется такими легчайшими прозрачными строками, что кажется это действительно струящийся, пересыпаемый из одной детской ладони в другую песок «розовой Роси» и вся эта прелестная вещь внутренне чистая и наиболее радостная во всем творчестве Корвина, словно проникнута отблесками солнечного трепетания. Характерно для поэм сборника еще и то, что Корвин, подобно опытному лектору, оживляющему свой «предмет» более легкими вводными вставками, в свою «элегия и эпопею» вводит порой чудесные лирические отступления: «Сентиментальных отступлений — Мне мил сомнительный закон». Не чуждается он попутно и «огня неожиданных эпиграмм». И, например, как метко, в двух штрихах очерчены бдения в парижском кабаке, какая ирония в перечислении «литературной родни» на книжной полке поэта!

Думается, что «Золотым песком», воспоминанием о «счастьем меченых днях», подсознательно хотел поэт, словно крестным знаменем, оградиться от непрестанно наступающего на него мира ирреальностей. Но, как я уже отметил, и детство встало перед ним летучим видением, никак не реальным. В соседствующем с «Золотым песком» «Поражении» звучание того же ямба совсем иное: размер его явственно передает то тяжкий, утомленный шаг пехоты, то легкую кавалерийскую иноходь. Заключение в ямбах язык всегда точен, краток, силен и, вовсе лишенный новшеств, отличается духовным изяществом, настоящим аристократизмом. Поэтические образы в нескольких строках, иногда словно мимоходом, так предельно отчетливы, что точно на сочном рисунке углем сразу видим и «вихрастого трубача» и ротмистра, жующего «табачные усы». И пушкинским духом до того веет в этих поэмах, что даже не коробит довольно рискованный прием: в свои поэмы Корвин вводит порою целые пушкинские строки!

Имеется и еще одно, едва ли не самое главное, проходящее и через поэмы, и через стихи: действительность ирреально смешана с видениями, порою мощи апокалиптической. Но, конечно, иные политические высказывания-прорицания не убеждают и несмотря на их художественную окраску, а порою и коробят. Свою двухпланность Корвин в одном из писем определил так: «Двойной мир — это не только литературный мой прием, я всей душой ощущаю его. Я стою одной ногой **тут**, а другой — **там**. Они оба для меня реально слиты, но враждебны — когда-нибудь я могу разорваться на подобие Игоря...»

Игорева участь Корвину не выпала, но все же парижские годы, для всех его знавших, завершились неожиданностью: как бывало исчезал он вдруг с глаз из Берлина, так и на этот раз получилось от него письмо уже с пути в Америку: «...все дальше несет меня от единственной мне дорогой точки, из одного бездомья в бездомье новое... Я почти уже привык к потерям, но так и не знаю, есть ли в них некий смысл. Из потерь этих сложились три моих сборника: «Беатриче», которая ждет поправок, «Воздушный змей» и «Поражение». Это немного. Я не знаю, окупает ли это все, что могло бы у меня быть и чего, конечно, больше не будет...»

Казалось, что на новых местах условия жизни сложились с наибольшей благоприятностью, почва под ногами затверде-

ла, появилась уверенность в завтрашнем дне и, главное, привязанность к семье помогала бытию обратиться в быт, защищала от вторгающейся ирреальности. Но как раз тогда из Америки получилось это заявление: — «Я — вне быта!» — и это утвердилось уже окончательно и из-за горького осадка от парижских времен, и от начавшего точить организм недуга, и от тех жизненных условий, благоприятных, но не дававших возможности осесть на одном месте, «обрасти шерстью для тепла». В Америке число сменяемых Корвиным мест было едва ли не больше количества прожитых там лет, — «дóма» из-за переездов образоваться не могло и «новое бездомье» тоже не мало способствовало той неожиданной окраске, которая все гуще ложилась на творчество Корвина последних лет.

В стихах о Марине Мнишек Корвин, как ему свойственно, малыми намеками воссоздает в балладном духе старую Польшу; в другом стихотворении, с присущим ему мастерством передает торжественно-похоронный лад, рассказывая о плавании «резвого» крейсера домой с печальным грузом; предельная наглядность и даже как бы слуховой эффект достигнут в чудесных лирических строках о ласточках на телеграфных проводах. Но никак не во всех стихах последнего периода поэтическая линия развивается естественно, органично — вдруг она словно срывается в обрыв, теряет всякие видимые контуры и впадает в беспредметность. Но потому, что иные стихи все же продолжают литься преемственно, возникает подозрение, что и образы, и сюжетность не изгоняются ли намеренно во имя какой-то надуманной теории? Или, тоже может быть, что все меньше сил противиться надвигающимся, колеблющим и начинающим все обволакивать туманам:

Опущен в полусмерть иль сон,  
Где слов привычных уж не надо...

Словно кроясь от угрожающих туманов Корвин все чаще возвращается к «Беатриче», точно стремясь ею высказать нечто окончательно важное и для его поэзии, и для его жизни.

«Беатриче» Корвина в каком-то фантазмагорическом полете пронизывают судьи без совести, кардиналы без веры, наемные и ненаемные убийцы, палачи, близкие к садизму и объединивший в себе все их свойства и в придачу еще преступную страсть к родной дочери — великолепный Франческо

Ченчи. Действие стремительно развивается, уложенное в отточенный ямб. Каждый из персонажей наделен своим лицом и своим языком и в легкотекущих диалогах, до странности близких нашим дням, говорится о том, что ничего от порядка ни земного, ни небесного не остается!

Что же было тем важным, что хотел высказать Корвин такой кровавой историей? Обладая умом острым, пытливым, склонным и к трагике и к скепсису, Корвин, судя по его творчеству, не видел особой загадки в смерти — «нехитрая загадка для живущих», «нехитрая работа — все умрем». Но загадкой представлялась ему жизнь, неверное смутное существование, состоящее из видений и снов. Существует ли нечто такое крепкое, с помощью чего столь неверное осмысливается — выражаясь по пушкински — в «бессмертья может быть залог»? Без числа разрабатывая «Беатриче» именно ею хотел Корвин на это ответить: не только своим размахом и содержанием выходит «Беатриче» из определения «драматической поэмы». В первую очередь она является чистой формой трагедии потому, что основной стержень ее — катарсис, высшее духовное очищение в любви. Это и есть ответ Корвина, то, что так влекло к «Беатриче». Если есть тут что-нибудь реальное, единственная спасительная и всеоправдывающая реальность, это только любовь. В трагедии Корвина змеинный клубок духовного нигилизма, лицемерия, лжи, противоестественных страстей прорезается избавляющим «от всякой скверны» лучом, молниеносно падающим и преображающим и убийц Беатриче — «львиную душу в сосуде хрупком» — и брави Марцио:

Я сердцем груб. Ни женщины, ни дети  
Невластны возмутить мне душу. Слезы  
Мне кажутся притворством, смех — обманом,  
А крик и стон — обыкновенной бранью.

Незадолго до смерти Корвин писал мне: «Надолго ли эта переделка удовлетворит меня — не знаю, но в настоящее время я доволен. А потом — не захочет ли рука моя снова вымарывать одно, дописывать другое, переписывать третье? Одна мысль об этом мне глубоко противна...» Таким образом, возможно, что и эта редакция не явилась бы окончательной. Но и в том виде, как она нам осталась, работа эта глубиной своего замысла, размахом, блестящей отделкой и многими

удачами значительно и типично для Корвина завершает его творчество.

Полуироническую сочиненную им самому себе эпитафию заключают такие строки:

...Он спит. Он, может быть, во сне  
Внимает ангелам гремучим,  
Громам архангельским, зане  
Был сам крылатым и певучим.

За этой полуиронией — истина: и певучим, и крылатым был он несомненно. В ангелов и в архангелов, возможно, не так уж верил. Но, конечно, будет дано ему внимать их «гремучим» хорам, ибо музыкой их — подсознательно — так часто звучали его земные стихи.

*Ю. Офросимов*

## БИТНИКИ

Вихлясты, расхлябаны,  
Клокасты, нечесаны,  
С такими же бабами  
Простоволосыми,

Нахохленные как сычи  
Шляются бородачи.

Видно, такая мода,  
Видно, такой фасон,  
Что мордой он — Квазимодо,  
А волосней — Самсон.

Вот он, мой современник,  
Глубокомыслен как веник.

Он и его Беатриче  
Поклялись друг другу не стричься;

В этом и шик модерней,  
Чтоб выглядеть попещерней!

Звонче, гитара, тренькай —  
Станем на четвереньки!

А какие-то профессора  
Квохчут, вздором научным потчуя:  
«Время кризисов» et cetera,  
«Социальный протест» и прочее,

И выходит, что волосатость  
Чуть ли не философский статус.

До коленных суставов вытянись,  
Подбородочная растительность!

Объявляю — я тоже битник  
Из самых из первобытных:

Я ратую горячо  
За шкуры через плечо,

За набедренные повязки  
Ослепительнейшей раскраски,

За дубины и за костры,  
За каменные топоры.

Объявляю, что я поборник  
Запрещения всех уборных, —

Социальный во мне протест  
Против отхожих мест!

Я к природе, к земле влекусь  
И меня вдохновляет куст!

Взъерошенные как птахи  
На скамьях сидят неряхи.

Но все ж восседают парами,  
Целуются все ж по-старому,

Смеются, друг дружке нравясь,  
Трещат — разорви их атом —  
И во мне накапливает зависть  
Лысого к волосатым.

*Иван Елагин*

\*

Живу во сне, живу в абстракции,  
Живу в чудовишном кино,  
В сплошном бреде, в цепной реакции,  
Но знаю —

Все предрешено  
От гениальности до пошлости,  
От самой плевой ерунды  
До унижительной похожести  
Чужой и собственной беды.

\*

Настанет день и ты поймешь,  
Что не живешь, а доживаешь;

Что жизнь твоя — сплошная ложь,  
И ты теперь об этом знаешь.  
Что ж?

Примиришь и не суди,  
Не соблазняйся отвораченьем,  
И за черту не перейди  
В восторге самообольщенья.

\*

*Ах, если б только да кабы!  
Георгий Иванов.*

Мои друзья, мои планеты,  
О, спутники моей судьбы!  
Где вы теперь?  
О, где ты, где ты?

Ах, если б только да кабы —  
Хоть на единое мгновенье...  
Но дни бегут,  
ползут года  
И гибнут в «пропасти забвенья»,  
В невозвратимом,  
в никогда.

\*

Войди, как бывало входила,  
Взгляни, как умела смотреть.  
Неважно, что жизнь не простила  
И не научила стареть.

Неважно, что те же страницы  
Лежат между мной и тобой...  
Уедем, сбежим за-границу,  
Уйдем в океанский прибор!

И там обратимся в движенье,  
В поэзию, в солнечный блик:  
Ведь ты — мое воображенье,  
А я — твой послушный двойник.

*К. Померанцев*

# Ф Е Т

## 1. Ж И З Н Ь

Поэты будто бы непрактичны! Но Фет был человек практический, с самыми здравыми взглядами на вещи (Дружинин), хотя и впадал иногда в меланхолию, особенно в юности, когда жил в замоскворецком особнячке Григорьевых и дружил с их сыном — студентом — Полонушкой (Аполлоном). Тогда, в противоположность своему приятелю, он плохо учился, часто хандрил и писал очень много стихов (Лирический пантеон).

Практический, хотя иногда и очень меланхолический Фет поставил себе целью добиться дворянского звания и именоваться Шеншиным. Так звали второго мужа его матери Шарлотты Фет (Foeth). Шеншин увез ее из Дармштадта в родовое свое имение Новоселки, Орловской губернии. Там, осенью 1820 г., родился у ней сын Афанасий. Отец Фета был гессенский подданный Иоханн Петер Фет, и не только формально, как сперва думали, но и на самом деле (Г. П. Блок).

По окончании университета, в 1845 г., Фет поступил унтер-офицером в кирасирский полк, расквартированный в Херсонской губернии, а через восемь лет перевелся в гвардии Лейб-уланский, охранявший берега во время Крымской войны. «Иностранцу» Фету, как он должен был тогда подписываться, очень хотелось выслужить дворянство, но офицерский чин, необходимый для выслуги, все повышался и, поэтому, затягивалось его пребывание в армии. Только в 1873 г. дан был сенату высочайший указ о присоединении отставного гвардии штабс-ротмистра Фета к роду его отца Шеншина, со всеми правами званием и роду его принадлежащими.

Фету еще нужны были деньги, ему хотелось стать зажиточным помещиком, и на достижение этой цели, у него тоже ушло немало энергии. Были и жертвы: он отказался жениться на прелестной Марии Лазич, дочери небогатого помещика. Была она талантлива, ее фортепианную игру одобрил сам Лист.

Фет и Лазич любили друг друга, но эпилог их романа был печальный: загорелось ее бальное платье, и она умерла в мучениях. Неизвестно, был ли то несчастный случай или же самоубийство. Мария Лазич осталась музой Фета и до самой своей смерти он посвящал ей стихи.

В 1857 г. Фет женился на богатой невесте, дочери чае-торговца — Марии Петровне Боткиной, сестре его друга — писателя В. П. Боткина.

Первым поклонником и критиком Фета был Аполлон Григорьев, а в 50-х гг. его высоко ценили новые литературные друзья — Тургенев, Некрасов, Дружинин, Толстой. В 60-х гг. нигилисты Фета высмеивали (Писарев, Варфоломей Зайцев), и он от них отстреливался и в стихах, и в статьях. Все же именно в эти годы он мало пишет. К поэзии он вернулся только в 70-х гг. (Вечерние огни). Вся его энергия уходила тогда на устройство имения Степановки, Орловской губернии: сперва оно приносило мало дохода, но рачительный хозяин привел его в цветущее состояние. Совсем неожиданно, в 1877 г. Фет купил за 100 тысяч рублей другое имение — Воробьевку, в Курской губернии. Опять — огромная затрата энергии, лишние заботы и хлопоты в этой обширной, но запущенной латифундии! А было ему тогда уже 57 лет, но угомониться он не мог... Несколько позднее Фет приобрел еще дом в Москве, на Плющихе, и здесь тоже надо было кое-что перестраивать.

Горести в его семейной жизни: сошла с ума его любимая сестра Надежда Афанасьевна, а потом и сын ее — Петр Борисов, юноша чрезвычайно одаренный, любимец дяденьки Афони Тургенев называл его «умником», а Толстой придумал для него какие-то четыре дела, на которые нужно посвятить всю жизнь... Еще — беспокойный полуумный брат Петр Афанасьевич. В 1881 г. он «махнул» в Америку, работал батраком в Охайо и вскоре пропал без вести. Может быть, и Фету угрожало безумие, и не потому ли он всю жизнь так стремился к деятельности, — спасался от черных мыслей на сенокосе или в конюшне, на охоте в курских лесах или в камере мирового судьи, и, наконец, в своем усадебном кабинете: если стихи «не писались», он переводил Горация или Гейне, а также целые тома Шопенгауэра. Может быть, он и сошел с ума — в последний день своей жизни, 21-го ноября 1892 г., в Москве. Из безумной ненависти к приближающейся смерти, он пытался

предупредить ее самоубийством, сперва хотел зарезаться ножом для разрезания бумаги, а потом — столовым, но внезапно скончался от разрыва сердца (Борис Садовской).

Что-то всегда Фета мучило, подавляло. Жил-был бравый коренастый офицер, потом несколько грузный, хотя и подвижной помещик, но за этими фасадами таилась странная и скрытная ночная душа, чем-то родственная другой ночной душе — тютчевской. При этом было у него немало веселости, добродушия, особенно в дружеском кругу. Тургенев любил Афанасия Афанасьевича поддразнивать, но насмешки не раздражали Фета. Для Толстого он — душенька, дяденька Фетинька. Толстой, мечтая о встрече с Фетом, так описывает его быт: «Сидит человек старый, хороший в Воробьевке, переплавил в своем мозгу 2-3 стр. Шопенгауэра и выпустил их по-русски, с кия кончил партию, убил вальдшнепа, полюбовался жеребенком от Закраса, сидит с женою, пьет славный чай, всеми любим и всех любит...» (апр. 1897 г.). Толстому часто хотелось беседовать с Фетом «во весь ум». Он же называл его кислотой, а себя содой, которая «как только дотронется до кислоты, так и зашипит».

В поэзии Фет стремился из мира сего вырваться в какое-то блаженное небытие, но в жизни мир сей очень любил, хотя иногда и омрачали его черные мысли. Был он очень наблюдателен и все хорошо подмечал в своих прелестных, небрежно написанных «Воспоминаниях». Крестьян не идеализировал, как иногда Тургенев, да и Толстой, особой каратаевской мудрости в мужиках не находил, но отлично их понимал и по-своему любил. В своих воспоминаниях Фет с восхищением рассказывает о ломовом извозчике: «Ведь у кого как, приговаривал он, а в нас не молчит она, эта самая водка!» Изумительно его описание охоты с братом Толстого, рано умершим Николаем Николаевичем: «В лесу мы улеглись навзничь около мшистых корней истяжной осины, и в скором времени положение нашего собственного тела опрокидывало всю предстоящую картину так, что высокие деревья казались чуть ли не собственной нашей бороною, опускающейся в лазурную глубь небесного океана». Такой вот весело-гротескной фантазии в «реализме» помещицьею охоты ни у кого нет, ни у Тургенева, ни у Толстого! Свою любовь к разнообразию жизни Фет особенно хорошо выразил в полушуточном послании к Тургеневу.

Написана эта эпистола по старинке, александрийскими стихами:

Я тем лишь дорожу, кто сразу все поймет  
И тройку, и свирель, и Гегеля, и скуку,  
И фриз, и рококо крутую закорюку,  
И лебедя в огнях скатившегося дня...

Там же — эта деревенская соперница толстовской Фру-Фру:

Взгляни в Степановке на Фатьму-кобылицу:  
Ну, право, поезжай в деревню иль в столицу,  
Едва ль где женщину ей равную найдешь, —  
Так глаз ее умен, так взгляд ее хорош.  
Вся в сетке рыжая, прекраснейшего тона,  
Стоит и движется, как римская матрона.

За всем этим — орловские или тульские десятины, помещицье приволье Степановки, Спасского-Луговинова, Ясной Поляны, вскормивших «Отцов и Детей», «Войну и Мир», «Анну Каренину», и тут же над дворянскими липами таинственно сияло фетовское «солнце мира».

Некрасова, Тургенева, но не Толстого, раздражало фетовское «реакционерство», основанное на личной преданности государю, а также и на здравом смысле. Фет считал, что и помещику, и крестьянину следует соблюдать собственные интересы, никакая модная идеология не должна мешать их работе на земле, и тогда оба они преуспеют и разживутся. В эпоху своих «Вечерних Огней» Фет очень гордился полученным каммергерским ключом и посвящал стихи своему августейшему ученику — К.Р., великому князю Константину Константиновичу и его сестре, королеве эллинов: И для жемчужины Востока/Оправы чище нет Афин (1886 г.). Все это может не нравиться, но, я думаю, что «естественный» для Фета консерватизм был искреннее, правдивее тургеневской либеральной фразеологии, и Толстой это хорошо понимал, хотя после «кризиса» он как-то охладел к своему старому другу.

## 2. П О Э З И Я

**Что-то** в поэзии Фета существеннее **кого-то...** Пусть утверждение это звучит очень уж парадоксально, но оно многое в его поэзии разъясняет. **Что-то** — это страсть или смерть, небесное откровение «солнце мира» или же поэзия, музыка, слова, звуки.

В поэтическом мире Фета появляются и **они (кто-то)** — **он** и его возлюбленная, **она**, а также и другие «лица» — поэт, философ. Но как безличны эти лирические герои: все они медузы, неизвестно кем загнипотизированные.

Один из лучших современных знатоков Фета Б. Я. Бухштаб правильно отмечает: «Его интересуют переживания людей, но не люди». Переживания эти очень динамичны и увлекают читателя, «зараженного» Фетом. Все же личности в фетовской поэзии не видно, его лирические герои пассивны: они блаженно тонут и утопают в стихиях Афродиты и Урании. Здесь обнаруживается двойственность Фета — активного в жизни и пассивного в искусстве, и он сам это хорошо знал. В своих воспоминаниях он пишет: «насколько в деле свободных искусств я мало ценю разум в сравнении с бессознательным инстинктом (вдохновение), пружины которого от нас скрыты (вечная тема наших горячих споров с Тургеневым), настолько в практической жизни требую разумных оснований, подкрепляемых опытом».

### 3. О Н А

Есть «приапическая» грубость в ранней эротике Фета: «Сними твою одежду дорогую... и страстней я милашку поцелую...» Все же откровенной похоти в его стихах куда меньше, чем в «анакреонтических» стихах Пушкина-лицеиста. Но мотивы страсти, как и нежности, всегда ярко звучали в его поэзии, и в юности, и в старости. Многие из его эротических стихов вошли в обиход влюбленной молодежи и, может быть, до сих пор еще пишутся в альбомы, напр. — «На заре ты ее не буди...» Или — «Я пришел к тебе с приветом/Рассказать, что солнце встало...» Популярно и безглагольное «Шопот, робкое дыханье».

Н. А. Добролюбов, издеваясь над этими стихами, сказал, что их можно читать и сверху вниз и снизу вверх. Его перебил А. Н. Татаринов (1809-1862), приятель Языкова по Дерпту:

— И вздор это! ... Совсем не все равно и стихотворение это прекрасное. Да вы, должно быть, на любовных свиданиях еще не бывали?

— Нет, не случалось, ответил Добролюбов, смеясь.

— То-то! Ну, да будет вам, пойдемте пить чай... («Воспоминания» Н. А. Татариновой-Остроумовой).

Достоевского тоже фетовский «шопот» раздражал. Он осудил Фета в жестокой апокалиптической фантазии: если бы «Шопот, робкое дыханье...» опубликовали в газете на другой день после землетрясения в Лиссабоне, в 1755 г., то лиссабонцы тут же казнили бы автора на площади...

Импрессионизм этого «пустячка» очень нравился модернистам в 90-900-х гг., когда Бальмонт, большой поклонник Фета, пытался канонизировать безглагольность русской речи.

Менее известны другие, действительно прекрасные стихи Фета о любви:

Ты, нежная! Ты счастье мне сулила  
На суетной земле...

Толстой писал Фету, что у него «защипало в носу» от этой его «Майской ночи» (11-го мая 1870 г.).

Замечателен весь цикл, посвященный бедной Марии Лазич. Вероятно, стихов с ней связанных, гораздо больше, чем думают, хотя установить сколько их было, едва ли возможно. Есть в этих стихах нежность, есть и отчаяние: Я — несчастный палач... Там человек сгорел... Может быть ей же посвящены и эти стихи, написанные незадолго до смерти: «Кажется, издали странника бедного/Нежно приветствуешь ты»... (1891 г.).

Фет и Лазич в фетовской лирике — страдающие любовники, и страдания, а также нежность, их страсть облагораживают. Каждый из них **кто-то**, человек, — мучительно сторающий, а не блаженно тонущий в эротической нирване. Все же и их лица — зыбкие. Вообще, у фетовских любовников мало «конкретности». Но «конкретна» эта его лирическая героиня: «Только в мире и есть этот чистый/Влево бегущий пробор...» Здесь страсть еще не ослепила и он замечает милую ему деталь влево бегущего пробора (и это стихотворение тоже очень нравилось Толстому).

Обычно же он и она у Фета только электрические проводники страсти. Иногда же фетовским любовникам кажется, что не только они сами, но и вся природа одержима их страстью:

Говорила за нас и дышала  
Нам в лицо благовонная ночь...

Это окрашивание природы настроением вообще характерно для Фета, что отметил еще его ученик — забытый теперь князь А. Голенищев-Кутузов.

Итак Фет вдохновлялся, и предчувствием счастья, и блаженным пребыванием в небытии Афродиты. Вообще, небытие его привлекало-затягивало, хотя иногда он небытию и противился, но не в эротической, а в философской своей поэзии.

#### 4. СОЛНЦЕ МИРА

Фет увлекался Шопенгауэром и перевел его книгу «Мир, как воля и представление». Есть «шопенгауэровщина» и в его поэзии и, судя по «Воспоминаниям», — в его жизни, в жизненном опыте. Об этом можно было бы написать интересную книгу, в которой следовало бы осветить и шопенгауэровские настроения Толстого.

Подобно своему германскому учителю-философу, Фет не верил в личного Бога, в личное бессмертие, не верил и в реальность нашего земного бытия. В эпитафии к стихотворению «Измучен жизнью» Фет цитирует Шопенгауэра: мы все погружены в тот же сон, и все видящие этот сон, являются единым существом. В этом стихотворении он прозревает вечное «солнце мира», и оно освобождает его от всех скорбей и мучений, а также от самого себя, от своей личности тающей и несущейся, как дым.

Первоначальная версия этого самого потрясающего стихотворения Фета включала три строфы, посвященные Марии Лазич, и она заканчивалась другим прозрением — чудесным сном: мертвая возлюбленная встает из могилы и они оба обретают утраченную юность. Позднее Фет выделил из первой редакции два стихотворения. В первом из них — воскресение Марии Лазич заменяется чем-то безличным — мировым дуновением из вечности, и это, повидимому, для него явление высшего порядка.

Стихотворение «Измучен жизнью» не вполне ясно. Но очевидна его драматичность, выраженная в необычном для того времени «стяженном» размере. Здесь борьба самых близких Фету реалий — возлюбленной и вечности, т. е. **кого-то** и **чего-то** и как будто «солнце мира» побеждает Марию Лазич или же — исключает ее из своего всеобъемлющего царства. Борьба эта не отвлеченная, везде чувствуется мучительный личный опыт, это одно из самых изумительных созданий русской лирики. Поэты часто писали о недостижимости «идеала» или же о его иллюзорности, но редко о борьбе двух почти равных желанных «идеалов». Такой драмы не было у других, чем-то

Фету обязанных поэтов, у Вл. Соловьева или у Блока. В их мире Она, небесная дева-жена, отождествляется с вечностью. Это — Вечная Подруга, и драматична лишь ее недоступность или же боязнь, что Она изменит облик, обернется соблазнительной Незнакомкой.

Фета мучила и другая мысль: может быть ничего вечного нет и смерть окончательна. Тут тоже философия проверяется экзистенциальным опытом. Пусть смерть все уничтожает, но сейчас, в этой короткой жизни, «покуда сердце бьется», — «покуда я дышу — ты (смерть) мысль моя, не боле,/Игрушка шаткая тоскующей мечты» («Я в жизни обмирал и чувство это знаю», 1884 г.)

Другой вариант фетовской философии. Хотя Фет в Бога не верил, но в одном стихотворении он допускает Его существование: «Не тем, Господь, могуч и непостижим», что он зажег свет над мирозданием, а — «Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,/Ношу в груди, как некий серафим/Огонь сильней и ярче всей вселенной.../Во мне он вечен, всемогущ, как Ты,/Ни времени не знает, ни пространства» (1879 г.). Это значит, ничтожный человек, постигающий зажженный в нем вечный огонь, равен Богу-Творцу. Здесь — крайний солипсизм: личное я, заключенное в смертную плоть, сильнее смерти и равно Богу, правда, не в вечности, а только в человеческом сознании. Это паскалевская апология интеллекта, Фетом вообще не ценимого. Для него ведь бессознательная воля существеннее всякого мыслительного процесса (как и для Шопенгауэра), но все же, в лирике своей Фет пережил-перечувствовал и этот возможный вариант интеллектуального осмысливания бытия.

Еще один вариант — это воскресение, но на неживой уже земле. Воскресший спешит с кладбища домой, он идет по знакомому ему парку. Все давно уже вымерло, разрушилось, и вот оживший мертвец опять хочет умереть и, в отчаянии, восклицает: — А ты, застывший труп, лети, /Неся мой труп по вечному пути! («Никогда», 1879 г.). Реалия торжествующей смерти передается здесь глаголом **торчать**: мертвый лес торчит и церковь тоже «торчит в безоблачной дали».

В отделе «Элегии и думы» можно найти и другие варианты его философии. Так, в стихотворении «Ничтожество» (1880 г.) Фет говорит, что встретил бы смерть «тем самым резким кри-

ком,/с каким я некогда твой берег покидал...» Это намек на возможность второго рождения после смерти.

Повидимому самая высокая реалья Фета — небытие в лучах «солнца мира», и это, конечно, символический образ, и его значение не может быть полностью раскрыто. Вообще же в противоположность ученикам своим — символистам, Фет окончательных ответов не дает, и сам об этом говорит, что в мире — «Куда ни обратиться, — вопрос, а не ответ». В этом отношении Фет близок Боратынскому. Но есть между ними и различие. Боратынский не знал фетовских тяжелых экстазов. У него не было тайного и неуловимого соприкосновения с мирами иными, как у Фета — атеиста и, вместе с тем, мистика.

В философской лирике Фета — не только «борьба идей», но и человеческая боль. Это чувствуется и в стихотворении «Измучен жизнью», и, в особенности, в этом послании А. Л. Бржеской (1879 г.):

Не жизни жаль с томительным дыханьем,  
 Что жизнь и смерть? А жаль того огня,  
 Что просиял над целым мирозданьем,  
 И в ночь идет, и плачет уходя.

Н. Н. Страхов писал Фету, что огонь плакать не может! Между тем это особый троп (синекдоха), замена целого частью. Целое — человек, а часть — огонь, просиявший в его душе. Ничего неясного здесь нет. Эта одна из самых изумительных строф, написанных Фетом. Толстого в этом стихотворении особенно восхищали слова: в нем было слишком много слез, и он писал Фету: если останется только этот «кусочек», то его «поставят в музей и по нему будут учиться».

## 5. З В У К И

Иногда Фет писал полемические стихи, напр. послание Псевдо-поэту (Некрасову?): он влачит «по прихоти народа/ в грязи низкопоклонный стих...» и, поэтому, не постиг «слова гордого свобода» (1866 г.). Есть полемика и в обращении к памятнику Пушкина (1880 г.). Там Фет высмеивает тех, — «Кому печной горшок всех помыслов предел,/ Кто плюет на алтарь, где твой огонь горел...» Он высказывался за чистое искусство, чуждое житейского волнения — иррациональное и бесцельное.

Чем же наполняется чистая поэзия? Фетовский высший образ в поэзии — это **звуки**, уносящие в океан блаженства. Фет слушает пение Т. А. Берс-Кузьминской, свояченицы Толстого и «прототипа» Наташи Ростово́й. —

А жизни нет конца, и цели нет иной,  
Как только веровать в рыдающие звуки,  
Тебя любить, обнять и плакать над тобой... (1877 г.)

Здесь блаженство самозабвения — земное, слезное, вызванное искусством. Марина Цветаева писала, что за эти фетовские строки отдала бы все свои стихи. В стихотворении «Грёзы» Фета несут на кладбище, он слышит погребальное пение и вот опять экстаз: ему хочется

....хоть раз еще вздохнуть  
И, на волне ликующего звука,  
Умчась вдаль, во мраке потонуть... (1859 г.).

Здесь другое блаженство — музыкальный переход в небытие.

В стихотворении «Во сне» (1890 г.) Фет, может быть вспоминая Марию Лазич, пишет:

И по волнам ласкающего слова  
Я образ твой прелестный понесу...

Ситуация везде разная: пение Кузьминской, собственное погребение, приснившаяся возлюбленная, но, по существу, это одно и то же: блаженное самозабвение в звуках или словах, — рыдающих, ликующих или ласкающих. Блаженное растворение **кого-то в чем-то!** Это **что-то** иногда называется далью —

Уноси мое сердце в звенящую даль...

писал он в 1857 г., а лет через тридцать он восклицает:

Уносило меня в неизвестную даль... (1886 г.).

Всюду та же медиумичность лирического героя, загипнотизированного звуками и стремящегося перейти в небытие, и только пение Кузьминской удерживало его на земле (Тебя любить, обнять и плакать над тобой).

Звуки — высший и постоянный образ в поэтическом мире Фета. Иногда они связаны с пением, музыкой, иногда со словами, поэзией, и почти всегда личность в них растворяется.

У Лермонтова звуки имели другое — метафизическое зна-

чение, это «звуки небес» («Ангел», «Есть речи»). Они символы какого-то иного мира, о котором он сохранил смутную память. Фетовские звуки иногда зыбкие («бред неясный»), но всегда земные, хотя и смывающие в нирвану. У Лермонтова — дедукция из вечности, а у Фета — индукция в небытие.

## 6. В Е Щ И

Фет, прежде всего, поэт слушающий, но и очень зоркий. Вот — по-державински яркая рыбка: Голубоватая спина,/Сама как серебро,/Глаза — бурмитских два зерна,/Багряное перо. Он заметит на охоте красный верх папахи, на дороге жабу, в усадебном доме «Дрожанье фарфоровых чашек». В посланиях, например, к Тургеневу или к Д. П. Боткину отразился его помещичий быт: За четверть с десяти целковых/Четвертачек я уступил./В задаток тысячу все новых/Кредитками я получил (1881 г.). А потом, по заведенному у него порядку, должно быть пересчитывал эти кредитки в запертой на ключ комнате!

Все же, мелочи быта играли второстепенную роль в «лирическом хозяйстве» Фета (так называлась одна его статья). Что и говорить, в жизни он вещи любил, да и в поэзии умел их, при случае, изображать, но — не преображал их в земной рай поэзии, как Державин в «Жизни Званской» или Пушкин в «Евгении Онегине». Это значит, всего **внешнего** он всерьез не принимал, хотя иногда и пленялся прелестями земными. Фетом владели звуки, то рыдающие, то ликующие, то пламенные, то «какие-то»! Его основная тема — не **преображение** мира, а **освобождение** от мира в чем-то неопределенном и желанном, как нирвана для ндусов. Но страстность его не индийская: о блаженном небытии писал он страстно, а не бесстрастно!

## 7. П О Э Т И К А

Для понимания фетовской поэтики очень существенны некоторые из ранних его стихов — без рифм. Обычно в них преобладают трехсложные размеры, но с некоторыми отступлениями. В этих стихах нет композиции, структуры, вообще нет ничего «умышленного», это медиумические записи настроений:

Чаще всего мне приятно скользить по заливу  
 Так — забываясь  
 Под звучную меру весла,  
 Омоченного пеной шипучей

Да смотреть много ль отъехал  
 Да много ль осталось,  
 Да не видать ли зарницы... 1842 г.

Есть новизна и есть прелесть в этих юношеских стихах, но если бы Фет написал сотни таких вот «неумышленных» стихов, то чтение их наверное вызвало бы зевоту... Позднее Фет этому музицированию уже не предавался. Но музыка его постоянно вдохновляла. Один из циклов его называется «Мелодии». Чайковский считал, что Фет более музыкант, чем поэт. Многие читатели тоже так чувствуют, но все это очень уж сбивчиво, неясно!

Б. М. Эйхенбаум в своей замечательной книге «Мелодика русского лирического языка» (1922 г.) пытался определить «музыкальность» — мелодические приемы Фета и других «напевных» поэтов, Жуковского и Блока. Развивая гипотезы немецких филологов (фон Зиверса, Зарана), он дает следующее определение мелодики в поэзии — это интонационная система, реализованная в синтаксисе. При этом, Эйхенбаум рассматривает «интонацию не как явление языка, а как явление поэтического стиля» и, поэтому, изучает не фонетическую природу интонации, а ее композиционную роль в поэзии. Для мелодистов очень характерны повторы тех же слов или тех же словосочетаний (рефренов): здесь интонации постепенно усиливаются или понижаются. Эйхенбаум подробно разбирает синтаксически-интонационные типы или фигуры фетовской поэзии и всех заинтересованных читателей я отсылаю к его книге, а здесь ограничусь одним только примером. Так, в упомянутом уже стихотворении «Сияла ночь» (посвященном Т. А. Кузьминской) повторяются, с некоторыми вариациями, ключевые стихи (а в скобках обозначена нумерация строк в четырех катренках):

Что ты одна любовь, что нет любви другой (6);

Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь (12).

И —

Тебя любить, обнять и плакать над тобой (8). Затем этот стих повторяется в строке 16-ой.

Все остальное (рояль, луна, сад и др. «вещи») подчинены рефренам. Стихотворение написано для произнесения на интонационных «верхах» этих двух рефренов, выражающих блаженное самозабвение поэта, верующего в рыдающие звуки

романсов или арий, спетых Кузьминской. Можно говорить о музыкальности этого стихотворения, о развитии в нем двух тем: 1) ты любовь; 2) хочется тебя любить. Все же это не музыка, а поэзия, т. е. прежде всего слова, расставленные, однако так, что рефрены интонационно выделяются. Вообще — многие повторения в стихах очень «романсны» — например, этого рода: Час блаженный, час печальный... (У Апухтина — «Ночи безумные, ночи бессонные»). Но полной ясности здесь нет и у Эйхенбаума. Выдвигаю эту гипотезу — Фет и поэты-мелодисты склонны к синтаксической симметрии. При этом, все повторы или фразы одинаково построенные должны или могут произноситься или напеваться по разному. В «напевных» стихах есть **единообразие** в синтаксисе, но оно требует **разнообразия** в чтении или в пении.

Можно говорить об особенной рассеянности Фета-мелодиста, о его невнимании к речи. Отсюда — не столько его неумение, сколько — нежелание работать над языком. Критик А. Дарский утверждал, что Фет, «певец еле слышного (...) был пессимистом слова»: он будто бы знал, что все самое для него существенное — невыразимо. (1915 г.).

Не только пуристов-педантов отпугнут такие сомнительные выражения: не ведают, что творят, яд цепей. Есть непредвиденный поэтом комизм в этой фразе: У всех в глазах признательной слезою/Родимое сказалось молоко (Эти стихи посвящены Е. П. Шукиной, по случаю ее серебряной свадьбы). Немало у Фета и банальных выражений, отмеченных его поклонником и отчасти учеником — Блоком — счастье золотое, роса хрустальных слез. В. Ф. Марков, осуждая такие придиришки к Фету, объясняет их его «стилистической беспечностью». Действительно, иногда погрешности языка оправдываются изяществом и легкостью, например в порхающей поэзии Кузьмина, и здесь нельзя с Марковым не согласиться. Но у Фета этих качеств не было. Он не Ариель, а скорее Калибан, мучительно тянувшийся к свету, к «солнцу мира».

Мелодический Фет часто «спешил» в поэзии — быстро перескакивал от одного к совершенно другому или же говорил языком намеков (как и Тютчев), например в замечательном стихотворении — «На кресле отваясь, гляжу на потолок»... зыбкие, неясные настроения передаются здесь свободной игрой впечатлений — «тихою» лампой, осенним мерцанием, беспо-

койными грачами. Этот импрессионизм раздражал Тургенева и Страхова, они укоряли Фета за непонятность и вносили в его стихи свои поправки. Но здесь прав «темный» эллиптический Фет, а не его здравомыслящие критики. Фет умел до последнего предела сжимать поэтическую речь для передачи зыбких настроений. Убедительны и его сближения впечатлений, вызванных разными чувствами: Я слышу трепетные руки, золотое ку-ку, у дыханья цветов есть понятный язык, или же, блаженные сны рассыпаются смехом ребенка.

Эйхенбаум отмечает эвфоничность Фета, его звуковые повторы не только согласных, но и гласных. Некоторые его образы, казавшиеся современникам «странными», «бессмысленными», несомненно, возникали по звуковым ассоциациям, например травы в рыдании или стихотворение «Рододендрон». Эллипсы Фета (по державински **перескоки!**) и его отдаленные, «долгорукие» (как говорил Ф. А. Степун) ассоциации — это все приемы, предвещающие уже поэзию XX-го века — Пастернака или Цветаеву. Фет сознательно экспериментами не занимался, и часто соглашался со своими здравомыслящими критиками (Тургеневым или Страховым). Лучше всего понимал Фета друг его юности Аполлон Григорьев, отмечавший фетовскую «особность», смутность и неясность его стихов, всего того, что он называл *le vague*. А до символистов его уже верно понимали забытые теперь поэты гр. А. А. Голенищев-Кутузов и, в особенности, шопенгауэровец кн. Д. Н. Цертелев, утверждавший, что без фетовской **неточности** не было бы фетовской **яркости**. А критик граф Д. Дистерло еще в 1893 г. писал об импрессионизме Фета, о близости его Бодлеру.

Фет лишь смутно осознавал свою «особность» — оригинальность:

Не дано мне витийство: не мне  
Связных слов преднамеренный лепет!  
А больного безумца вдвойне  
Выдают не реченья, а трепет.  
Не стыжусь заиканий своих... (1890 г.).

Медиумически отдаваясь на волю стихий, Фет хотел передать все оттенки своих настроений, быстрое движение летучих образов, «мелодии» своей души, ее **трепет** и иногда ему удавалось этот *frisson nouveau* выразить. При этом, предвосхищая символистов, он часто говорил на языке намеков: что-

то к саду подошло... Какие-то носятся звуки... То же самое и у Тютчева: Дымно-легко, мглисто-лилейно/Вдруг что-то поржнуло в окно...

Отступления от канонических размеров были подсказаны Фету едва ли только стихами Гейне (или Мёрике), которых он переводил, но и присущим ему чувством мелодии. В философском стихотворении «Измучен жизнью» Фет понял, что здесь драматическая тема лучше всего передается ямбами и амфибрахиями и потом, скорее всего по слуху (как и Тютчев в «Последней любви») он все более усложнял метрический рисунок и ввел в ритм стаккато спондеев (узнаю солнце). Спондеи подчеркивают здесь кульминацию, а дальше уже начинается спуск с вершины, — описания, комментарии. Стихотворение это хромое, задыхающееся, и в этом его сила и прелесть.

Есть прерывистость и в некоторых других его стихах, напр.:

Взвод, вперед, справа по три, не плачь!  
 Марш могильный играй, штаб-трубач!  
 («На смерть Бразжникова», 1845-1891).

## 8. ФЕТ И БЛОК

У Блока немало эпитафий из фетовских стихов и он сам признавал, что в юности находился под сильным влиянием фетовской поэзии (1901 г.). Блок часто говорил о Фете: это «мощный и зрелый поэт», он больше Тютчева, потому что оставил родные пределы (русские темы) и «двинулся в даль туманно-голубую», у него «прочно установлена идея Вечной Женственности». Это, конечно, натяжка, и Владимир Соловьев был в этом отношении более осторожен: он только утверждал, что отдельные стихи Фета подтверждают некоторые, близкие ему, мистические истины.

Фетовская метафизика, мистика — другая, чем у Вл. Соловьева, Блока, Белого. Всем женственным Фет пленялся, но оно ему не приоткрывалось. Все же, несомненно, его мотивы, его техника оказали влияние на этих поэтов-символистов. Может быть, кое-что заимствовали у него поэты-имажинисты и футуристы (К. Шимкевич).

Существенно другое — Блока мы знаем теперь лучше

Фета и, поэтому читая фетовские стихи, мы иногда воспринимаем их как пред-блоковские. Например эти строки:

Превыше туч, покинув горы  
И наступая на темный лес,  
Ты за собою смертных взоры  
Зовешь на синеву небес... (1886 г.).

Но адресат этого стихотворения — не Она, Вечная Подруга, а «Горная высь»...

Напор страстей стихий в лирике Блока могущественнее, чем у Фета, а самые сильные фетовские стихи (о смерти, о солнце мира) не нашли отклика в блоковской поэзии. Блок прошел мимо великого Фета с его «задыханиями» философа-атеиста, но и мистика, прозревавшего вечное в звездном небе. Он пленялся преимущественно Фетом-влюбленным или Фетом-мечтателем, поэтом неясных настроений.

В фетовской медиумической поэзии личность растворяется, в ней незаметен «лирический субъект» (Лидия Гинзбург). Иначе Блок, его поэзия — это лирическая биография творческой личности. Он, отрок в приделе Иоанна, возлюбленный Незнакомки, Кармен, Донны Анны или России, — полностью выразил себя в диалектике своей лирической биографии. Пусть Вечная Подруга иногда Блока гипнотизировала, и он часто писал медиумически, а все же, он оставался «субъектом», кем-то, — личность его в эротике не растворялась, тогда как Фет и его возлюбленные почти всегда безличны.

## 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фета при жизни плохо понимали, иногда он сам себе не доверял, ему приходилось брести в поэзии наощупь, а все же ему удалось выразить, передать самое главное: тяжбу свою со смертью, откровения вечности и все неуловимые оттенки настроений, мелодии души.

На высотах фетовской поэзии сияло «солнце мира». Там исчезало все личное (кто-то) и все предметы (что-то) теряли земные очертания. Там совершалось освобождение от мира сего, там совершался переход в блаженное небытие (окончательное что-то). Цель эта — чуждая нашей иудео-эллинско-латинской культуре (от коренных ее традиций отказался и учитель Фета — Шопенгауер). Наши основные реалии — Бог,

личность (личность с Богом или без Бога). Мы христиане или только гуманисты, мыслим и верим в категориях **я, ты, он (она)**, хотя иногда и заменяем эти личные местоимения единственного числа местоимениями множественного числа — **мы, вы, они** (наций, классов и прочих коллективов). Фетовская нирвана — чужая истина, но судорожные метания Фета между разными ответами на те же мучительные вопросы, характерны для европейской культуры, для всех алчущих и жаждущих правды в нашем мире.

Что же осталось или останется от Фета, кроме все еще популярных романсов. Фет был метром многих «модернистов» в начале XX-го века, но эта его роль — историческая. В наше время читателей и поэтов он реже увлекает, чем Тютчев, тоже оказавший сильное влияние на современную лирику.

Мне лично кажется — от Фета остается и останется прежде всего его потрясающая поэзия отчаяния, сожалений, сомнений и блаженного прозрения. Все еще звучат его тяжелые, прерывистые ритмы поэта-астматика, страдавшего лирической одышкой, и это верно почувствовал Мандельштам:

И всегда одышкой болен  
Фета жирный карандаш.

*Юрий Иваск*

## РОССИЯ

Пролетела черная птица,  
Сокрывающаяся в мгле —  
Неизвестной страны граница  
Всем далекая на земле.

Мы на родине. Но не судьи  
У дороги встают земной;  
Только утреннее безлюдье,  
Облака над новой зарей.

Мы идем, земли не тревожа,  
Слов последних не говоря,  
А вокруг родное всё то же,  
Этот лес, поля и заря.

Мы не ждем никого, не ищем.  
Но вдали, где светел восток,  
Над одной далекою крышей  
Покосился живой дымок.

И для нас это утро сада,  
Вдалеке чуть заметный дым...  
Ничего иного не надо,  
Пусть достанется всё другим.

## РОЖДЕНИЕ ТИШАЙШЕЙ ИГРЫ

Мир совестью и мыслью утомлен —  
Игра, игра идет со всех сторон!  
Играет царь державою своей  
И революция — землю всей.  
Играют люди кистию, пером,  
Любовию и нежностью потом.  
И даже пастырь в храме простоты  
Искусственные раздает цветы.

Всё, что летает, плавает — играет,  
 А, если не играет, умирает.  
 Войной играют в небе, на воде,  
 В судах, в парламенте, в сердцах, везде.  
 Мы орденами игры награждаем,  
 Играем в жизнь и в смерть свою играем,  
 Игрой своей игры увлечены,  
 Мы раздаем признанья и чины,  
 Улыбки, странные нравоученья...  
 Но вот, когда настанет утомленье  
 И мы своей пресытимся игрой,  
 Нам рифмой хочется играть одной...  
 Тогда и настает твоя пора,  
 Поэзии тишайшая игра.

*Странник*

## ДУША ФОРМЫ

*Посв. Антсу Орасу.*

Ты в арке сочетал строй истины и меры,  
 высокий свод стиха симметрией связал,  
 и в ночь отчаянья одним усилием веры  
 ты нежность властвовать призвал.

Что в ней? Зов странствия, что в юности любимый  
 певец своей Литвы, Мицкевич отдал нам?  
 шекспировский сонет, как жар в душе таимый,  
 иль Пушкина полдневный ямб?

Иль тайна Рильке в ней, которую ревниво  
 элегии хранят в сиянии строгих строф?  
 Ночь Элиота в ней? Иль Данта *luce viva*?  
 Иль сумрак Донна странных снов?

Быть может, нежность — ритм, пульсация живая  
 цезуры, слога звон и образа расцвет?  
 Движение строки, которая скрывает  
 в себе уснувший самоцвет?

Пегаса вывел ты, и окрыленный снова  
в короне гордой он и с надписью резной:  
— «Служу тому, чей стих таит в металле слова  
дыханье ягоды лесной».

Всё прах, Учитель мой, — всё тлен. И в нем застынут  
легчайшей мысли взлет и чувства глубина.  
Пространство только есть и время, что не минут.  
И форма сущего одна.

### СЕНТЯБРЬ

Что в крови неодолимо пело —  
отошло, меня освободив, —  
вереска цветы и лес замшелый  
и реки пылающий извив.

Вы, глаза, что всё простить умеют,  
ты, волос тяжелая волна, —  
я покинул вас. Виною моею  
звонкость чувств моих заглушена.

Я, стихи последние читая,  
снов весенних не зову назад:  
их земное время, пролетая,  
утопило, как слепых котят.

Теплый ветер сушит все желанья  
и покой приходит им взамен.  
Ночь, быть может, вольное сиянье,  
берег света, а не темный плен?

Мой сентябрь — он солнечная вечность,  
он исполнен чистой тишины,  
в ней впервые радостною встречей  
жизнь со смертью соединены.

Это — от себя освобожденье,  
это — в безымянной тишине  
дух неповторимого мгновенья  
руку робкую простер ко мне.

## ТИГР

*Гравюра Эдуарда Вийральта*

Париж. Зверинец. Толпы проходящих  
зевак напрасно льнут ко мне, крича:  
сейчас я мчусь по сундарабанской чаше,  
реву в яванских пальмовых ночах.

И от Транскаспия и до Кореи  
до жаркой Бирмы — всё моя страна:  
бамбука заросли, где солнце реет,  
подруги-реки, темные до дна.

А отдых мой — руины капищ Брамь,  
испеленный временем дворец, —  
я там лежу, надменный и упрямый,  
как сфинкс, и воин, и верховный жрец.

— Чем можешь, нищий, клича, поделиться?  
Твой мелок ум, бренчащий в пустоте, —  
я ж королем останусь и в темнице,  
я буду презирать тебя, рантье.

Довольно было у тебя игрушек —  
в тюрьме Уайльд, Ван Гог угас в бреду,  
в безумии. Ты всякий гений душишь,  
и для тебя я с места не сойду.

Но вот идет один — и невозможно  
тебе понять, чем он неповторим:  
он для меня единственный художник,  
я *сам* пойду и лягу перед ним.

Вольтера губы, волосы живые  
горят неувыдаемым костром, —  
взгляд углубленный, видящий впервые,  
по новому — что для тебя старо.

Раскрыл альбом. Я чувствую недаром —  
инерции листа не одолев —  
он — как прыжок в виденья ягуара,  
удар когтей, и крови ждущий гнев.

Инерцией разбужен самый верный  
инстинкт во мне — и вот ему служу  
как дружбе духа, я, высокомерный,  
один лишь взгляд — послушно я ложусь.

Я — радость формы. Яростный и стройный.  
Мной любовались кисти всех земель,  
Я всех времен моделью был достойной, — Но  
для тебя я больше, чем модель.

Твой брат — я скован прутьями стальными, ты  
— Монпарнасса клеткой ледяной,  
здесь «Фелис Тигрис», там иное имя —  
там «Вийральт», но — в темнице мы одной.

Приди! Мы вместе убежим отсюда,  
Европы сердце меркнет навсегда.  
Моя ж страна сияет блеском чуда,  
пред ней Париж, как темная звезда.

И через Ганг перенесет вслепую  
тебя моя акуля быстрота,  
они мои — здесь Суматра и Лую,  
там — Грузия, Аравия, Алтай.

Мое оплечье крепостью сравнится  
с устоем гор. Недаром запрягал

меня в бессмертном Риме в колесницу  
сам император Гелиогабал.

Гравёр эстонский, позабудь о плене,  
садись мне на спину, без страха правь,  
мы победим, сыны страны видений,  
легенду нашу обращая в явь.

*Алексис Раннит*  
*Перевод Лидии Алексеевой*

## ПРОШЛОЕ СЕГОДНЯШНИМИ ГЛАЗАМИ

Еще в минувшем году, когда скрывать кризис, переживаемый литературой в Советском Союзе, становилось все труднее, литературное руководство решило прибегнуть к испытанному средству: пробудить активность перспективой «исторических» дат — предстоящего в 1967 году 50-летия Октябрьского переворота и в 1970 году — 100-летия со дня рождения Ленина. Состоявшийся в конце марта 1965 года 2-й Российский съезд писателей, на котором фигурировали обе эти даты, обнаружил, однако, что притягательная и мобилизующая сила этих «дат» слабее, чем ожидалось. Вот тогда то и решено было созвать IV Всесоюзный съезд писателей. Одной из главных его задач будет подведение полувекового литературного развития и обсуждение директив на будущее.

В связи с этим журнал «Вопросы литературы» в нынешнем году провел уже ряд дискуссий «за круглым столом», посвященных обзору литературы за 1965 год по различным отделам: в центре первого обзора была художественная проза, второго — поэзия, третьего — драматургия. Майская книжка журнала посвящена ответам писателей на анкету, каковы должны быть задачи литературной критики. Одновременно «Литературная газета» обзавелась отделом «Творческая трибуна»; писатели приглашаются принять участие в ней в связи с предстоящим съездом и высказать свое мнение об итогах полувекового развития литературы.

Можно не сомневаться в том, что ко времени съезда будет издано немало литературоведческих работ на эту тему. Но, судя по уже опубликованным обзорам, эти работы вряд ли заинтересуют широкие читательские круги. Уж очень чувствуется в них схоластика, тяжел самый язык и, главное, нет в них того, что покойный Всеволод Иванов, один из пионеров нового периода русской литературы, называл «временем неподкупной влюбленности» в молодую, тогда нарождавшуюся литературу.

Было бы однако неправильным скепсис в отношении лите-

ратуроведческих работ, приуроченных к историческим датам, распространить и на текущие очерки и статьи, посвященные воспоминаниям о прошлом. Особенно знаменателен в них проводящийся как бы под сурдинку **пересмотр прошлого**.

Любопытна в этом отношении статья Г. Березкина «О прошлом — сегодня», появившаяся в июньском номере «Нового мира» за минувший год. Статья Березкина — отзыв на книгу Ал. Исбаха «На литературных баррикадах». Березкина не удовлетворяет книга Исбаха, несмотря на то, что сам он, как и Исбах, принадлежит к тому старшему поколению, которое активно участвовало в острой борьбе литературных группировок двадцатых годов. Сам рецензент примкнул к «напостовскому движению» очень рано, с «первых шагов своего творчества». Но в отличие от Исбаха, который в книге ничего в сущности не пересматривает из своего прошлого, Березкин много пересмотрел и, в частности, посягнул даже на Дмитрия Фурманова, до недавнего времени причислявшегося к лику «классиков» советской литературы. Критикуя Исбаха за его высокую оценку Фурманова, Березкин пишет: некоторые высказывания Фурманова «не утратили своего интереса и по сей пору... Но есть и высказывания, которые никак не звучат сегодня, принадлежат целиком с о е й (разрядка Березкина) эпохе». Поэтому автор рецензии считает, что было бы «поучительнее исторически объяснить, чем у талантливого революционного писателя» были обусловлены неверные взгляды и оценки.

Под сомнение взял Березкин и утверждение Исбаха, будто Маяковский «тянулся к коллективу» (Исбах имеет в виду «рапповский» коллектив — В. А.) И он довольно язвительно замечает: «Не думаю, чтобы Маяковского уж очень соблазняла возможность принять участие в обсуждении какой-либо очередной проблемы вроде того: удалось или не удалось Уткину «совершить прыжок из царства мелкобуржуазной необходимости в царство пролетарской свободы»».

Самым сенсационным в этой небольшой перепалке является то, что почти год спустя после опубликования этой рецензии на ее автора, а заодно и «на один из старейших наших журналов» (читай «Новый мир») напустился в майской книжке журнала «Октябрь» А. Метченко (главным редактором «Октября» является Вс. Кочетов, один из «столпов» советского

«консерватизма»). Метченко не оспаривает, что «не все мысли Д. Фурманова выдержали испытание временем». Но читатель, мол, не может пройти мимо факта, что журнал, «предъявивший счет Фурманову», так много высказал «восторженного о Максимилиане Волошине, О. Мандельштаме, Б. Пастернаке, М. Цветаевой, Л. Лунце». И та же редакция «ни словом не обмолвилась о своем несогласии с апологией перечисленных писателей. Выходит, что, по ее мнению, эти писатели внесли более весомый вклад в советскую литературу, чем Д. Фурманов».

После этого автор переходит к развитию своей заветной мысли: «В наше время не часто встретишь человека, разделяющего рапповскую оценку соотношения сил в литературе первых послеоктябрьских десятилетий». Конечно, у «рапповцев» были ошибки, «но действительно ли в литературе тех лет так-таки ничего и не было, что свидетельствовало бы об идеологической борьбе»? В подкрепление своей недосказанной мысли автор приводит цитату из Ленина, а затем продолжает: «Печально, но факт: кое-кто из писателей и критиков начал руководствоваться по преимуществу узко эстетическими (а порой и эстетическими) субъективистскими критериями, наивно полагая, будто «в стране поэзии все шло иными путями, чем в родной стране». «Несомненной заслугой рапповцев, — по Метченко, — было желание сблизить художественное творчество с идеями марксизма». В заслугу «рапповцам» Метченко ставит их борьбу против «троцкистского лозунга» — «методы марксизма — не методы искусства», рапповцы «справедливо» расценили это как попытку «увести искусство с арены идеологической борьбы, объявить мирное сосуществование в области идеологии ...»

Значительная часть статьи Метченко посвящена полемике с «Новым миром» и среди приемов, с помощью которых автор пытается внушить читателям подозрительность в отношении этого журнала, он не стесняется сослаться на «особое внимание со стороны идеологов так называемого ‘свободного мира’». Нетрудно, мол, понять, какую цель преследует западная буржуазная печать, характеризуя ‘Новый мир’ как ‘бастион модернизма’, а ‘Октябрь’ как ‘консервативный орган».

Немалое место в обширной статье Метченко занимают выпады и против журнала «Юность». Поводом к нападению по-

служила статья Станислава Лесневского «Перед новой далью». Молодой критик радуется тому, что «только в учебниках можно свести историю поэзии к 'становлению реализма'. Люди, пока еще, слава Богу, живые люди создают поэзию. У поэзии есть свои тайны: «сросшиеся сосны молчат над могилой Бориса Пастернака... Юноши вновь и вновь задумываются над тем, 'что есть красота', и стихи Николая Заболоцкого, мудрые и высокие, ждут их... Разорвите все эти жизни и смерти на поколения — ничего не получится». «Это было при нас» — по мнению критика — мало что объясняет. «Современность текуча, она как древо, и годовые слои неразделимы, а корни и листья, конечно, могут вступать в спор, но только вместе они живы...»

Больше всего задело Метченко в этой статье то, что автор «всем выдал общий паспорт. Все, мол, талантливые, у всех есть хорошие стихи, все 'из страны поэзии', Метченко же считает, что «самый большой вред воспитанию молодежи приносят не столько стихи А. Белого, Вл. Ходасевича и других поэтов-декадентов, сколько такие разухабистые, нигилистические (? В. А.), рядящиеся под 'тонкий эстетический вкус', 'широту интересов' и 'непредвзятость суждений' безответственные выступления». Особенно подозрительно показалось Метченко замечание Лесневского «Время неумолимо... Сросшиеся сосны молчат над могилой Бориса Пастернака! Попробуй, догадайся, что хочешь сказать критик?!»

В группу очерков, посвященных пересмотру прошлого литературного опыта нужно включить и воспоминания И. М. Майского «Семь номеров» («Знамя», июль 1965 г.). В них автор рассказывает о своей работе в качестве первого редактора Петроградского журнала «Звезда». Эту работу ему предложили после того, как у него, дотоле работавшего в Народном комиссариате иностранных дел, возник конфликт с его руководством и он обратился в ЦК компартии с просьбой дать ему какую-либо другую работу. И Майскому было предложено войти в редакцию «Петроградской правды» а, кроме того, создать в Петрограде «толстый» литературно-общественный журнал. Майский согласился. Особенно увлекала его мысль о создании «толстого» журнала. Но почти с самого начала работы над созданием «толстого» журнала у Майского возникли трудности и внутри редакционной коллегии и вовне — с ру-

ководителями уже существовавших журналов, в частности с редактором «Красной Нови» А. К. Воронским. Известно, что позже Воронский был снят с поста и погиб в ссылке. В своей работе Воронский руководился основной идеей: «искусство есть познание жизни». Литераторы же из так называемого «пролетарского» журнала «На Посту» отстаивали тезис, по которому искусство не только «познание жизни», но и «могучее орудие борьбы за переделку жизни». Эти взгляды были Майскому ближе, чем «созерцательные» взгляды Воронского. Но от «напостовцев» Майского отталкивали методы их полемики, в которых главным орудием была «оглобля». Между руководителями этих трех различных направлений разгорелась жаркая дискуссия. Вспоминая сейчас, через сорок с лишним лет о ней, Майский думает, что в суждениях его и его единомышленников было «немало мыслей и чувств, которые в дальнейшем... легли в основу теории социалистического реализма». Это предположение представляется довольно правильным, оно интересно и в другом смысле: «отцом соцреализма» официальные советские публицисты считают Горького; думается, однако, что хотя и много за Горьким есть грехов, но в «соцреализме» он все-таки не повинен.

Стоит отметить и еще одно замечание Майского, касающееся Воронского. Майскому захотелось «отдать должное лично Воронскому»: «в свете исторической перспективы особенно ясно, что, несмотря на промахи и ошибки, Воронский в свое время сделал большое дело: на крутом изломе в ходе развития нашей страны, сразу после октября, он сумел собрать и объединить рассыпанные и разрозненные крупницы старых литературных сил»; но он сумел также привлечь и «немало молодых писательских сил, вышедших на литературную арену уже в годы революции... Из этих молодых в дальнейшем вышло немало крупных писателей».

В отличие от Воронского, уже до революции имевшего литературный опыт, у Майского не было ни этого опыта, ни связей с литературной средой. Но тут ему повезло: секретарем редакции «Звезда» согласилась быть сотрудница «Петроградской правды», З. А. Никитина, жена одного из молодых писателей из общества «Серрапионовы братья». Она и ввела Майского в среду петроградской литературной молодежи.

Наиболее интересен у Майского рассказ о его знакомстве

с Есениным. Есенин жил в Москве, но частенько наезжал в Петроград. Однажды он зашел в редакцию «Звезды» и принес несколько стихотворений. «Был он без шляпы, в рваной ситцевой рубашке, в легких, тоже рваных штанах и в стоптанных туфлях на босу ногу — ни дать, ни взять — босяк с Хитрова рынка». Майский быстро просмотрел принесенные стихотворения, «блестящий талант играл в каждой строчке, но все это были творения в стиле ‘Москвы кабацкой’». На вопрос Есенина — возьмет ли редактор их для журнала, Майский ответил отрицательно, но тут же прибавил о своей готовности дать поэту аванс. Через несколько дней Есенин собрался возвращаться в Москву, но перед отъездом опять зашел в редакцию. Майский разговорился с Есениным и пошел проводить поэта. Они сели на скамейке возле «Медного Всадника». Майский стал «внушать» Есенину, что талант требует ответственного к нему отношения, ведь это не индивидуальная ценность, а «общественная». Есенин обязан создать что-нибудь достойное своего таланта. Есенин внимательно слушал, потом, «взглянув на могучую статую Петра, как-то отрывисто бросил: ‘Подумаю’».

Месяца полтора спустя он опять пришел в редакцию. Взглянув на него, Майский ахнул: Есенин был «как денди лондонский одет». Он принес в редакцию поэму «Песнь о великом походе». Она была еще не совсем готова и он обещал занести ее через несколько дней. Обещание свое он выполнил. Поэма эта была напечатана в № 5 «Звезды» за 1924 г. Услышав хвалебный отзыв Майского, Есенин весь «как-то просветлел» и сразу попросил гонорар. А через несколько дней Майскому пришлось ездить в какой-то притон, вызволять оттуда Есенина.

Пытаясь разобраться в противоречивых чувствах, которые внушал Есенин (его чисто человеческое обаяние и его «выверты»), Майский резюмирует их так: Есенин напомнил ему «драгоценную вазу с глубокой трещиной, которая при ударе давала какой-то странный надорванный звук». Встречаясь с ним, у Майского мелькало иногда чувство, что Есенин «одна из наиболее трагических фигур русской литературы».

Кое-что новое о Есенине найдет читатель и в посмертно опубликованной книге Анатолия Мариенгофа «Роман с друзьями». Мариенгоф был близким другом Есенина. Особенно волнует описание их последней встречи перед отъездом в Ленин-

град, откуда Есенин вернулся уже в гробу: — Есенин был задумчив и рассеян и вдруг спросил Мариенгофа, любит ли он слово «покой»? Мариенгоф ответил, что самое слово он любит, «а сам покой не особенно». Есенин с ним не согласился. Потом расцеловался с Мариенгофом и сказал: «Пойду с ним попрощаюсь. — С кем это? — С Пушкиным. — А чего с ним прощаться? Он, небось, никуда не уезжает. — Может, я далеко уеду...» Это был последний разговор Мариенгофа с Есениным.

Кроме литературного портрета Есенина, Майский дает интересную зарисовку Алексея Толстого. Толстой дал для первого выпуска «Звезды» рассказ «Парижские олеографии». Сюжет его разворачивается на дне парижской жизни и мало оригинален, но написан он толстовским сочным языком. Майский так говорит о Толстом, тогда только что вернувшемся из эмиграции: настроение Толстого было тогда «настороженно-любопытное», «хожу по улицам и думаю: это Россия и не Россия... Дома те же, что и раньше, а люди другие, чем раньше: и говорят, и думают, и чувствуют иначе... Я похож на человека, который идет по тонкому льду: ощупываешь каждый шаг впереди, пробуешь: провалишься или не провалишься?»

Большинства сотрудников первых номеров «Звезды» давно уже нет в живых. Из бывших «серапионовцев» дожили до сегодня только трое: К. Федин, В. Каверин и М. Слонимский. Тридцать лет прошло со смерти Горького, так много сделавшего для «серапионовцев» и для литературной молодежи вообще. Чувства начинающих писателей к Горькому были искренни. Это сразу передается читателю при чтении таких воспоминаний о нем, как оставшаяся незавершенной не по вине автора трилогия Федина «Горький среди нас», «Начало» Бабеля, «Встречи с Максимом Горьким» Всеволода Иванова. Из недавно опубликованных воспоминаний о Горьком нужно упомянуть отрывок покойного Н. Никитина «О Горьком» («Звезда», 1965 г.), и воспоминания поныне здравствующего Ю. Германа «О Горьком, о Мейерхольде» («Звезда», 1962 г.) Герман приехал к Горькому из Ленинграда. Совсем молодой тогда Герман так волновался, увидев перед собой Горького, что не мог вымолвить ни одного слова. Больше всего он боялся, что Горький непременно спросит его «Как вы относитесь к Гегелю?» Но Горького интересовали совсем другие вопросы: в

какой комнате он живет, чем питается, как уживаются жильцы коммунальной квартиры на кухне? Только после того, как в этом разговоре у Германа исчезла оторопь, Горький перешел к отзыву о произведениях молодого писателя. Он очень сурово напустился на него за «болтовню», «языковые неточности» и т. д. Особенно безжалостен он стал с того момента, когда узнал, что роман «Вступление» (1931 г.) Герман написал с одного раза: «Такие вещи скрывать надо от людей, как мелкое воровство, а не хвастаться ими...» Наконец, не глядя на Германа, он произнес свой вердикт: «Эту книгу нужно написать всю наново. И не переписать... а просто написать наново...» И он заговорил об этом романе так, как будто он вовсе не был уже напечатан, а только пишется и он, Горький, дает Герману советы.

Из мыслей Горького в ту встречу Герману запомнились две. Однажды на прогулке в лесу с несколькими литераторами, слушая высказывания одного писателя, выразившего свое благоговение по поводу одной статьи Горького, Горький внезапно прервал его: «Не так все это... Я предполагал, что разгорится литературная полемика. Без литературной полемики получается не живая литературная жизнь, а какая-то, знаете, кислятина. Скучно! Вот тут молодежь сидит, слушает, делает вежливые лица, а ведь, небось, у каждого есть свое мнение. Что, есть? Чего моргаете? Ведь тоже, поди, со мной не согласны? Или так уж все нам навсегда ясно, что мы решительно ни в какой литературной полемике не нуждаемся? Ведь это ерунда...» Слушатели попрежнему отмалчивались. Тогда Горький вздохнул и вдруг сказал «весело»: «Надо, товарищи, прекословить. Литература — дело живое, а стоит мне публично выступить, как это мое выступление вы сразу начинаете цитировать, точно слова мои — закон. Это мое мнение, литератора Горького мнение. И вы уж извольте со мной разговаривать, как с литератором, пусть более опытным, чем вы, а не как с департаментом изящной словесности...»

Для темы настоящей статьи любопытны воспоминания «Наедине с Горьким» Николая Богданова («Знамя», май, 1966 г.) Он автор в свое время нашумевшей повести «Первая девушка» (1928 г.). Богданов вспоминает, что до этой повести его путь в литературу «был легок и приятен». Что бы он ни написал — читательские отклики радовали. Но «Первая де-

вушка» бросила автора «по волнам дискуссий и обсуждений». То его обдавало «самумом читательской любви», то «леденящим ветром негодования». Тогда он решил дать эту повесть почитать Горькому. Приехал Богданов к Горькому в Италию на теплоходе «Абхазия» — первом пассажирском корабле построенном в советское время с первой заграничной экскурсией в Европу «пролетарских туристов».

Горький взял книжку и, появившись через несколько дней на «Абхазии», вызвал Богданова в один из пустовавших в тот час салонов. Мельком заглянув в страницы книги, данной Горькому, Богданов оробел: она вся была исчеркана, как ученическая тетрадь. Горький прежде всего напустился на автора за язык. Возмутили его всякие словечки, вроде «шамать», «бузить», и т. д. Богданов оправдывался тем, что это язык «наших комсомольцев». Но Горький оставался неумолим: «не всякую пакость из жизни нужно тащить в искусство!» Еще хуже обстояло дело с содержанием: Саня Ермакова, героиня повести, молоденькая красивая девушка сама пришла в ячейку деревенского комсомола и попросила записать ее в члены. Все комсомольцы увлекались ею, но берегли свою «первую девушку» от всяких нечистых поползновений, и все же не смогли уберечь. Писатель объяснил Горькому, что сначала это была «бесхитростная повесть о приключениях деревенских комсомольцев, но, дописав до половины, он решил изменить весь ритм рассказа»: страна переживала уже переходное время — нэп, из «всех щелей начало вылезать мещанство со своей свинской психологией». Разложение коснулось и части комсомола: в нем стали наблюдаться колебания, шатания, легкомысленное отношение к любви. Богданов решил этой повестью показать юным читателям, к чему приводит такое разложение: «в результате такого легкомыслия и погибает Саня Ермакова, первая комсомолка уезда».

На Горького повесть произвела тяжелое впечатление: он не поверил автору, что Саня легкомысленная девушка, ее оклеветали. Когда автор пытался раскрыть Горькому замысел повести, Горький сразу поставил верный диагноз: «Вы писали повесть о героях гражданской войны, но писали во времена нэпа. И те болячки, которыми заболели ныне некоторые золотушные молодые люди, насадили комсомольцам первых лет революции». Горький не скрывал своего огорчения. Еще более

огорчен был сам Богданов. Горький вернул автору экземпляр «Первой девушки», пробормотав, чтобы Богданов на досуге посмотрел и, может быть, выправил бы некоторые детали при новом издании книги. При этом Горький интересовался — каков был прототип Сани в жизни? Богданов сознался, что этот прототип — Зина Ходукина — «отличался чистотой и целомудренностью». Горький тут же и заметил: «вот и писать надо ближе к действительности, проверяя по жизни». Затем он принялся расспрашивать Богданова откуда она сам, из какой вышел среды? Особенно развеселился Горький, когда узнал, что Богданов считал своего отца «буржуйем». Горький переспросил:

— Отец — земский врач, какой же это буржуй?

— А как же, Алексей Максимович, он домработницу держал, значит, эксплуатировал наемный труд.

«Я очень огорчился, — продолжает рассказ Богданов, — почему я не из рабочей среды. Подумать только: отец врач, деды агрономы, землемеры, а в числе дальних родственников даже адмирал есть — Ушаков. Я ему в семейном альбоме рога подрисовал: золотопогонник! — Смеялся Горький до слез». Вспоминая эту беседу сегодня, внутренне улыбается этому и сам Богданов.

Чтобы ярче оттенить сдвиги, происшедшие в психике современников октябрьской революции на протяжении почти полувекового периода, хочется дополнить рассказ Богданова выдержкой из воспоминаний Ал. Штейна «Повесть о том, как возникают сюжеты» («Знамя», 1964 г.) Кстати, оба писателя сверстники и по возрасту. В одной из глав этой повести Штейн рассказывает, как во время 2-ой мировой войны ему случайно попались в руки «Кронштадтский вестник» «далеких, дореволюционных времен» и дневники адмирала Данилова, «из блистательного окружения Федора Федоровича Ушакова. Ни о Федоре Федоровиче, ни тем более о его офицере Данилове, ни о чуме в Херсоне, ни о средиземноморских походах ушаковских фрегатов я дотоле не имел, признаюсь, никакого представления. Возникла мысль: ‘если буду жив’, написать об этом адмирале, чья судьба так странно похожа на судьбу Суворова, кто воевал в Суворовские времена и вместе с Суворовым, и чей флотоводческий гений способствовал славе России, подобно гению Суворова». — Штейн действительно написал такую пьесу

— «Флаг адмирала» (1949 г.), в которой с искренностью запечатлел образ Ушакова, впервые мелькнувший перед его воображением, когда он познакомился с «Кронштадтским вестником» и дневниками адмирала Данилова. Пьеса начинается сценой в Херсоне во время чумы и кончается своеобразным апофеозом Ушакова. В своих воспоминаниях Штейн пишет: «оставаясь верным слугою царевым, убежденным монархистом, во времена Павла он (т. е. Ушаков) провозгласил республику на семи соединенных греческих островах». «Апофеоз» заключен в эпилоге, в нем приведена выдержка из постановления Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 года «об учреждении для награждения офицеров Военно-морского флота военных орденов Ушакова первой и второй степени».

Интересны воспоминания Чуковского («Москва», 1965 г.) об одном из самых популярных писателей кружка «Серапионовы братья» — о Михаиле Зощенко. Свои воспоминания Чуковский предваряет рассказом о Студии, устроенной в доме Мурузи для подготовки квалифицированных переводчиков для издательства «Всемирная Литература». Из подготовки этих «кадров» ничего не вышло, так как Студия скоро наводнилась молодежью, которая не столько интересовалась переводами, сколько литературой и своими собственными литературными опытами. Среди этой молодежи был и Зощенко, тогда еще не писатель, а работник «угрозыска». О нем Чуковский говорит, что он был «одним из самых красивых людей, каких я когда либо видел». Вместе с тем он поражал своей нелюдимостью, хмуростью, замкнутостью. Он всегда внимательно слушал неистовые споры, но оставалось неясным — кому из споривших он больше сочувствует. Но вот однажды Чуковский сделал доклад о натуральной гоголевской школе. А через несколько дней Зощенко принес в Студию пародийный рассказ, так искусно стилизованный в духе повестей и рассказов этой школы, как будто он был написан в 1844 году. Он назвал его «Шестой повестью Белкина», дав ему заглавие: «Талисман». Язык и самый «воздух» рассказа напоминает «Выстрел» Пушкина...

Слава пришла к Зощенко рано, но Чуковского не очень радовали успехи Зощенко, ему казалось, что читатели увидели в нем только «пустопорожного автора мелких и смешных

пустяков». К началу 30-х годов только немногие настоящие ценители, как А. Толстой, Ю. Олеша, Евг. Тарле, Ю. Тынянов, С. Маршак чувствовали литературное значение Зощенко. С этим мнением Чуковского трудно согласиться: не будучи литературными специалистами, живые читатели нутром чувствовали над чем смеется и за что борется этот очень талантливый писатель. К сожалению, Чуковский в своем очерке не задержался над кампанией чудовищной клеветы, которой подвергся Зощенко вместе с Ахматовой вскоре после окончания 2-ой мировой войны. Никому не дано определить на сколько лет эта позорная травля сократила жизнь писателя. В воспоминаниях Чуковского ценны подробности о периодах длительной депрессии или «хандры», которой мучился Зощенко почти всю свою жизнь. Поисками выхода из этого состояния служат такие повести как «Возвращенная молодость» и «Перед восходом солнца». Известно, что это последнее произведение подверглось такой уничтожающей критике, что журнал «Октябрь», в котором оно печаталось, не решился даже опубликовать ее окончание. Чуковскому Зощенко говорил, что эта повесть будет его «лучшей книгой». Чуковский читал и оставшуюся неопубликованной часть ее и не согласился с автором. Он сказал ему, что если «вышелушить» из нее рассказы, оставив за бортом «научные медитации» — сами рассказы «останутся в литературе», так как «в них такое свободное дыхание, такая непринужденная дикция, словно автор и не замечает своего мастерства». Этот отзыв очень обидел Зощенко, особенно выражение «вышелушить»...

В последний раз Чуковский видел Зощенко за три месяца до его кончины. Зощенко приехал к нему в Переделкино. Вид Зощенко поразил Чуковского: «это был совершенно разрушенный, с потухшими глазами, с остановившимся взором человек». Желая несколько поднять его настроение, Чуковский заговорил с ним о его сочинениях. Но Зощенко махнул рукой: «Мои сочинения? — сказал он медлительным и ровным своим голосом. — Какие мои сочинения? Их уже не знает никто. Я уже сам забываю свои сочинения». Когда Чуковский тут же познакомил Зощенко с начинающим литератором, Зощенко посмотрел на него и «процитировал самого себя»: «Литература — производство опасное, равное по вредности лишь изготовлению свинцовых белил».

Пожалуй, еще более интересны воспоминания о Зощенко и о других его современниках В. Каверина — «За рабочим столом» («Новый мир», 1965 г.). В отличие от Чуковского, чело- века, сложившегося до революции, Каверин, как и его «братья» по литературному содружеству, пришли в литературу только с самой революцией. Оглядываясь на пройденный путь, Каверин замечает: «В последнее время мы все чаще вспоминаем имена писателей, которых уже нет с нами, страницы недавней литературной истории, заставляющие о многом задуматься, многое переоценить. Это — не беспредметное оглядыванье назад. Это — всматриванье, которое неизбежно сопутствует истинному изучению прошлого. Это — движение вперед, а чтобы двигаться вперед, нужна верная карта. Без белых пятен.»

Случилось Каверину как-то заговорить с Паустовским о рассказах молодого В. Аксенова (автора повестей «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», «Коллеги» и др.). И оба сошлись на том, что в глубине его стиля «чувствуется интонация Зощенко». «Серапионовы братья» жили, работали, ссорились и мирились «в атмосфере зощенковского юмора, под раскаты хохота, неизменно звучавшие, когда с серьезным, почти грустным лицом он читал нам свои рассказы».

Зощенко был не только одним из самых популярных, но одним и из уважаемых представителей старшего поколения. И вдруг этот широко известный писатель оказался в полном одиночестве. «От него отвернулись даже те, кого он считал своими друзьями... Это продолжалось около десяти лет». И все эти годы Зощенко продолжал работать: «Как настоящий художник он понимал, что его единственное спасенье — работа. Он писал пьесы, писал фельетоны, которые возвращались автору с вежливыми или невежливыми отзывами...»

Вкратце упомянув о широко известном поводе, послужившем сигналом к клеветнической кампании, Каверин рассказывает затем «с каким спокойствием, с каким достоинством переносил он незаслуженные лишения, горечь одиночества! С каким благородным спокойствием! Без страха, без озлобления! Не думая о себе, оправдывая слабых друзей...»

Кроме литературного портрета Зощенко, очерк Каверина содержит еще рассказы о покойном Всеволоде Иванове, Александре Фадееве и Николае Заболоцком. Наиболее значителен и во многих отношениях нов рассказ о Всеволоде Иванове, ко-

тогого Зощенко как-то назвал «наш сибирский мамонт».\* Особенно интересны замечания Каверина об истоках интереса Иванова к русской фантастике — к Владимиру Одоевскому, к Вельтману, произведения которых он собирал годами. «Он искал и находил любимую традицию в прошлом русской литературы».

Особое внимание в портрете Иванова, нарисованном Кавериним, привлекает передача содержания одного посмертно изданного рассказа Иванова «Сизиф, сын Эола». В нем рассказывается о солдате Полиандре, которому не повезло в жизни: он служил царю Кассандру, соединявшему в себе беспощадную вспыльчивость с еще более беспощадным честолюбием. Полиандру хотелось, чтобы Кассандр думал о нем хорошо, но тот не верил солдату, не верил всем солдатам. Под конец жизни, весь израненный и нищий, но все еще полный надежд, Полиандр отправляется на родину. В горах он встречает Сизифа, который некогда правил Коринфом. Он чем-то вызвал гнев Зевса и тот наложил на него бессмысленное наказание: вкатывать на гору обломок скалы. В рассказе Иванова солдат Полиандр приобретает какие-то «странные, смутно знакомые очертания». Каверину мнится, что за этим солдатом скрывается сам Иванов, которого многие боялись, как боялись и солдата Полиандра — за прямоту. Но и за фигурой Сизифа чудится Каверину Иванов в старости: встретившись в горах с Сизифом, Полиандр узнает, что наказание, наложенное на него Зевсом, кончается, с завтрашнего дня Сизиф опять будет свободен. Полиандр уговаривает Сизифа вместе отправиться в Коринф, убить там Кассандра и покорить Грецию. Сизиф как будто соглашается. Оба ложатся спать с этим принятым решением. Но проснувшись утром, Полиандр видит, что Сизиф по-прежнему катит в гору базальтовый шар. Он спрашивает Сизифа: неужели Зевс передумал? Сизиф отвечает, что он свободен, но он стар, стары его бедра, голени, ступни, молодые греки идут слишком быстро и он боится, что отстанет и погибнет где-ни-

---

\* См. об этом в очерке М. Слонимского «О Всеволоде Иванове», «Звезда», январь 1965 г. Свои воспоминания об Иванове Слонимский начинает с фразы «В Сибири пальмы не растут» — эта фраза, так понравилась всем «серапионовцам», что они ее приводили к месту и не к месту, и запомнилась потому, что так начинался первый рассказ Иванова, прочитанный в Студии...

будь в пути. «А здесь? Здесь я привык. У меня имеются бобы, капканы для диких коз, вино изредка и к нему сыр. Что мне еще нужно? Я привык. Иди, путник, в свой Коринф, а я пойду на свою гору».

«Писательская судьба, — заканчивает свои воспоминания об Иванове Каверин, — была трудна не только потому, что на ней сказались тяжелые времена сталинского произвола. Некоторые его романы и повести, пролежавшие в письменном столе и лишь теперь появляющиеся в свет, — нелегкое чтение». Но произведения этого писателя «связаны с судьбой страны, с ее историей — трагически и неразрывно».

Много нового заключают в себе литературные эскизы о покойном Фадееве и особенно о Заболоцком. Каверин познакомился с Заболоцким, когда тот еще был «розовощекиим мальчиком, только что вернувшимся из армии». Как-то Заболоцкий встретился у Каверина с Антокольским. Выслушав несколько его стихотворений, Антокольский сказал, что они похожи на стихи капитана Лебядкина. Заболоцкий не обиделся, он ответил высокомерному критику, что «ценит Лебядкина выше многих современных поэтов...»

Заболоцкий был трудным поэтом и трудным не только из-за требовательности к себе, но и потому, что «ощущение высокого призвания было для него эталоном в жизни. Он был честен, потому что он был поэтом... Он никогда не предавал друзей, потому что он был поэтом». «Как многие талантливые поэты и писатели, он навлек на себя гнев руководителей советской литературы и несколько лет провел «вне литературы», работал землекопом, дорожным рабочим, чертежником. В это тяжелое время он «совершил подвиг»: перевел на современный язык «Слово о Полку Игореве». Ему в этом переводе не только удалось с «исчерпывающей точностью передать смысл каждого слова этого бессмертного памятника и передать трагедию Руси, потерпевшей одно из самых тяжких своих поражений». В этом переводе он сумел дать читателю почувствовать личность неведомого поэта того отдаленного времени.

Незадолго до смерти Заболоцкий шжег многие свои шуточные стихи: «он не хотел шутить ни с поэзией, ни со своей жизнью». Размышляя над светлой и трагической жизнью поэта, Каверин понимает, что имел в виду покойный Ю. Тынянов, когда писал о Велимире Хлебникове: «Есть литература на глу-

бине. Есть жестокая борьба за новое зрение, с бесплодными удачами, с нужными сознательными 'ошибками', с восстаниями решительными, с переговорами, сражениями и смертями. И смерти при этом бывают подлинными, не метафорические. Смерти людей и поколений».

Я хочу еще отметить факт некоторой переоценки взглядов и настроений начальных лет революции в новейшей беллетристике, поскольку ряд произведений говорят о жизни двадцатых годов. В большинстве случаев такая переоценка овеяна насмешливым лиризмом (В. Панова «Сентиментальный роман», 1958 г.). Встречается однако и переоценка, приправленная довольно ядовитым сарказмом (Ю. Нагибин, цикл рассказов «Митя», 1963 г.).

Симптоматично еще одно явление, связанное с литературой русской эмиграции. В течение многих десятилетий произведения эмигрантских писателей, за малыми исключениями, не удостоивались внимания советской печати. Исключением были произведения Бунина. Он был первым, хотя и посмертно, возвращенным в лоно русской литературы. В отношении остальных в ходу была практика клейма — «клеветники», «контрреволюционеры», «белоэмигранты» и т. д. Но года два тому назад стало исподволь производиться — правда — посмертное «возвращение на родину» некоторых писателей и поэтов. Так, еще в 1964 году в «Новом мире», в отделе «Из прошлого» появились три рассказа покойного И. Шмелева («Обед 'для разных'», «Ледоколье», «Ледяной дом»). В предисловии к этой публикации В. Баумов говорит свысока о том, что «оторванная от своего народа, родины, литературная эмиграция, естественно, не могла не впасть в оскудение». Но это замечание находится в очевидном противоречии с дальнейшей оценкой творчества Шмелева, ибо Баумов пишет, что «сила Шмелева в сочности языка и выразительности нарисованных им образов».

Но Шмелев не единственный посмертно «возвращаемый» из эмиграции в лоно русской литературы писатель. В еженедельнике «Литературная Россия» (от 3 сентября 1965 г.) опубликовано несколько стихотворений покойного Игоря Северянина под общим заглавием «О России петь, что весну встречать». Стихам предпослано вступление Ю. Шумакова, в котором вкратце изложена биография Северянина после революции, его жизнь в Эстонии. Еще знаменательнее «возвращение»,

и тоже посмертное, Н. А. Тэффи. Три ее рассказа — «Средний англичанин», «Из тех, кому завидуют» и «Сватовство» — опубликованы в «Литературной России (19 ноября 1965 г.)». Предисловие к ним написано Леонидом Ленчем. Бегло ознакомив читателей с биографией Тэффи, Ленч объясняет, почему писательница, симпатизировавшая «умеренному интеллигентскому либерализму», очутилась в эмиграции. Ленч не скрывает, что в некоторых ее фельетонах «звучали антисоветские выпады». Но тут же сообщает, что она «не замарала своего имени сотрудничеством с немецкими оккупантами». Далее Ленч рассказывает, что друзья в Париже познакомили его со многими стихами Тэффи. «Это очень печальные и очень красивые стихи. Обращаясь к своим близким, Тэффи просит их не думать, что она умерла. Нет, просто пришел корабль под черными парусами и увез ее... Куда? В страну забвения». К этому Ленч многозначительно добавляет: **«курс корабля под черными парусами может быть изменен. Многое в творчестве Тэффи не должно быть забыто. В истории русского юмора она занимает свое место и советский читатель по достоинству оценит ее рассказы, в которых сохранился трепет жизни, пускай незнакомой, но схваченной налету и запечатленной пером внимательного улыбчивого художника».**

Этими именами не исчерпывается список писателей и поэтов «возвращаемых» в лоно единой русской литературы. Но ошибочно думать, что эта «реабилитация», даже «посмертная», не встречает сопротивления внутри писательских организаций: «бдят консулы» из стана «консерваторов», не по душе им «захваливание», скажем, Марины Цветаевой и одновременно критическое отношение к Фурманову или Серафимовичу. Но **«курс корабля»** в данном случае диктуется не ими, пожелания перемены «курса» идут откуда-то из глубины страны...

*В. Александрова*

# НАХОДКА В ТАЙГЕ\*

Памяти брата моего

Майским днем 1943 года я шел по тайге, от так называемого «створа», т. е. места, где было намечено построить плотину через реку Чусовую, и где находился лагерь заключенных, производивших для этой плотины работы.

Май на северном Урале это, примерно, то же, что апрель в центральной России. Тайга постепенно пробуждается, еще только что стаял снег, да и не везде. Начинает пробиваться травка, из-под бурых листьев и прошлогодней хвои лиственниц кое-где выглядывает подснежник. Дорога, вернее — просека, по которой осенью и зимой можно было только с трудом пробираться на тракторе, сейчас представляла собой колдобины, залитые жидкой грязью, местами переходящие в настоящие болота, идущие вглубь леса. Легче было идти не по дороге, а вдоль нее, по обочине, покрытой прошлогодним листом и хвоей.

И вот здесь, на этой дороге, я увидел то, что запомнилось мне на всю жизнь.

Что можно встретить страшного в диком лесу? Зверя? Убитого человека? Мне приходилось не раз встречать труп на дороге. Да, все это можно встретить в тайге. Но я увидел нечто другое, что врезалось в мою память на много лет.

То, что я увидел не было на первый взгляд страшно. Это было небольшое белое пятно на дороге. Когда я подошел ближе, увидел, что это просто листок бумаги.

Идя по городу не обращаешь внимания на какие-нибудь валяющиеся бумажки. Но бумажка в тайге, — дело не совсем обычное. Захотелось посмотреть, что же это за бумажка?

Это была белая бумага. И не просто бумага, а именно «бумага» в смысле писанного документа, государственная бумага установленного образца, бланк, отпечатанный в типографии для заполнения от руки.

---

\* Эти воспоминания мы получили с оказией из СССР. РЕД.

Бланк белел среди прелых листьев и черной земли. Он был, видимо, оставлен здесь совсем недавно, хотя белизна его была уже попорчена и он был помят. Ясно, почему он оказался на земле. Бланк кто-то использовал для естественной надобности.

На белизне его квадратика — типографские буквы, а среди них слова, написанные чернилами от руки. Крупные типографские буквы складывались в установление акта о смерти заключенного, а мелкие, рукописные обозначали имя, отчество и фамилию человека и некоторые данные его жизни — год рождения, причину смерти и прочее.

С тех пор прошло много лет, но и сейчас я помню имя умершего — Николай. Человеку этому было всего двадцать лет, номер относящийся к нему статьи Уголовного Кодекса был: — 58 п. 10. В графе «причина смерти» стояло — «пеллагра».

Глядя на этот бланк в тайге я вспомнил, как всего три дня тому назад, зайдя в УРЧ (учетно-распределительную часть) своего лагеря, я застал секретаря за оформлением множества подобных документов. На столе лежало несколько стопок таких заполненных бланков, и секретарь составлял ведомость для отправки всего этого материала в лагерное управление. Когда я вошел, секретарь нехорошо покосился на меня, — по правилам эта его работа считалась секретной. Но ужасная теснота всех наших помещений заставляла иногда работать не по правилам, и дело к тому же было спешное. Да и ни для кого не было секретом, в каком количестве мрут в нашем лагере люди... Один из этих именно бланков теперь и валялся здесь.

По замыслу тех, по чьей воле эти бланки печатались, это были, конечно, документы строгой отчетности. Акт о смерти заключенного заполняется и подписывается администрацией и врачебным персоналом и должен быть отправлен в управление, и какое-то время храниться там, пока не будет сактирован на уничтожение. Так полагалось по замыслу людей, создавших лагерную систему. В действительности же получалось иное. Смертность на Урале была настолько велика, что пересчитывать эти бланки в управлении, т. е. дублировать работу УРЧ, просто никому не приходило в голову. Довольствовались представленной сводкой, а акты складывали в шкаф, чтобы потом, когда их накопится несколько тысяч, сразу унич-

тожить. Жизнь вносила свои коррективы в замыслы начальства, вернее, не жизнь, а смерть... массовая смертность. На идейной вывеске всех звеньев лагерной системы красовались «труд и исправление», но сквозь эти фальшивые слова читалось: «унижение и истребление».

Каждый день, на заре, из ворот лагеря вывозились большие отвратительные ящики, набитые трупами. Медленно тянулись эти грабарки с ящиками по берегу реки и доезжая до одного овражка, сворачивали в него. Здесь содержимое ящиков вываливалось в приготовленные неглубокие ямы, расположенные по склону оврага. Иногда, в дождливую погоду, когда осклизлая земля становилась недоступна плохо подкованному конскому копыту, грабарки эти не могли подняться в гору. Тогда, с бранью и проклятиями, содержимое ящиков вываливалось под горой, плохенькие лагерные лошадки распрягались и тела, по одному или по два, привязывались за руки или за ноги веревками к конской упряжи и, так подтаскивались к ямам. Затем тела сталкивались в ямы и немного засыпались землей. Может быть, по правилам полагалось копать настоящие ямы и по настоящему засыпать их землей, но никому из заключенных, приставленных к этому делу, не хотелось копать щербенистую землю. Вся работа в лагере вообще шла из-под палки; копать землю на глазах у начальства, когда прораб учитывает работу, это одно, а копать в овраге для мертвецов, зная, что никто из начальства никогда сюда не заглянет, — это — другое. Тела кое-как засыпались и сразу рядом копалась другая яма — на завтра.

У всех народов много разных похоронных обычаев. Но похороны заключенных не сопровождаются церемониями. Погребение не осложняется ни молитвами, ни музыкой, ни слезами, ни речами. Все это заменяет густая матерная брань, без которой в лагере вообще ничто не обходится. Человеческий отброс, «штрафная команда», которая не может быть использована ни на какой более или менее самостоятельной работе, обычно посылается на закапывание покойников. Только те, которым уже все безразлично, соглашаются на эту работу, преимущество которой в том, что она занимает всего несколько часов в день и выполняется «на воле», вне проводочной зоны оцепления.

Похабная лагерная брань, это не просто матерная брань,

а исключительно циничная, виртуозно-отвратительная, содержащая в себе все, что можно сказать самого худшего о самом лучшем; в этой брани оплевывается все то, что для человека может еще казаться святым или ценным. Эта брань заменяет при лагерном погребении и псалмы, и надгробные речи, и слезы близких. Это вполне понятно, так как тут не «усопший», но «покойник» и даже не «умерший», а просто «падаль», которую нужно поскорее закопать. Но вот падаль закопана и совершена обычная «тризна»: над новым холмиком посидели, «перекурили», тут же поиспражнялись и с тою же бранью разошлись. Погребение кончено, завтра будет другое, точно такое же, — новой партии человеческой падали.

Медленно и неуклонно выростал могильник на склоне живописного овражка, каких много по берегам реки Чусовой. Неуклонно выростала и стопка актов о смерти на столе начальника УРЧ. И теперь передо мной лежал на земле листок бумаги, говорящий о таком погребении. Это было все, **что осталось от человека.**

Была когда-то ночь, когда этот человек родился в мир. Бережно кормила его мать, мыла, выращивала, журила, ласкала, наказывала, порой плакала над ним. Раньше имя его было какое то неполное — Колька, Николашка, так звали его товарищи, или нежно-ласкательное — Коля, Колюнчик, как звала его мать. Потом он стал Николай. Как-то застенчиво произносил это имя, знакомясь с девушкой, поступая на работу...

Но однажды он произнес слово, которое в этом государстве не разрешалось произносить. Нашлись уши, услышавшие это слово и нашлись другие уши, которым надлежало все слышать. Человек предстал пред теми, кто имел эти особые «уши». Но это был день, когда он все еще оставался человеком. Он мог еще говорить, вернее — отвечать на вопросы. Ему не только не запрещали говорить, но даже требовали, подсказывали, как именно он должен отвечать. Он еще не был лишен человеческого достоинства, но уже был не свободен.

Настал еще один день, когда был произнесен приговор, лишивший его человеческих прав. С тех пор он стал уже почти не человек, он стал существом, лишенным человеческого достоинства.

Затем потянулись дни, и их было много, когда человек перестал быть человеком. Суровая тайга, куда привезли его,

давила своим нездоровым климатом. В бараке, где его поселили, была ему предоставлена только доска для спанья. В руки ему дали кирку, чтобы дробить скалу, тачку, чтобы вывозить щебень. Вечером его ждала полуголодная «пайка», о которой он мечтал с полудня.

Настал потом еще день, когда силы его истощились: его схватила болезнь, от которой уходил редкий. Ослабели мускулы, с ними ослабла и воля к жизни. Жить? Нет, жажды жизни почти уже не было. Появились непрекращающиеся, тянущие боли в животе и почти непрерывный понос.

Пойти к врачу? Но попасть к нему на прием трудно. Лекпом (лекарский помощник, который в лагерной системе заменяет врача) — один, а больных сотни. К тому же дан «лимит», по которому освобождать от работы он может только очень небольшое число больных. Превысить эту, строго установленную норму, он не может под страхом обвинения в сознательном подрыве интересов производства. Съев свою «баланду», он все-таки пришел к лекпому, но там была уже такая толпа, что пробиться было невозможно. Прошел час, другой. И когда впереди осталось всего два человека, пробили «отбой» и дверь амбулатории закрыли.

На утро он уже не мог работать, но так как формального «освобождения» у него не было, то от него целый день требовали работы, а он молчал и лежал у своей тачки. Сейчас на него уже не действовали угрозы десятников, пинки бригадира. Вечером в конторе на него составили акт «об отказе от работы» и на другой день его ждала уже не полуголодная, а голодная пайка. Но на другой день он уже не встал.

Прошел еще день и его отнесли в лазарет... Теперь лекпом осмотрел его. «Плывун», — охарактеризовал он своего нового постояльца. Этим словом называют больных пеллагрическим поносом, у которых ослабели не только мускулы рук и ног, но и мускулы удерживающие естественные отправления. Такой больной «плывет», т. е. непрерывно делает под себя. Выздоровления от этой болезни в лагерях не бывает.

Через несколько дней «плывун» был на своей доске мертвым. И вот тогда-то был заполнен акт о его смерти, а он сам, с металлической биркой, привязанной к большому пальцу левой руки (так требует инструкция в лагерной системе), вместе с другими ему подобными был уложен в штабель в уз-

кой мертвецкой, подобно тому, как укладывают в штабеля железнодорожные шпалы. А на утро был брошен в большой вонючий, полный мертвецами ящик, и вывезен за вахту, чтобы быть закопанным там, где никогда никто его не найдет.

Акт же о его смерти пошел в большую стопку таких же актов. Начальство его подписало и направило в управление лагерей. Там должна составиться сводка более полная, которая посылается еще более высшему начальству.

Надо еще добавить, что все это лагерное строительство на самом деле было дутым; это было просто делом обмана, спасавшего руководство лагеря от военной службы, от фронта. Построить гидроэлектростанцию на этом месте было нельзя из-за особенностей геологического строения берегов реки. Чусовая протекает в узком глубоком каньоне. Высокие берега ее изрыты пустотами, образовавшимися от вымывания грунтовыми водами известковых отложений. Всюду на берегах, так называемые, карстовые воронки — большие провалы почвы, пустоты, куда дождевые воды, превращающиеся благодаря крутым склонам реки в целые потоки, с шумом проваливаются точно в какую-то бездну. Так главный приток Чусовой, впадающий в нее немного выше — бурный Поньш, местами вдруг исчезал под землю. Подходя к этой воронке уже издали можно было слышать шум водопада, а в месте провала реки под землю вода кипела, как в котле. Громадная воронка поглощала горную речку, которая протекала несколько километров под землей. Затем сухое русло снова наполнялось водой, река выходила из-под земли и снова бежала к буйной Чусовой. Берега таили в себе неизведанные и не могущие быть обнаруженными известковые залежи, которые при условии поднятия воды плотиной, были бы в скором времени растворены течениями грунтовых вод и на их месте образовались бы колоссальные промоины, благодаря которым удержать воду никакой плотиной было бы невозможно. Вдобавок, благодаря узкому каньону и громадному бассейну, собиравшему воду после грозных дождей, обычных для летнего времени, река за одну ночь могла поднять уровень на несколько метров. Чтобы перекрыть течение такой реки плотиной и предупредить возможность прорыва, требовалось разрезать на некотором расстоянии берега и заложить высокие бетонные стены, могущие удержать воду на большой высоте, что, конечно, особенно в тех условиях военного времени, было совершенно невозможно... Руко-

водство строительством все это прекрасно знало. Впрочем, об этом знало не только руководство, но и решительно все — от любого прораба до последнего заключенного. И в то же время в жертву бессмыслице приносились тысячи человеческих жизней. Страшная трагедия превращалась в такую жуткую насмешку над человеческой жизнью, какую мог придумать только сам дьявол. Но стоявшие во главе этого дела не смущались; они не чувствовали ни угрызений совести, ни человеческой жалости. Дутое предприятие спасало их от фронта и давало возможность жить сытно и бесконтрольно т. к. благодаря массовой смертности оставалось в их распоряжении большое количество продуктов, которые умело сбывались на рынке снабженцами.

Страна голодала, истекала кровью. Здесь, в лагерях, смерть косила людей тысячами, а вся эта кучка руководителей и их верных слуг — снабженцев и других — благоденствовала. Сметливые, бессовестные люди крепко держались друг за друга, не чувствуя ответственности за жизни тех, кто были названы «преступниками».

А строительство, между тем, как будто шло. Зимой 1942-43 года оно началось, летом 43-го года «развернулось» и потребовало «кадров», «рабсилы» и затем, поглотив эту «рабсилу» за лето и зиму 1943-44 года, закрылось. Что оно должно было закрыться — знали почти все. И молчали. Кто из страха перед фронтом, кто из страха перед наказанием. А пока что люди тысячами привозились на глухую станцию в товарных вагонах, выгружались и под усиленным конвоем — и конвоиров и сторожевых собак, — прогонялись по таежной дороге к угрюмой реке.

Спустя некоторое время они оказывались закопанными в одном из оврагов на берегу Чусовой, а на станции опять выгружались из вагонов люди и также прогонялись сквозь тайгу по той же самой дороге смерти и также вскоре закапывались, а, взамен живых людей, в управление строительства отправлялись — бланки о смерти. Взамен каждого живого человека приходила эта аккуратная бумажка, заполненная статистиком и подписанная медицинским работником и начальником лагеря. Соблюдался известный баланс всей этой дьявольской бухгалтерии «Исправительно-Трудовых Лагерея НКВД». И к этому балансу фактически сводилось все «исправление» человека,

которого квалифицировали, как «преступника». И все это освящалось идеями: «труд создает человека», «труд исправляет человека», «воздействуя на окружающую природу, человек изменяет и свою собственную природу...»

То, что происходило на Чусовой, однако, не считалось преступлением и не было исключением. То же самое происходило на моих глазах и на строительстве подобной же гидростанции возле Великого Устюга на реке Сухоне. В деле разница и этой плотины мало кто верил и сам проект был составлен даже настолько неряшливо, что как только плотина была достроена к концу зимы, так сейчас же была и смыта первым весенним наводком. Деревянные ряжи, вырванные из тела плотины, исковеркали все русло прекрасной Сухоны, по которой до этого ходили пароходы. Ущерб государству был нанесен очень большой, но ни об этом, ни о том, что погибли тысячи молодых жизней, никто и не думал.

Тот, кто нес (несомненно, не в первый раз) стопу этих бланков, хорошо знал, что никому не интересно пересчитывать эти сотни однообразных листков, которыми был забит целый шкаф. Поэтому-то он так и распорядился одной из этих бумажек для своей надобности...

Кто же был этот умерший человек, носивший одно со мною имя? Он успел дожить всего до двадцати лет. Был он высок или низок, был смел или робок? Какими глазами смотрела на мир его молодая душа — голубыми или карими?

Я — живой, уже прошедший все, что прошел этот мой тезка, испытавший, что полагалось испытать заключенному в те жуткие дни, но счастливо избежавший «тачки», стоял сейчас перед этой жуткой бумажкой...

Пройдет день, два, весенний дождь смоем чернила, бумага станет серой, сопреет. Тогда исчезнет и вся память об этом человеке. А в овраге могила заростет кустарником.

Тайга просыпалась. Верхушки елей и лиственниц шумели над моей головой. И вдруг меня охватил ужас, какого я не испытывал никогда в жизни. Это было и чисто животное желание жить и животный ужас перед смертью...

Во многих странах есть, так называемые, «могилы неизвестного солдата». Вечный огонь горит над такими могилами. Люди проходят в благоговении, снимают головные уборы, склоняют головы...

В нашей стране нет могилы «неизвестного заключенного». Поэтому мне и захотелось оставить на память людям хотя бы этот рассказ о неизвестном человеке — брате моем.

*Неизвестный*

# ПЕСНИ-СТИХИ ИЗ СССР\*

## ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕСЕНКА

Товарищ Сталин, вы большой ученый,  
В языкознании познавший толк.  
А я простой советский заключенный  
И мой товарищ — серый брянский волк.

За что сижу, по-совести, — не знаю.  
Но прокуроры, видимо, правы.  
И вот сижу я в Туруханском крае,  
Где при царе сидели в ссылке вы.

И вот сижу я в Туруханском крае,  
Где конвоиры строги и грубы.  
Я это всё, конечно, понимаю,  
Как обостренье классовой борьбы.

В чужих грехах мы сходу сознавались,  
Этапом шли навстречу злой судьбе.  
Мы так вам верили, родной товарищ Сталин,  
Как может-быть не верили себе.

То дождь, то снег, то мошкара над нами,  
А мы в тайге с утра и до утра.  
Вы здесь из «Искры» раздували пламя,  
Спасибо вам — я греюсь у костра.

Товарищ Сталин, ты не спишь ночами,  
Прислушиваясь к шороху дождей,  
А мы лежим на нарах штабелями,  
И нам чужда бессонница вождей.

---

\* Эти песни-стихи записаны нами с магнитофонной ленты, привезенной из СССР. В Сов. Союзе они популярны и поются главным образом молодежью. О некоторых из них упоминал М. Михайлов в своем очерке «Московское лето, 1964». Мы считаем, что эти песни-стихи интересны и политически и литературно. РЕД.

Я вижу вас, как вы в партийной кепке  
И в кителе идете на парад.  
Мы рубим лес. А сталинские щепки,  
Как прежде — во все стороны летят!

Вся грудь у вас в наградах, вся в медалях.  
И волос от заботы поседел.  
Ведь вы шесть раз из ссылки убежали,  
А я, дурак, ни разу не сумел!

Вчера мы схоронили двух марксистов,  
Мы их не покрывали кумачем.  
Один из них был правым уклонистом,  
Другой, как оказалось, не при чем.

И перед тем как навсегда скончаться  
Вам завещал кисет и все слова,  
Просил он вас во всем тут разобраться  
И тихо вскрикнул: «Сталин, голова!»

Живите сотни лет, товарищ Сталин!  
И хоть придется здесь подохнуть мне,  
Росло бы только производство стали  
На душу населения в стране!

### ПЕСНЯ ЗАСТОЛЬНАЯ, ПЕСНЯ ПАСХАЛЬНАЯ

Смотрю на небо просветленным взором  
Я на троих с утра сообразил.  
Я этот день люблю, как день шахтера,  
Как праздник наших вооруженных сил.

Сегодня яйца с треском разбиваются  
И душу радуя, гудят колокола.  
И пролетарии всех стран соединяются  
Вокруг накрытого пасхального стола.

Все красят яйца в синий и зеленый,  
А я их крашу только в красный цвет.  
Несу в руках их гордо, как знамена,  
Как символ наших доблестных побед.

Под колокольный звон ножей и вилок  
В лицо ударил запах куличей.  
Как хорошо в таком лесу бутылок  
Увидеть даже морды стукачей!

Так расцелуемся с тобой прохожий!  
Прости меня за чистый интерес!  
Мы на людей становимся похожи!  
Давай еще — Воистину Воскрес!

Смотрю на небо просветленным взором,  
Я на троих с утра сообразил.  
Я этот день люблю, как день шахтера,  
Как праздник наших вооруженных сил.

#### ПЕСНЯ ИЗ МЕСТ НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫХ

Ах, приморили гады, приморили.  
Загубили молодость мою.  
Золотые кудри поседали.  
Знать у края пропасти стою.  
Золотые кудри поседали.  
Знать у края пропасти стою.

Я прошел Сибирь в лаптях обутый,  
Слышал песни старых чабанов.  
Надвигались сумерки ночные  
Ветер дул с Каспийских берегов.  
Надвигались сумерки ночные  
Ветер дул с Каспийских берегов.

Ты ушла, как мне сказали в сказке,  
Ты ушла, не вспомнив обо мне.  
Я остался тосковать с гитарой  
На чужой Колымской стороне.  
Я остался тосковать с гитарой  
На чужой Колымской стороне.

## АННА КАРЕНИНА

Жила на Москве героиня романа  
Старинных дворянских кровей,  
Она называлась Каренина Анна,  
Аркадьевна отчество ей.

Трудиться она не имела охоты,  
С преступною страстью в крови  
Жила эта дама без всякой заботы,  
Страдая от русской любви.

Тут Вронский попался, ужасный пройдоха  
И бывший к тому ж офицер.  
Его воспитала другая эпоха  
И не жил он в СССР.

А старый Каренин был строгий и злобный.  
А Анна прекрасна, мила.  
Не выдержав жизни семейной подобной  
Со Вронским любовь завела.

А Вронский, подлюга, был страшным нахалом.  
Забыл обещанье свое.  
И он оказался идейно отсталым  
И он не допоял ее.

И в Анне открылась глубокая рана  
Ведь это для нас не секрет,  
Что бросила Анна супруга-тирана  
И сына двенадцати лет.

И гордая Анна пошла до вокзала  
И гордо легла на пути.  
Ее в те далекие дни капитала  
Никто не подумал спасти.

Вот так погибали пустые кокетки,  
Видавшие царский режим.  
А мы, пережившие дни семилетки,  
Не миримся с фактом таким.

Подайте граждане, подайте гражданки.  
Подайте хоть хлеба кусок,  
Поскольку у этой Карениной Аяны  
Остался сиротка-сынок.

Он бродит как птенчик, он бродит как птенчик,  
Отброшен от всех от людей.  
Подайте гражданки, подайте граждане,  
Вас просит Каренин Сергей.

Ведь он воровать не имеет охоты,  
Отброшен от всех от людей.  
Подайте братишки, подайте сестрички,  
Вас просит Каренин Сергей.

Подайте, граждане...

# МОЯ ЖИЗНЬ В ПОДПОЛЬЕ\*

## ПОБЕГ ИЗ ГАТЧИНЫ

31-го октября 1917 г. генерал Краснов послал казачью делегацию в Красное Село под Петроградом, чтобы они вступили там в переговоры о перемирии с большевиками. Ранним утром 1-го ноября делегация казаков вернулась в сопровождении большевистской делегации, которую возглавлял матрос П. Дыбенко. (В 1937 г. Дыбенко был расстрелян одновременно с Тухачевским). Переговоры казаков с большевиками происходили в нижнем этаже Гатчинского дворца в присутствии ген. Краснова и его начальника штаба полковника Попова.

Я ждал конца этих переговоров в моей квартире на верхнем этаже, как вдруг внезапно ко мне вошли несколько друзей, сообщивших тревожные вести: переговоры почти закончены, казаки согласились выдать меня Дыбенке в обмен на обещание выпустить казаков домой, на Дон, с лошадьми и оружием.

Гатчинский дворец был почти пуст. Оставалась только небольшая группа преданных людей, которые были посредниками и информировали меня о ходе переговоров. Мы знали о полной деморализации казаков и о тайной работе, происходившей вокруг нас. Но нам казалось невероятным, чтобы генерал Краснов или командиры казачьего корпуса унизились до простого предательства.

Около 11 час. утра ко мне пришел генерал Краснов. Если до сих пор у меня были основания подозревать его, то во время разговора с ним эти подозрения превратились в уверен-

---

\* Мы с удовольствием печатаем, с любезного разрешения А. Ф. Керенского, эту главу из его книги, вышедшей по-английски — А. F. Kerensky. "Russia and History's Turning Point". Duell, Sloan and Pearce. N. Y. 1965. К сожалению, мы вынуждены опустить длинные тексты нескольких документов и пространные выдержки из газет. РЕД.

ность. Краснов старался уговорить меня поехать в Петроград для переговоров с Лениным. Он убеждал меня, что под охраной казаков я буду в полной безопасности. Он считал, что это единственный выход из создавшегося положения. Я не буду передавать подробностей нашей беседы. Вспоминая теперь прошлое, я понимаю, как трудна была миссия генерала, который, конечно, по природе не был предателем. Около полудня мои «наблюдатели» пришли наверх и сообщили о конечных результатах переговоров. Было решено выдать меня Дыбенке, а казаков пропустить на Дон.

Шум и крики, доносившиеся снизу, усиливались. Я настаивал, чтобы все, кроме моего личного адъютанта Н. В. Виннера, покинули дворец. Виннер и я решили живыми не сдаваться. Мы решили застрелиться в задних комнатах дворца, в то время, как казаки и матросы искали бы нас в передних комнатах. Тогда — утром 14 ноября 1917 г. — это наше решение было вполне логичным и единственно правильным. Но вот, в то время, как уходившие люди попрощались со мной, дверь отворилась и на пороге появились двое мужчин. Одного из них, в штатском, я знал раньше, другой был матрос, которого я никогда не видел. «Поторопитесь, — сказали они, — не дольше чем через полчаса разъяренная толпа будет штурмовать вашу квартиру. Снимайте свою походную форму — скорее!» Через несколько секунд я превратился в матроса довольно нелепого вида: рукава куртки были слишком коротки, а мои коричневые башмаки совсем не гармонировали с обмотками, матросская шапка была слишком мала и торчала на макушке. Маскировка заканчивалась выпуклыми автомобильными очками. Я обнял своего адъютанта и он вышел через соседнюю комнату.

Гатчинский дворец был построен полубезумным императором Павлом I в виде средневекового замка и представлял собой род ловушки. Он был окружен рвами. Единственный выход был через подъемный мост. Одной надеждой на спасение было пройти через вооруженную толпу к автомобилю, который должен был нас ждать на переднем дворе. Матрос и я пошли к единственной лестнице в коридоре. Мы шли машинально, как бы не сознавая грозившей нам опасности. Наконец, беспрепятственно мы дошли до переднего двора, но автомобиля там не было. В отчаянии мы повернули назад, не

говоря друг другу ни слова. Мы выглядели наверно очень странно. Люди, толпившиеся у ворот, смотрели на нас с любопытством, но к счастью некоторые были на нашей стороне. Один из них подошел к нам и шепнул: «Не теряйте времени! Автомобиль ждет у Китайских ворот». Он предупредил нас вó-время, так как толпа уже двигалась в нашу сторону и мы начали испытывать сильное беспокойство. Но как раз в этот момент молодой офицер с перевязанной раной внезапно «лишился чувств», чем привлек к себе внимание толпы и вызвал смятение. Мы поспешили воспользоваться этим и выбежали со двора на улицу. Там мы пошли прямо к Китайским воротам, выходящим на дорогу к Луге. Здесь мы пошли медленно, громко разговаривая, чтобы не навлечь на себя подозрений.

Мой побег был обнаружен минут тридцать спустя толпой казаков и матросов, ворвавшихся в мою квартиру на верхнем этаже. За нами немедленно во всех направлениях были посланы автомобили, но нам опять повезло. Мы увидели извозчицью пролетку, медленно приближавшуюся к нам вдоль пустынной улицы. Мы позвали извозчика и предложили ему за хорошую плату отвезти нас к Китайским Воротам. От изумления он раскрыл рот, когда под конец поездки получил 100 рублей от двух матросов. Здесь нас ждал автомобиль. Я вскочил в машину и занял место рядом с офицером, сидевшим за рулем. Матрос сел на заднее сиденье с четырьмя или пятью солдатами, вооруженными ручными гранатами.

Шоссе на Лугу было великолепное, но мы ежеминутно оглядывались назад, ожидая появления преследователей. В случае погони мы решили использовать все ручные гранаты, лежавшие на заднем сиденье. Несмотря на сильное волнение, шофер казался вполне спокойным, а по временам даже насвистывал веселый мотив Вертинского.

Удача нам сопутствовала и дальше, благодаря чему наши преследователи нас не нагнали. Мой личный шофер, оставшийся в Гатчинском дворце, был предан мне. Он знал, что мы уехали в Лугу, но когда мое исчезновение было обнаружено, он попросил дать ему самый скорый автомобиль, и он догонит «негодяя». Зная, что ему действительно было не трудно нас догнать, он инсценировал по дороге «аварию».

Наконец мы доехали до леса, закрипели тормоза — «Выходите, Александр Федорович», — сказал офицер. Мой мат-

## МОЯ ЖИЗНЬ В ПОДПОЛЬЕ

рос, которого звали Ваня, пошел со мной. Мы вошли в глубину лесной чащи — вокруг ничего кроме деревьев. Я недоумевал, что все это значит? «До свидания, Ваня вам все объяснит, а мы должны уезжать». Автомобиль тронулся и быстро исчез. «Видите ли, у моего дяди здесь в лесу есть домик — пояснил Ваня, — это место спокойное, я сам не был здесь уже года два. Но у них нет никакой прислуги и все здесь будет хорошо. Давайте рискнем, Александр Федорович».

Мы пошли по заросшей тропинке, ведшей вглубь леса. Мы шли все глубже, окруженные мертвым молчанием, не задумываясь над тем, что нас ждет, когда мы дойдем до домика. Я чувствовал безграничное доверие к тем незнакомым мне людям, которые так легко рисковали своей жизнью, чтобы спасти меня. Иногда Ваня останавливался, чтобы рассмотреть дорогу. Я совершенно потерял счет времени, и наша прогулка начала казаться мне бесконечной. Внезапно мой спутник сказал: «Мы почти дошли». Мы вышли на полянку и увидели перед собой небольшой домик. «Вы пока посидите минутку, а я пойду, узнаю, что там делается». Ваня вошел в дом, но быстро вышел обратно и сказал: «Прислуги нет, горничная вчера ушла. Мои дядя и тетя рады вас принять. Пойдемте».

### ЛЕСНОЙ ДОМИК

Это было началом моей жизни в лесном убежище, где я провел 40 дней. Болотовы, пожилые супруги, сердечно меня приняли. «Не беспокойтесь! Все будет хорошо!» — утешали они меня. Это убежище под крышей их дома они предложили от чистого сердца и столь великодушно, что никогда даже и намеком не говорили о том, чем они рискуют из-за меня. Конечно, они вполне отдавали себе отчет в той опасности, которой подвергались. 27-го октября газета «Известия» опубликовала сообщение под заглавием «Арест бывших министров»: «Коновалов, Кишкин, Терещенко, Малянтович, Никитин и другие арестованы Революционным Комитетом. Керенский скрылся. Все военные организации прилагают все усилия, чтобы в кратчайший срок разыскать его, арестовать и привезти в Петроград. Всякая помощь или поддержка, оказанные Керенскому, будут наказуемы, как государственная измена».

Мои преследователи искали меня повсюду. Но им не приходило в голову, что я скрывался не где-то на Дону или в

Сибири, а жил, можно сказать, почти у них под носом, между Гатчиной и Лугой.

Пока что мне не оставалось ничего другого, как лежать и заниматься изменением своей внешности. Я отростил себе бороду и усы. Борода, к сожалению, мало изменяла мое лицо, так как она отросла аккуратной каймой, оставляя подбородок и всю нижнюю часть лица совершенно открытыми. Все же к концу сорока дней, благодаря очкам и отросшей шапке густых нечесаных волос, мне удалось принять вид студента-нигилиста 60-х годов.

Я никогда не забуду тех долгих ноябрьских ночей. Мы были все время настороже, Ваня совершенно не отходил от меня. У нас было несколько гранат и мы были готовы использовать их в случае надобности. Днем было все спокойно и при солнечном освещении прошлое казалось отдаленным и нереальным. Но ночью я снова переживал все случившееся и весь ужас этой пляски дьявола, начавшейся в нашей стране. Все время меня мучил страх, но не так за мою собственную судьбу, как за безопасность моих гостеприимных хозяев. Как только ночной воздух оглашался лаем собак в соседней деревне, мы вскакивали с постелей и выходили на крыльцо, где стояли с ручными гранатами наготове. Иногда, в первые дни моего пребывания в этом гостеприимном домике, среди ночи меня охватывали приступы отчаяния, и я хотел, чтобы мои преследователи пришли и арестовали меня. Тогда я был бы по крайней мере свободен от своих мыслей и тяжелых переживаний.

Постепенно я начал думать, что большевики повидимому потеряли мой след, и что близкая опасность миновала. Через Ваню мне удалось установить связь с Петроградом. Я стал получать новости из столицы. Иногда доверенный посланец приходил проведать меня. Я знал, что мой долг бороться и дальше, служа России до конца. В свое время я объездил всю нашу обширную страну и знал, что наш народ, без различия классов, не пойдет добровольно под ярмо диктатуры. Я знал, что ядовитое влияние бесстыдной большевистской пропаганды быстро прекратится в столице, как только Ленин и его сообщники сбросят свою маску демократизма и патриотизма.

Против захвата Лениным власти первыми подняли голос протеста лидеры Совета Крестьянских Депутатов. Уже 26-го октября они выпустили свое воззвание, объявляя революцию

в опасности. Этот исторический документ появился в газете социалистов-революционеров «Дело Народа», в номере от 28-го октября 1917 г.

8-го и 9-го ноября два верных друга принесли мне петроградские газеты, в том числе «Новую Жизнь» Максима Горького от 7-го ноября, где Горький резко выступил против Ленина и Троцкого.

Такая же резкая статья была и в «Деле Народа». Эти статьи побудили меня написать открытое письмо от 8-го ноября, которое мои верные друзья отвезли в Петроград. Оно было напечатано в газете «Дело Народа» в номере от 22 ноября 1917 г.

В эти дни жизнь мне казалась невыносимой. Я предвидел, что в близком будущем Россия испытает самые тяжелые удары.

### КАПИТУЛЯЦИЯ

18-го декабря Крыленко доложил Совету Народных Комиссаров, что русская армия не способна больше сражаться. Германское Верховное Командование было, конечно, об этом осведомлено. Между тем в Берлине военная партия непримиримых империалистов, ослепленных идеей мирового господства, выдвинулась на первое место. Умеренный министр иностранных дел фон Кюльманн, глава Германской делегации в Брест-Литовске, открывшейся 9-го декабря, был вскоре заменен генералом Максом фон Гофманном.

Когда 2-го января 1918 г. конференция вновь открылась после продолжительного перерыва, Германская делегация настаивала на праве оставить свои войска в Польше, Литве, Белоруссии и Латвии «по стратегическим соображениям».

Общественное мнение в России было ошеломлено. Многие из самых лютых врагов Ленина соглашались сражаться бок-обок с ненавистными им большевиками, когда дело зашло о защите родины. Условия, предложенные немцами, угрожали вызвать раскол даже в рядах компартии. В партийных комитетах больших городов и в Балтийском флоте все громче раздавались протесты и требования прекратить переговоры с немецкими империалистами. Шли толки о возможности революционной войны. Было совершенно ясно, что подобная война приведет к падению Ленина, а с ним и его мечты о превращении России в базу для будущей пролетарской революции на

Западе. Ленин понимал, что эти патриотические чувства, возникающие внезапно и охватывающие даже партийных лидеров, должны быть искоренены любой ценой.

### ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТРОГРАД

Под конец моего сидения в лесном домике я был занят одной мыслью: пробраться в Петроград и приехать туда до открытия Учред. Собрания. Я считал, что это моя последняя возможность сказать стране и народу то, что я думаю о положении.

В начале декабря двое саней подъехали к нашему домику. Несколько солдат в меховых шапках вылезли из саней, вооруженные винтовками и ручными гранатами. Это были наши смелые верные друзья, приехавшие, чтобы отвезти нас в потайное лесное место по дороге в Новгород.

Это лесное имение принадлежало З. Беленькому, богатому торговцу лесом. В зимнее время оно было совершенно изолировано от остального мира и полуразрушенная усадьба была почти погребена под снегом. Сын Беленького служил в гарнизоне в Луге. Он и был организатором моего побега из Гатчины. Теперь он приехал, чтобы забрать меня, как обещал. Мои дорогие хозяева были очень испуганы его большевистским видом, пока он не объяснил им цель своего приезда.

Я переоделся так, чтобы стать похожим на своих спутников. Когда я прощался, моя дорогая хозяйка заплакала, и дала мне маленькую иконку, чтоб носить на груди. Эта иконка — моя единственная собственность, которую я вывез из России. Это прощание мне было очень тяжело. Мне нечем было отблагодарить моих хозяев за их доброту. Денег, они бы не взяли, а я не был даже в состоянии защитить их от возможных последствий этой их доброты и гостеприимства.

Сын Беленького, я и трое или четверо матросов сели в первые сани и двинулись в путь. На вторых, следовавших за нами, ехали еще пять солдат. Никто из встречных не обращал на нас внимания, так как везде тогда было много солдат, дезертировавших с фронта. Мы добрались до нашего места назначения поздно ночью. Была светлая зимняя холодная ночь. Несмотря на угрозы советского правительства всякому, кто окажет мне помощь, эти люди были и очень добры и даже весело настроены. Своим вниманием ко мне они как бы стара-

лись ободрить меня. После недели моей жизни в этой усадьбе, Беленький поехал на несколько дней в Петроград и вернулся с предложением нам переехать поближе к столице. Опять мы двинулись на наших санях, вооруженные винтовками и ручными гранатами, распевая солдатские песни, шутя и смеясь.

Но несколько позже нам пришлось пережить неприятное приключение. Когда мы были уже на окраине Новгорода, оказалось, что Беленькому был дан неверный адрес. И дом, к которому мы подъехали, был занят главным управлением местного совета. Мы поспешно отъехали, но следующий дом, куда мы приехали, оказался домом для умалишенных. Мы въехали на их территорию и очутились около женского отделения госпиталя. Там же была и квартира директора. Беленький и я вошли туда. Директор, который был предупрежден о моем приезде, принял нас радушно и предложил нам обоим остаться у него. Но Беленький, спешивший вернуться к своим товарищам, вышел и мы остались с доктором вдвоем. Доктор сразу просил меня быть совершенно спокойным. Когда я спросил его, есть ли какие-нибудь основания для беспокойства, он ответил: «Видите ли, я почти никогда не бываю здесь днем, а дверь на замок никогда не заперта. Иногда сестры или служащие госпиталя входят сюда. Но в вашем нынешнем виде вас никто не узнает. Кроме того, никто из персонала госпиталя не сочувствует большевикам. Это все хорошие люди».

Я оставался в госпитале дней шесть и не испытал никакого беспокойства. У директора была хорошая библиотека и он получал все газеты. Днем я читал, а по вечерам беседовал с директором. Вскоре мои друзья появились опять и столь же неожиданно, как и в первый раз, чтобы отвезти меня на следующий этап нашего путешествия. Директора не было дома, когда Беленький пришел ко мне, коротко сказав: «Надо ехать. Сани ждут».

«Куда мы теперь едем?» — спросил я.

Он засмеялся. — «Мы едем ближе к столице. Вы можете пробить некоторое время в имении вблизи Бологого».

Было солнечное зимнее утро. Лошади весело бежали рысцой и сани мягко скользили по крепко укатанному снегу. В полдень мы решили сделать небольшую остановку в каком-нибудь спокойном, уединенном месте. Мы заметили постоянный двор, стоявший на окраине села.

Пожилая женщина провела нас в свою лучшую комнату. Там было тепло и уютно, а над старым диваном, на стене висел мой литографированный портрет. Положение было столь комично, что мы не удержались от смеха. Женщина смотрела на нас с изумлением и явно не имела никакого понятия о моей личности. Когда мы перестали смеяться, она спросила с какого мы фронта? Она нас превосходно накормила. Но, вернувшись к нашим саням, мы опять начали невольно смеяться. Кто-то сказал: «Подумайте только, стало-быть она ничего не знает, что происходит. Она же вас не узнала, хотя у вас совсем небольшая борода».

Довезя меня до имения возле Бологого, мои друзья в тот же день уехали. И на обратном пути опять остановились на том же постоялом дворе. Старуха была очень рада им и одного из них шепотом спросила: — «Ну, что, он в безопасности?» «Да, бабушка», — ответил он. Она перекрестилась.

Имение было очень большое. Дом был окружен густым лесом. Мы остановились перед охотничьим домиком на полянке, откуда виднелась только крыша главного здания. Домик был из двух маленьких комнат, в одной стояла железная печка и в углу лежала вязанка дров. Кроватей не было, но было много соломы. Мы были благодарны за такую квартиру, как бы примитивна она ни была, скипятили воду в огромном чайнике и заварили чай. Потом мы постарались устроиться поудобней на куче соломы. На следующий день Беленький пошел в большой дом, чтобы повидать владельцев, которые рассыпались в извинениях. Они ждали нас несколькими днями позже и потому помещение не было готово. А в большой дом они боялись нас пригласить из-за прислуги и большого числа гостей, приглашенных ими к Рождеству. Но нас окружили заботой и любовью, и мы чувствовали себя совсем как дома. Мне дали пару лыж и я исходил на них много верст по лесным дорогам. Дни были очень холодные, но кристально чистые и солнечные.

В сочельник, к ужину, наши хозяева прислали нам много всякой еды. А в канун Нового Года — мой последний в России — они пригласили нас наконец к себе, устроив так, что вся прислуга в этот день была отпущена.

На следующее утро я должен был ехать в столицу. Беленький сказал, что мы должны прибыть в столицу без всякой задержки. Он также рассказал мне, что вооруженная демонст-

рация в день открытия Учредительного Собрания запрещена Центральными Комитетами антибольшевистских социалистических партий и они решили организовать только мирные манифестации поддержки Учредительного Собрания.

Положение создалось совершенно нелепое. Лозунг «Вся власть Учредительному Собранию» теперь был бессмыслен. Было совершенно ясно, что правильно избранное Учред. Собрание не могло бы сосуществовать рядом с диктатурой, которая отрицала самую идею суверенности народа. Учред. Собрание имело бы смысл только тогда, если бы оно пользовалось поддержкой правительства, которое бы согласилось признать его высшей политической властью. Но уже к концу 1917 г. в России не было такого правительства. И лозунг «Вся власть Учред. Собранию» теперь имел только смысл, как объединяющий призыв для всех, кто готов был продолжать борьбу с узурпаторами.

По некоторым причинам, которых я в то время не знал, Союз Защиты Учредительного Собрания не мог вести действительной борьбы. Но даже если это и так, говорил я сам себе, если Учредительному Собранию суждено погибнуть, пусть оно выполнит свой долг по отношению к народу и стране, погибнув с достоинством и так, чтобы сохранить живым дух свободы.

План был таков. Я должен был попасть на Московский ночной поезд, который останавливался в Бологом в 11 час. ночи. Поезда тогда были переполнены, и в большинстве шли без света, особенно вагоны третьего класса. Мне был дан номер вагона, в котором ехали мои сторонники и я должен был сесть где-нибудь в углу, чтобы быть насколько возможно незаметным. Мы приехали на станцию вовремя и в ожидании поезда, который опоздал, ходили взад и вперед по платформе. У меня все еще была охрана из людей, вооруженных ручными гранатами, но мы уже настолько привыкли к этому странному образу жизни, что почти не принимали никаких предосторожностей и громко говорили между собой. Но вот, внезапно один из моей охраны подошел и сказал: «Будьте осторожны, некоторые из железнодорожников с другой стороны наблюдают за вами. Смотрите, они идут к нам». Мы смолкли. Группа железнодорожных рабочих перешла с московской платформы на нашу сторону и шла прямо к нам. Мы были уверены, что

все пропало. Но они почтительно поклонившись сказали: «Александр Федорович, мы узнали вас по вашему голосу. Не беспокойтесь, мы вас не выдадим». Таким образом моя охрана стала двойной. После этого случая все шло гладко. Поезд пришел и нас втолкнули в предназначенный для нас вагон, где было очень темно. Так, без инцидентов мы приехали в Петроград, где извозчик развез нас по заранее подготовленным адресам.

Учред. Собрание должно было открыться 5-го января 1918 г. и казалось, что мой план выполнялся очень хорошо. В течение ближайших 3 дней я предполагал побывать в Таврическом дворце, где должно было собраться Учред. Собрание.

2-го января Зензинов, член фракции социалистов-революционеров в Учред. Собрании, пришел со мной повидаться. Но наш, сперва очень дружеский, разговор превратился в бурный спор. Я сказал ему, что считаю своим долгом присутствовать на открытии Учред. Собрания. У меня не было входного билета в Таврический дворец, но я надеялся, что с моей измененной внешностью, я легко могу пройти по билету какого-нибудь неизвестного провинциального депутата. Мне нужна была только помощь получить такой билет и я думал, что мои друзья в Учред. Собрании об этом позаботятся. Но они наотрез отказались от этого. Зензинов сказал, что для меня слишком опасно появляться на открытии сессии, и что я не имею права подвергать себя подобному риску. Он указал, что я ведь — главный враг большевиков. Я возражал, что своей жизнью я в праве распоряжаться сам, и он не отговорит меня от появления в Учред. Собрании, — я убежден в правильности своего решения. Если бы я был заключен в Петропавловскую крепость, мне было бы действительно физически невозможно присутствовать на собрании, но поскольку я на свободе, я считаю своим долгом притти туда. Я напомнил Зензинову о статье, которая появилась в газете социалистов-революционеров «Дело Народа» 22 ноября 1917 г. под заглавием: «Судьба Керенского». В ней говорилось, что бывший глава Российской Республики и лидер революции, вынужден был скраться, что по приказу тех, кто узурпировали государственную власть, самое имя его стало запретным, но, что Керенский вернется к политической жизни при открытии Учредит. Собрания и даст наро-

ду отчет о своей политической деятельности за те 8 месяцев, когда он был министром, а потом премьер-министром Революционного Временного Правительства. И тогда пусть судит сам народ, как о положительных, так и об отрицательных сторонах его работы. Я сказал Зензинову, что я приехал именно для того, чтобы дать отчет о своей разносторонней деятельности. Зензинов подумал минуту и затем сказал, что положение в Петрограде радикально изменилось. — «Если ты появишься в собрании, всем нам будет конец». — «Нет не будет, — возразил я. — Я приехал, чтобы спасти вас, я знаю, что я буду мишенью всех бешеных атак, а вы останетесь в стороне». Но я тут же почувствовал, что этот аргумент бестактен, и потому рассказал ему о том, что я действительно хочу сделать, но с условием, чтобы он никому об этом не говорил до моей смерти. Думаю, что он, вероятно, решил, что мой план «совершенно безумный», но он был тронут до слез и пожав мою руку, сказал: «Я обсужу с остальными».<sup>1</sup>

Но это был только дружеский жест с его стороны. Когда на следующее утро он пришел, мы опять говорили, но уже гораздо спокойнее, и я больше не спорил, когда окончательный ответ был «нет». Я сказал ему, как я был огорчен, узнав, что военная демонстрация отменена, сказал и о том, какое значение я придаю тому, чтобы Учред. Собрание не сдалось без боя. Человек связанный партийной дисциплиной, но человек глубоко честный, Зензинов чистосердечно согласился со мной и сказал, что таково же мнение партийной фракции Учр. Собрания.

Я спросил его, кто назначен в председатели Учред. Собрания и был смущен, когда услышал, что в председатели назначен Виктор Чернов. Все, кто знали этого одаренного и преданного лидера партии должны признать, что он был неподходящ, как представитель всей России. Я упрашивал Зензинова употребить все усилия, чтобы не допустить выбора Чернова на этот в высшей степени ответственный пост. Я умолял его найти кандидата, который, может быть, будет менее талантлив и менее известен, но у которого будет больше силы воли и больше

---

<sup>1</sup> По чисто личным причинам я не могу даже теперь раскрыть содержание моего плана.

глубокого сознания той трагедии, которую мы переживаем, который лучше выразит те стремления и идеи свободы русских людей, за которые они боролись и отдавали свои жизни. Я говорил об этом много раз тем немногим людям, которые навещали меня в эти два дня до открытия Учредительного Собрания.

### ТРАГЕДИЯ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В роковой день 5 января столица была похожа на осажденный город. Так называемый «Чрезвычайный штаб» был со-здан большевиками за несколько дней до этого, и весь район вокруг Смольного подчинен распоряжениям ленинского соратника Бонч-Бруевича. А весь район вокруг Таврического дворца находился под бдительным надзором большевистского коменданта Благонравова. Сам дворец был окружен, до зубов вооруженными войсками, кронштадтскими матросами, латышскими стрелками. Часть этих отрядов заняла позиции внутри здания. Все улицы, ведущие ко дворцу, были отрезаны кордонами этих войск.

Мне нет надобности описывать это первое и единственное заседание Учредительного Собрания. Невозможное обращение ленинских вооруженных бандитов с «избранными представителями народа» было много раз описано теми, кто пережили эти ужасные часы 5 — 6 января. Рано утром 6 января Учредит. Собрание было разогнано грубой силой и двери Таврического Дворца заперты на замок. А мирные толпы, собиравшиеся, чтобы выразить свою поддержку Учред. Собранию, были рассеяны пулеметным огнем.

После легко удавшейся большевикам победы над Учред. Собранием почти немедленно произошло убийство Шингарева и Кокошкина, бывших министров Временного Правительства. Они не присутствовали на открытии Учр. Собрания, ибо находились под арестом в Петропавловской крепости. Поздно вечером 6-го января их перевели в Мариинскую больницу, где они были помещены в отдельную палату, охраняемую солдатами. Ночью 7-го января банда большевистских солдат и матросов вошли в палату под предлогом смены караула, и оба кадетские депутата, которые отдали всю свою жизнь служению свободе и демократии, были заколоты штыками в кроватях.

9-го января в «Новой Жизни» Максим Горький опубли-

ковал замечательную статью о разгоне Учредительного Собрания.<sup>2</sup>

Открытие Учредительного Собрания закончилось как трагический фарс. И ничего не произошло, что могло бы придать этому событию характер памятного решительного боя за свободу.

Лучшую и самую смелую речь произнес Церетели, лидер меньшевиков. Но эта речь не была в стиле того революционера Церетели, который во II-й Думе разоблачал Столыпина. Она была критическая и произнесена была с чувством, и тем не менее, эта речь была только выражением лояльной оппозиции. Она напомнила мне стиль речей «либеральной оппозиции Его Императорскому Величеству» (кадеты) в мирные дни 4-ой Думы. Было совершенно очевидно, что еще в начале ноября меньшевики отказались от революционной борьбы с большевистским «правительством рабочих и крестьян».

Что касается речи председателя Учред. Собрания Виктора Чернова, то я приведу о ней отзыв Марка Вишняка, секретаря Учред. Собрания и товарища Чернова по партии:

«Речь Чернова была выдержана в интернационалистических и социалистических тонах, порою не чуждых демагогии. Точно оратор умышленно искал общего языка с большевиками, в чем-то хотел их заверить или переубедить, а не возможно резко отмежеваться и противопоставить им себя, как символ всероссийского народовластия. Это было не то. Не то, что хоть сколько-нибудь могло импонировать, задать тон, удовлетворить хотя бы в скромной мере требованиям и ожиданиям исторического момента. То была одна из многих, будничных и ординарно-шаблонных речей, далеко не лучшая даже для Чернова».

Трудно обвинять Чернова в срыве Учред. Собрания. Он был мужественный человек, и подобно многим другим людям того времени не был запуган направленными на них винтовками пьяных, обезумевших от ненависти солдат и матросов Ле-

---

<sup>2</sup> Эта статья М. Горького, под заглавием «9 января — 5 января», посвященная расстрелу большевиками участников демонстрации в защиту Учредительного Собрания, в Сов. Союзе никогда не перепечатывалась и не вошла в его «полное» собрание сочинений, как и многие другие его статьи, написанные против захвата власти большевиками в октябре 1917 года. РЕД.

нина. Я думаю, что явный паралич воли, который так много способствовал катастрофе 5 января, имел глубокие психологические причины, которые действовали даже и на самых стойких демократов того времени. Во-первых, был широко распространен страх вызвать гражданскую войну, которая легко могла превратиться в контрреволюционную войну против демократии вообще. Затем не надо забывать, что большевики все еще рассматривались не больше чем крайне левое крыло социал-демократов. Идея, что «слева нет врагов» глубоко вкоренилась в сознание большинства революционной демократии. Большинству левого крыла казалось недопустимым, чтобы свобода могла быть растоптана теми, кто называл себя представителями пролетариата. Только «буржуазия» считали способной на это. И этим людям наибольшей опасностью казались не большевики, «окопавшиеся» в Смольном, а контр-революционеры теперь объединившиеся вокруг атамана Каледина на Дону на юге России.

Если бы лидеры социалистов не большевиков знали правду о связи большевиков с Германией, они без сомнения действовали бы иначе. Но они не могли поверить этой «клевете» на «вождей русского рабочего класса».

Другим важным фактором в пользу Ленина была мистическая вера многих социал-демократов, и отчасти идеалистов христианского и кантианского толка, в то, что новая эра возникнет из безграничного страдания и кровавой «империалистической» войны, и что человек «переродится». Многие считали, что в этом духовном перерождении Ленин сыграет главную роль. Я встречал многих просвещенных и гуманных людей, как например Иванова-Разумника, выдающегося социалиста-революционера, которые искренне в это верили.

### В ФИНЛЯНДИИ

После разгона Учред. Собрания атмосфера в Петрограде стала невыносимой и для меня было бесцельно здесь оставаться. Поэтому было решено, чтобы я уехал в Финляндию, пока положение несколько прояснится. Финляндия была тогда на пороге открытой гражданской войны. Власть была в руках финской социал-демократической партии, которую поддерживали большевистские солдаты и матросы балтийского флота. Я был в контакте с группой в Хельсинки, которая всегда была в

дружеских отношениях с социалистами-революционерами. Но чтобы попасть в Финляндию, нужно было получить разрешение от советских властей. Мы получили разрешение без особых затруднений для двух пассажиров, но проверка на вокзале железной дороги была очень строгая.

Мы решили сначала, что мне, пожалуй, было бы хорошо загрироваться, но, к счастью, передумали, представив себе, каково будет мое лицо после поездки на сильном морозе, а потом в натопленном вагоне. Решили рискнуть и ехать без грима.

В. Фабрикант, смелый и опытный конспиратор, предложил проводить меня в Хельсинки. Отсутствие грима спасло нам жизнь, потому что вагоны поезда были, действительно, так натоплены, что мое лицо стало бы похоже на картину художника-пуантилиста. Все шло хорошо, и как во многих случаях раньше, мы не подозревали опасности в самые опасные моменты. Мы прошли пункт «красной проверки» без всяких неприятностей. И скоро приехали в маленькую уютную квартиру, принадлежавшую молодому шведу, где мы и должны были остаться жить. Тут было мирно и спокойно, но это спокойствие продолжалось недолго. Отвечая на призыв генерала Маннергейма, многие молодые люди, независимо от их политической принадлежности, бросали свою службу и присоединялись к антибольшевистским силам в северной части Финляндии. Я вспомнил беспомощность и пассивность всего образованного петербургского общества, а также и революционно-демократических кругов. И на меня производило глубокое впечатление свойственное финской интеллигенции национальное сознание. Мой хозяин объяснил нам политическое положение в этой казавшейся мирной столице. «Я скоро уеду на север, и тогда здесь вероятно никого не останется. Но мы сделали все необходимое для вас. Наши друзья будут ждать вас в окрестностях Або неподалеку от Ботнического залива». Это была моя следующая остановка.

Там я жил комфортабельно, и все время был информирован обо всем происходившем в России и в Европе, так как мой хозяин, владелец молочной фермы, часто ездил в Хельсинки и привозил все новости. У меня было такое чувство, что он человек политически активный, и это предположение скоро подтвердилось довольно необычным образом.

Как-то в конце февраля, за несколько недель до того, как германские войска пришли на помощь Маннергейму, ко мне, когда я был один, подошел мой хозяин и сказал: «Давайте, поговорим по душам, хорошо?» — «Конечно». — «Вы знаете, что мы вели переговоры с Берлином о присылке войск. Часть германского высшего командования придет сюда заранее и останется здесь. Это будет не так скоро, но мы должны были сообщить в Берлин, что вы здесь. Пожалуйста, не беспокойтесь, мне разрешено сказать вам, что ваша безопасность гарантирована, и никто беспокоить вас не будет». — «Я глубоко благодарен вам за ваше гостеприимство, — сказал я, — но я остаться не могу. Мне невозможно было бы пользоваться германским покровительством. Пожалуйста, попросите г-жу Ю.<sup>3</sup> придти ко мне немедленно. Я попрошу ее поехать в Петроград и устроить там все для моего возвращения в Россию».

Мой хозяин был несомненно в контакте со штабом Маннергейма, но он высказал полное понимание моей просьбы. «Я не согласен с вами, но я немедленно пошлю телеграмму г-же Ю».

Когда г-жа Ю. пришла ко мне, я рассказал ей о своем положении. Через несколько дней она поехала в Петроград и вернулась со следующим сообщением: «Ваши друзья просили меня отговорить вас от возвращения. Оно сейчас было бы бесцельно».

«Хорошо, — ответил я, — тогда я поеду самостоятельно. Пожалуйста попросите ваших людей устроить мне поездку и сообщите, когда я могу ехать. Времени еще достаточно. Здесь остаться я не могу. Вы должны понять это, как понял мой хозяин». Она сделала все, что я ее просил. Я был убежден, что каждый на моем месте поступил бы точно так же.

### ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ПЕТРОГРАДЕ

9 марта 1918 г. я сел в поезд. На этот раз это не было купе второго класса, а вагон третьего класса, набитый пьяными, горластыми солдатами. На Финляндском вокзале в Петро-

<sup>3</sup> Г-жа Ю. была дочерью отставного финского полковника русской армии. Она была деятельным членом YWCA и часто совершала поездки в Петроград. В то же время она служила связью для меня с Петроградом.

граде снег лежал огромными кучами на платформе, его не вывозили. Когда я выходил из вагона с чемоданом в руке, я поскользнулся и упал прямо лицом вниз. Солдат и матрос подбежали, чтобы помочь мне встать. Со смехом и шутками они вернули мне мою шапку и чемодан.

— Ступай, братец, да поосторожней.

Мы пожали друг другу руки.

Носильщиков не было. Перед вокзалом такси не было. Трамваи не ходили. Идя один, с своим тяжелым чемоданом, я скоро оказался в толпе пассажиров с мешками, узлами, корзинами, чемоданами. В те смутные времена, пешеход, нагруженный узлами, не представлял собой ничего особенного. Это был наилучший способ, чтобы пройти незамеченным. Никто из милиционеров или полицейских агентов не заметил бы бородатого «врага народа № 1», скромно бредущего по Литейному Проспекту, с тяжелым чемоданом.

Не составив себе никакого плана, куда идти, я шел вдоль Литейного, свернул в Бассейную и вышел на 9-ую Рождественскую. Я даже не представлял себе, какое огромное расстояние я прошел, пока дошел до квартиры моей тещи. К счастью, улица была пуста и прислуги не было дома. Но все-таки было бы слишком рискованно оставаться так близко к улице, где раньше помещалась моя фракция в Думе и где меня хорошо знали. И я пошел ночевать первую ночь в один дом на Васильевском Острове.

Там я прожил довольно долго в квартире женщины-врача, муж которой, тоже врач, находился в армии. Она без колебаний предложила мне свою квартиру, хотя и знала, какая опасность была с этим связана. И точно также, как старые Болозовы в лесном домике, она с большой радушностью обо мне заботилась, никогда не выражая малейшего беспокойства, связанного с риском, которому она себя подвергала. Она всегда уезжала из дому рано утром, а я оставался один в пустой квартире до позднего вечера.

Я не помню обстоятельств, при которых я получил копию моих показаний в Чрезвычайной Комиссии по делу Корнилова. Эта неожиданная возможность написать правду об этом деле меня очень обрадовала. Теперь правда была признана самими участниками, но в это время истинные факты были неизвестны и в широкой публике и в политических кругах. Перечитывая

свои собственные показания, я снова переживал все дело, был в состоянии восстановить его в памяти и лучше освежить отдельные его подробности. Моя книга «Дело Корнилова» вышла в свет летом 1918 г. в Москве.

Целью моей было не только отмежеваться от Корнилова, но и обезвредить наиболее сильное оружие большевистской пропаганды, расколовшее единство демократических сил.

Однажды, когда я работал над моим манускриптом, стараясь восстановить в памяти атмосферу России прошлого лета, когда новая и лучшая жизнь казалась еще возможной, в это время снаружи вдруг донеслись звуки военного оркестра. Подойдя к окну, я услышал какие-то крики и увидел жалкое зрелище. Разрозненная, мрачного вида толпа двигалась по улице: это было «празднование» 1-го мая. Рабочие несли знамена, но демонстрация совсем не казалась праздничной. Ничто не говорило о радости пролетарской победы. Мне вспомнился день 18-го апреля (мая 1-го) 1917 года. Тогда «капиталистическое» правительство объявило 1 мая национальным праздником. Все заводы, фабрики, государственные учреждения, ма-газины — все было закрыто. Тысячи рабочих, солдат, матросов, служащих и людей различных профессий маршировали с флагами и оркестрами, распевая русскую марсельезу. Тысячи митингов происходили тогда во всех частях города: это был радостный праздничный день.

Незадолго до моего возвращения из Финляндии Совет Народных Комиссаров переехал в Кремль (9 марта 1918 г.). Все центральные политические комитеты, руководства союзов, управления крестьянских организаций и т. д. последовали за правительством в Москву. Петроград стал пустым и политически мертвым городом.

После того как я отправил по почте свой манускрипт моим друзьям в Москву, не было больше смысла оставаться в опустевшем Петрограде. Тем более, что скрывающийся человек никогда не должен слишком долго засиживаться на одном месте.

В то время как я спокойно жил в Петрограде, в России бушевала жестокая гражданская война. Зимой 1917 -1918 гг. начались бои между донскими казаками и Добровольческой армией с одной стороны и Красной армией с другой. Согласно условиям Брест-Литовского мирного договора германские

войска заняли прибалтийские государства и Украину. Большевистская власть не распространялась на Сибирь. Крестьянские восстания шли по всей России. Члены распущенного Учред. Собрания собрались тайно в Самаре, чтоб организовать свержение местных органов большевистского правительства и образовав Комуч (Комитет Учредительного Собрания), открыли военные действия против узурпаторов. Я решил поехать в Москву и установить контакт с друзьями, в надежде двинуться потом в восточном направлении, пересечь большевистскую линию и выйти в район Волги или Сибири. Свой отъезд в Москву мне удалось быстро организовать.

### МОСКВА

Нас было трое на Николаевском вокзале. Мы ждали ночного поезда на Москву. Меня сопровождал мой друг В. Фабрикант и один из высших чиновников Министерства Земледелия, которого я до тех пор не встречал. Нам было обещано отдельное купе. Но когда мы вошли в это купе, там сидел почтенного вида человек. Мы сели, начали разговаривать. Незнакомец не принимал участия в нашем разговоре. Он вскоре влез на верхнее спальное место и захрапел. Мы трое оставались сидеть на одном из нижних мест. Обсуждали события, говорили о том, что происходило в министерстве земледелия этим летом и осенью. Забывшись, в разговоре мы нечаянно повысили голоса. Была уже поздняя ночь, когда мы вдруг вспомнили, что с нами в купе — четвертый пассажир. С верхней койки не слышалось ни звука. Успокоившись, мы устроились на остаток ночи и заснули.

Когда мы проснулись, в окно шел яркий дневной свет. Мы приближались к Москве. Верхняя койка была пуста. Мы были очень встревожены, хоть наши подозрения могли оказаться и неверными. Но чтобы по возможности обеспечить себя, Фабрикант и я решили выпрыгнуть из поезда когда он замедлит ход в предместьях города, а третий наш спутник доедет до главного вокзала с нашим багажом. Дорога от предместья до центра Москвы заняла у нас много времени. После пустых петербургских улиц, улицы Москвы казались оживленными и многолюдными. Было почти невероятно, что за нами никто не следил. Если наше предположение было верно, и

четвертый спутник действительно выдал нас, то нас должны были бы ждать на вокзале.

Мы шли по улице, придавая себе вид праздно гуляющих, чтобы не навлечь подозрений. Один раз, мы даже присоединились к небольшой кучке людей, читавших очень интересное объявление о первом выпуске «новой интересной политической газеты — Возрождение», который должен был появиться 1-го июня. Список редакционной коллегии и сотрудников состоял из знакомых нам имен. Большинство были социалисты-революционеры и принадлежали к так называемому правому крылу. Объявлялось также, что в «Возрождении» будут помещены «Мемуары А. Ф. Керенского». Я с удовлетворением убедился, что моя рукопись вовремя получена.

Не знаю потому ли, что мои короткие прогулки в Петрограде происходили всегда ночью, а теперь было чудное весеннее утро, или потому, что воздух был особенно живителен, но в это прекрасное утро мое постоянное чувство душевного гнета исчезло. Мною овладело чувство успокоения и даже оптимизма.

Наконец мы дошли до места нашего назначения, до квартиры Е. А. Нелидовой, где-то в районе Арбата, вблизи Смоленского Рынка. Нелидова приняла нас как старых друзей, хотя мы никогда раньше с ней не встречались.

После завтрака Нелидова и Фабрикант выработали для меня расписание. Они назначили для меня «дни визитов» и выразили готовность установить необходимые контакты. Несмотря на серьезность нашего дела, наши переговоры были так свободны, как будто мы говорили о каких-то общественных развлечениях. Но я не мог не задать вопроса Нелидовой: не боится ли она риска, которому подвергается? Ее ответ дал объяснение и перемене моего собственного настроения. Оказывается, жизнь в Москве была совершенно необыкновенная. Советское правительство только что переехало в Кремль и органы власти находились еще в стадии становления. Известная тюрьма на Лубянке еще не стала неотъемлемой частью системы и там действовали пока добровольцы. Хотя аресты, облавы и смертные казни были уже довольно обычным явлением, но все это еще как следует не организовалось и выполнялось беспорядочно.

Этому общему беспорядку много способствовали и немцы.

Чека Дзержинского существовала наряду с некоторыми германскими учреждениями и они поддерживали между собой тесный контакт. Ленин занимал Кремль, а германский посол фон Мирбах занял большой особняк в Денежном переулке, день и ночь охраняемый отрядом германских солдат. Обыватели были убеждены, что Мирбах действительно может влиять на пролетарский режим. Ему подавались жалобы на Кремль, а монархисты всех оттенков добивались протекции Мирбаха. Берлинское правительство проводило ловкую политику: кремлевские правители получали от него финансовую помощь, и в то же время немцы делали авансы по отношению к крайним монархистам, на случай если большевики окажутся непрочны. Монархистов также поощряли и в Киеве, где бывший генерал Скоропадский сделался гетманом независимой Украины по милости германского императора. Под защитой германского верховного комиссара Скоропадский при каждом удобном случае ярко демонстрировал свои монархические симпатии. Общей путанице содействовали также центральные комитеты самых влиятельных анти-большевистских и анти-германских партий: социалистических, либеральных и консервативных, проводивших свою работу под самым носом кремлевских правителей.

Руководители всех этих организаций устраивали собрания с различными представителями союзников России, причем ранг каждого дипломата зависел от значения, которое придавалось «союзниками» данной организации. Само собой разумеется, что все эти организации работали конспиративно и это было относительно легко осуществимо, так как система Чека была еще слабо организована. Даже лица, разыскиваемые большевиками, включая меня, могли конспиративно встречаться. Вполне понятно, что многие авантюристы и агенты разведок просачивались в бесчисленные комитеты и «миссии». Этот политический хаос пришел к печальному концу с восстанием левых эсэров, когда был убит фон Мирбах; когда было произведено неудачное покушение на Ленина из-за чего были бесчеловечно убиты тысячи заложников. Но это все произошло позже.

В мое время гораздо легче было заниматься конспиративной деятельностью в Москве, чем в Петрограде. Здесь без труда можно было устраивать и встречи на квартире Нелидовой и мои посещения тайных собраний. Теперь мне кажется

совершенно невероятным, что так называемая «Бабушка Русской Революции» Екатерина Брешковская, заклятый враг большевиков, могла свободно посещать меня. Однажды вечером, когда я провожал ее домой, мы даже прошли мимо дома фон Мирбаха.

Я сказал Брешко-Брешковской, что привело меня в Москву и объяснил ей мой план пробраться дальше в район Волги. Но она спокойно возразила: «Они не пропустят вас». Под словом «они» она подразумевала членов Центрального Комитета партии социалистов-революционеров, с которыми она порвала из-за меня. Она была хорошо осведомлена о настроении в левых кругах, и рассказывала мне очень подробно о внутренних расхождениях в партии, о неуверенности и общем хаотическом состоянии.

Я не помню точно дату этого разговора, но знаю, что он происходил после того, как я встретил Бориса Флеккеля, моего очень молодого приятеля, рабочего из Петрограда, прекрасного и очень преданного мне человека. Он тоже собирался проехать в Волжский район и очень рад был бы сопроводить меня. Он взялся за необходимые переговоры. Но через несколько дней пришел ко мне печальный и молчаливый. Единственно, что он мне сказал: «затруднения». Ясно, что некоторые лидеры партии относились ко мне недоброжелательно. Вскоре я узнал, почему они не одобряли идеи моей поездки на Волгу. В то время «Союз Возрождения России» был занят важной политической работой. Я еще в Петербурге узнал о существовании этой организации, но имел только смутное понятие о ее работе и целях. После октябрьской революции и Брест-Литовского договора, все крупные политические партии раскололись на множество фракций, часто враждебных друг другу. «Союз Возрождения России» не был обычной коалицией социалистических и демократических партий: он представлял собой своеобразную организацию. Некоторые его члены принадлежали к народно-социалистической партии, другие к социал-революционерам, к кадетам, к Плехановской группе «Единство», к «Кооператорам».

Все они были объединены общим подходом к основной цели и сознанием необходимости согласованных действий. Они были убеждены, что национальное правительство должно быть создано на демократических принципах в самом широком смыс-

ле этого понятия, и что фронт против Германии должен быть восстановлен с помощью западных союзников России. Восстановление фронта получило сильную поддержку не только политических сторонников Союза, но и тех партий, к которым члены Союза принадлежали. Того же направления держался и «Национальный Центр», организация, включавшая кадетов и другие умеренные и даже консервативные группы, которые не признавали Брест-Литовского договора. «Национальный Центр» был тесно связан с Добровольческой Армией генералов Алексеева и Деникина. Я был горячим сторонником приемлемого национального правительства, а также активного военного Союза с союзными державами. Я считал работу «Союза Возрождения России» жизненно важной для нации.

Я решил не препятствовать деятельности Союза и не способствовать росту разногласий между этими двумя патриотическими организациями, у которых и без того было много собственных идеологических трудностей. Я верил, что в конце концов они преодолеют свои трудности и предрассудки, и объединятся в своей любви к народу и в исполнении своего долга перед государством. Я полагал, что люди типа ген. Алексеева, Чайковского (народный социалист), Астрова (кадет), Авксентьева (соц.-револ.) восстановят подлинную государственную власть, основанную на принципах духовной и политической свободы, равенства и социальной справедливости, заложенных февральской революцией.

Поэтому я принял предложение «Союза Возрождения России», отправиться за границу, чтобы вести там переговоры с союзниками на условиях выработанных «Союзом Возрождения».

Перед моим отъездом были приняты все меры, обеспечивающие мне возможность поддержания связи с Москвой. Мой отъезд был назначен на конец мая через Мурманск где стояли британские и французские войска, охранявшие большие склады военного снаряжения и всякого другого снабжения. На этот раз я поехал в так называемом экстерриториальном поезде для сербских офицеров, которые репатрировались. Глава репатриационной комиссии, полковник Иванович (серб) распорядился этими специальными поездами и по просьбе моих друзей охотно выдал мне документы на имя сербского капитана. Британская виза была выдана на мое имя Робертом Брюс

Локкартом, британским генеральным консулом в Москве, который после отъезда всех союзных послов оставался там в качестве специального эmissара. Локкарт выдал мне визу не обращаясь телеграфно в Лондон за официальным разрешением. Гораздо позже он сказал мне, что должен был поступить так, потому что Министерство Иностранных Дел отклонило бы мою просьбу о визе.

Пока происходила подготовка к моему отъезду, я проводил последние совещания с друзьями и товарищами в Москве.

### ОТЪЕЗД В ЛОНДОН

В день отъезда Фабрикант и я приехали на вокзал еще до наступления сумерек. Мы без труда узнали двух сербских офицеров в форме, они любезно проводили нас на нужную нам платформу, где мы смешались с толпой пассажиров. Поезд был полон до отказа, но нам были предоставлены места в вагоне 2-го класса, предназначенном очевидно для офицеров. Было совершенно ясно, что некоторые из них знали кто я. Путешествие казалось бесконечным. Одноколейная Мурманская дорога имела бесчисленное множество запасных путей. Без всякой видимой причины наш поезд часами стоял на разъездах. Нам казалось, что поезд почти не двигался. Но мы не жаловались. Нам собственно некуда было и торопиться, а кругом стояла опьяняющая северная весна. Мы наслаждались долгими ночными остановками, когда поезд стоял на какой-нибудь поляне в густом лесу. Я вспоминал белые ночи Петрограда. Но здесь природа более таинственна, северная тишь и бледный ночной свет отличались особой прелестью. Вчерашний день как будто не существовал. Не хотелось ни разговаривать, ни думать о будущем. Мы чувствовали себя в полной гармонии с окружающей нас природой, как бы сливаясь с таинственным лесом.

Я не могу точно вспомнить, сколько времени это продолжалось, но вероятно поездка продолжалась дней 10. Наконец мы приехали в Мурманск, бывший в то время скучным, заброшенным городом. Все пассажиры пошли прямо в порт, занятый союзниками, хотя сам город подчинялся советской власти и мы должны были пройти через ее контроль. Но советские солдаты едва взглянули на наши документы. Потом мы пошли в очередь к офицеру союзников, который по списку проверял

наши имена. Мой спутник и я были встречены двумя французскими морскими офицерами, которые взяли нас на свой крейсер «Генерал Хоб». На борту сербский офицер предъявил капитану наши настоящие документы. В продолжение всей нашей поездки до Мурманска эти бумаги хранились у начальника «экстерриториального» поезда. Когда я покидал мою родную землю мне не приходило в голову, что никогда больше не ступит на нее моя нога. Все мысли были обращены к будущему.

Французские морские офицеры приняли нас очень радушно. Это было совершенно новое ощущение полного покоя. Больше не надо быть все время настороже.

«Вы наверное, хотели бы отдохнуть, не так ли?» — спросил один из офицеров. «Нет, спасибо. Я хотел бы пойти к парикмахеру». «Зачем?» «Меня утомила и мне надоела моя маскировка. Я хочу быть опять самим собой». Последовал взрыв смеха. Несколько минут спустя я оказался в опытных руках, и моя длинная борода и длинные волосы валялись на полу.

На море мы провели три приятных дня. Фабрикант долгое время жил в эмиграции. Он только недавно вернулся в Россию из Парижа, где теперь ждала его семья. Он прекрасно говорил по-французски и был очень занимательным рассказчиком; офицеры с большим удовольствием слушали его рассказы о наших приключениях и о событиях в России.

Через два дня на пароход явился британский офицер и попросил нас зайти в каюту капитана. Там мы узнали, что для нашей высадки в Англии мы должны на следующее утро перейти на небольшой тральщик.

На следующее утро тральщик пришвартовался к нашему крейсеру. Он казался игрушкой и мы гадали как пройдет наше плавание по Ледовитому океану.

Капитан тральщика представил нас своей команде из 15 человек, которые все с любопытством смотрели на таинственных чужестранцев.

Воды Ледовитого океана кишели германскими подводными лодками: маленькое орудие было установлено на палубе для защиты судна в случае атаки. Капитан занимал единственную маленькую каюту, находившуюся под мостиком, но теперь он предложил ее мне. Он и Фабрикант устроились на баке.

Мы приятно провели время на этом маленьком суденышке и, несмотря на незнание английского языка были в наилучших отношениях с капитаном и командой. Погода была ясная и мягкая. Нас удивляло, что Ледовитый океан мог быть так спокоен. Прозрачные осенние ночи как-то странно действовали на нас, мы не спали и проводили долгие часы на палубе, любуясь небом и океаном.

Раз после полудня Фабрикант сказал, что барометр падает. Это значит, — будет буря. Действительно, буря была и бушевала 48 часов. Хотя ничего необычного не произошло, она оказала на меня какое-то успокоительное действие.

Во время бессонной полярной ночи, приблизительно за неделю до шторма, мои мысли унеслись назад к 1916 г. Тогда я возвращался на волжском пароходе в Петроград после прочтения публичного доклада о политическом положении в стране. В Саратове я участвовал во множестве политических митингов. Был ясный, свежий осенний день. Я ходил по палубе взад и вперед, с наслаждением вдыхая свежий воздух. Я забыл тогда все свои политические беспокойства и отдался тем чувствам, которые Волга всегда пробуждала во мне. В памяти встало мое счастливое детство в Симбирске. Почти неодолимо было искушение бросить все и опять пойти лазить по склонам горы Венец, на вершине которой у меня захватывало дыхание. Я был совершенно поглощен этими воспоминаниями, когда внезапно меня ударило зловещее предчувствие, что я больше никогда не увижу мою родную Волгу. С трудом я подавил тогда этот необъяснимый страх, который в то время был, казалось, совершенно необоснованным.

В бессонную ночь на палубе английского корабля я пережил те же воспоминания и опять испытал чувство зловещего страха, что никогда больше моя нога не ступит на русскую землю.

Эта мысль была невыносима. Но она так крепко овладела мной, что я впал в продолжительное отчаяние. Чтобы освободиться от этого кошмара, чтобы отбросить эти мрачные мысли и придти в нормальное состояние, мне и нужен был толчок, который дала мне эта буря на океане. Чем свирепей бушевали волны вокруг нас, чем громче был рев стихии, тем мне легче было забыть слово «навсегда» и убедить себя, что я просто еду со

специальной миссией, которая окончится после капитуляции Германии.

Когда сознание моих обязанностей опять вернулось ко мне, я пренебрег бурей и стал внутренне подготавливаться к встрече с представителями Англии и Франции. Я, конечно, был хорошо осведомлен об их отношении к Временному Правительству и ко мне лично, но это меня нисколько не смущало. Я был делегирован той частью России, которая отказалась признать сепаратный мир с Германией. Моя задача заключалась в том, чтобы добиться немедленной военной помощи союзников для того, чтобы восстановить русский фронт, и тем обеспечить России место в будущих мирных переговорах.

Мой врожденный оптимизм вернулся ко мне. Я решил, что надо приготовиться к последнему решительному бою с врагом, учитывая и нарастающую неприязнь к России со стороны западных союзников.

Через два дня буря постепенно улеглась. Мы были измучены, но настроение было отличное. Через несколько дней мы увидели вдали Оркнейские острова, одну из главных баз Британского флота, и вскоре мы вышли на берег в Турзо. Тут я впервые в моей жизни ступил на нерусскую землю. Мы переночевали в этом мирном городе, которого война повидимому не коснулась. На следующий вечер мы сели в поезд и утром 20 или 21 июня 1918 г. я прибыл в Лондон.

В моей жизни началась новая полоса, которая, как я думал, должна была скоро кончиться, но которая все еще остается незаконченной.

*А. Керенский*

## НА СЛУЖБЕ У ЯПОНЦЕВ\*

1-го сентября утром, как обычно, мы служащие 2-го отдела военной миссии, приходили к 8 ч. в дом Шевченко и внизу ставили свои печатки на бланках с нашими фамилиями. Тетрадь с бланками теперь уже сильно распухла — только в нашем отделе числилось более ста человек. Помню, однажды я поднялся к себе в комнату, во второй этаж и принялся за свою картотеку. Вдруг, около 11 часов в открытые окна с улицы донеслись крики китайских мальчишек, разносчиков газеты «Харбинское время» — «Война! Война!» Все всполошились. Кто-то побежал узнать в чем дело, через минуту вбежал, держа в руках листок, на котором жирным шрифтом было напечатано: «Немецкие войска перешли польскую границу и стремительно наступают». «Ну это европейская война», — сказал я. «Не думаю», — ответил Касаткин, «Дальше Польши дело не пойдет». «Ну вот увидите». — Мнения разделились — большинство считало, что все обойдется одной Польшей.

Моя жена в это время имела самое близкое отношение к польской колонии. Помимо того, что, по приглашению профессора Яворского, она преподавала английский язык в польской гимназии, у нее брали уроки английского языка польский консул Литевский, «атташе» прессы Павлович, коммерческий «атташе» Воевудский с женой — это все было «высшее» польское общество Харбина. Все это были культурные, воспитанные, очень милые люди. И жена часто приходила домой с самыми «свежими» новостями, которые ей сообщали поляки, проникнутые великим польским патриотизмом: «Литевский говорил сегодня, что польская авиация бомбит Берлин!» — «Воевудские говорят, что с немцами Польша справится, лишь бы только не выступил Советский Союз!» Эта какая-то наивная ребячливость меня поражала, а между тем она сидела буквально во всех поляках. В Харбине было много поляков и все,

---

\* См. кн. 80 и 82 «Н. Ж.»

словно дети, повторяли одно и то же! — «Ну с немцами мы справимся!» или «У нас блестящая кавалерия — у немцев ничего подобного нет! Мы их побьем!». События же между тем развивались с молниеносной быстротой — Франция, а за ней Англия объявили войну Германии, Сталин заключил пакт с Гитлером, Польша была в две недели разгромлена, Франция разбита почти в один месяц. Японцы ликовали, хотя и были очень удивлены союзу СССР с Гитлером.

Между тем, у меня с картотекой дело шло плохо. Я путал, ошибался и никак не мог заставить себя сосредоточиться на этой работе. В конце концов и некоторые сослуживцы, особенно рьяно относившиеся к своей работе, начали ко мне относиться явно неприязненно — я путал карточки, иной раз я не мог долго отыскать нужную им фамилию советского военачальника. Как-то, из военной миссии, прибыл какой-то полковник — маленький, сухонький японец с желтым пергаментным лицом. Он начал обходить наши комнаты в сопровождении целого хвоста японцев из нашего отдела. Обход длился долго. У нас полковник появился в первом часу. Все встали. Войдя, он начал вбирать в себя воздух, кланяться и произносить «аа-аа-аа!». Затем стал обходить столы и выслушивать «доклады». Кононов, на карте, которая висела на стене, указкой показывал где, по его сведениям, расположены советские эскадрильи. Японец удовлетворенно кивал головой. Затем Смирнов показывал расположение советских воинских соединений. Муффель — артиллерии и т. д. Мой стол японец обошел, мельком взглянув на меня и направился дальше. Я уже знал: мной были недовольны. И действительно: однажды утром меня вызвал к себе начальник отдела и сказал: «Ваша работа Ильин-сан вам вероятно не подходит, — он вобрал воздух и помолчал, — некоторые жалуются, что не могут быстро получить нужную справку... Скоро открывается специальная школа унтер-офицеров императорской армии для изучения русского языка. У вас есть опыт... Я думаю вы будете полезны в этой школе». — «Преподавать русский язык, г-н майор? Я очень буду рад», — ответил я, и на самом деле был рад. «В таком случае вы завтра утром идите в 3-ий отдел к майору Ниимура, он формирует эту школу». 3-ий отдел помещался на том же Большом проспекте, в нескольких кварталах от Гириной ул., где был 2-ой.

Утром я поднялся во второй этаж 3-го отдела, в приемную. Из комнаты вышел Труфанов, сын протоиерея Труфанова, настоятеля украинской церкви. Я ему сказал, что пришел к майору. Он пошел «доложить». Вернувшись сказал: «Подождите пожалуйста» и ушел. У японцев правило: чем выше начальство, тем дольше полагается ждать. Ждал я, пока примет меня Ниимура, минут 30 и за это время рассматривал плакаты в виде лубочных картинок, которые были развешены по стенам. Это были все изображения эпизодов из русско-японской войны. Вот очень высокие японцы в мундирах еще того времени — черных с красными выпушками, фуражка с желтым околышком — они, с ружьями наперевес, бегут в атаку на русских. Русские маленькие, низкорослые пигмеи, в серых рубашках, черных безкозырьках, поспешно бегут от японцев. Вот огромный японец поднял на штык русского, у его ног, в белых гамашах, лежит уже с десятков скорченных в разных позах, убитых им русских — японец среди них, словно Гуливер среди лилипутов. Вот так воображение японцев рисовало самих себя — «Великий Ниппон», а русские — пигмеи, которых насаживают на штык... Пока я раздумывал, глядя на эти забавные лубки, снова вошел тот же Труфанов: «Майор вас просит», — сказал он. Ниимура сидел за письменным столом, против которого было два кресла. Кабинет был небольшой. У окна — традиционный круглый стол, покрытый плюшевой скатертью и несколько стульев. На стене — портрет маршала Ояма, в сером мундире с гусарским этишкетом и адмирала Того, в черной, глухой куртке со стоячим воротником. Задача Ниимура заключалась в том, чтобы создавать в эмигрантской среде японофильские настроения. В его ведении и подчинении находилось бюро по делам российских эмигрантов во главе с ген. Кислицыным и 3-ий отдел этого бюро, во главе которого был инж. Матковский — сын того самого ген. Матковского, который в Омске меня арестовал.

Ниимура прекрасно, без акцента, говорил по-русски и старался, как говорится, привлекать сердца. Он всегда был приветлив, обязательно при встрече говорил: «Ну как ваше здоровье?» или «Как поживаете?» Когда я вошел, он приподнялся, протянул мне руку, спросил «о здоровье» и, указав на стул, приветливо произнес — «садитесь пожалуйста». «Ну вот, — начал он, — очень хорошо, мне о вас звонил Судзуки-

сан. Он говорит, что вы хотели бы занять место преподавателя — работа во 2-ом отделе вам не очень подходит. У нас, я думаю, через месяц, откроется школа для младшего командного состава по изучению русского языка... Я надеюсь, что вы не откажетесь преподавать? Я знаю у вас хороший опыт, вы больше 3-х лет преподавали в Японо-Русском институте, потом читали газеты Яги-сан и Кубота-сан, это верно?» — «Да, верно, г-н майор», подтвердил я. Вся моя биография была, конечно, великолепно известна. «Ну, вот, стало-быть, вы будете прикомандированы к 3-му отделу. Вы знакомы с г-ном Матковским? Он очень достойный человек. Его отца расстреляли большевики — вы знаете?» — «Знаю, конечно». — «Говорят, это был доблестный генерал... Япония заинтересована помочь русскому народу свергнуть большевиков, мы хотим жить в мире и союзе с великим русским народом... Вы понимаете?» — «Понимаю, г-н майор». — «Ну вот, пожалуйста познакомьтесь с Матковским. Работать вам в 3-м отделе не надо, вы только заходите туда время от времени и присматривайтесь — нет ли подходящего преподавателя для школы — там все бывшие офицеры Заамурского округа». Затем Ниимура сказал, что «оклад» я буду получать без перерыва и мне сообщат, когда я должен буду явиться в школу. Он весьма тепло простился со мной, пожелал успеха, сказав: — «Мы теперь будем часто встречаться». С этим я ушел. Я был счастлив, что так благополучно разделался с военной миссией. С плеч точно гора свалилась.

На другой день я был в 3-м отделе бюро эмигрантов. Отдел помещался тоже на Большом проспекте, но в противоположной стороне, на площади, почти против Св. Николаевского собора. Матковский все уже знал обо мне и, вероятно, поэтому был со мной очень любезен и сейчас же пригласил к себе в кабинет. Высокий, довольно стройный, совершенно лысый, так что голова его напоминала бильярдный шар, что однако ничуть не портило его свежего молодого лица. «У нас все старики-заамурцы, все штаб-офицеры, навряд ли найдете подходящего для преподавания. Есть один ротмистр, бывший жандармский офицер, да и ему под шестьдесят — впрочем, посмотрите сами, вам виднее», — закончил Матковский. Два-три раза в неделю я ходил в отдел к Матковскому. В очень большой комнате за многочисленными столами сидели быв. заамурцы. Се-

дые, потрепанные жизнью, многие с георгиевскими крестами или с золотым оружием. Здесь велась регистрация всего русского населения Маньчжурии. Дѣла, повидимому, особенно много не было. Многие ходили, курили, разговаривали, вспоминая войну и службу на Дальнем Востоке. Много было разговоров про Хорвата, «Камилу», про привольную широкую жизнь. Мне, иной раз, становилось грустно от всех этих разговоров: «все в прошлом!» Ротмистр Власов, небольшого роста, худощавый с седеющим бабриком и аккуратной подстриженной бородкой клинушкой был как-то тих, угодлив, предупредителен — я так себе и представил его в жандармском мундире. Я ему сразу сказал, что буду преподавать в школе и что есть возможность туда поступить — не хочет ли он? Он обрадовался: «Ну конечно! Здесь пока одна... сижу на картотеке, вот посмотрите», — показал он на целый ряд ящиков, повидимому, содержащихся в идеальном порядке. — «Ну и платят мало, едва на жратву хватает... очень буду рад, благодарю вас!» — «А вы когда-нибудь преподавали?» — «Давно, в молодости, когда в учебной команде был». Приглашенный, пунктуально-аккуратный, какой-то весь «чистенький» Власов оказался потом очень «ко двору» и им японцы были весьма довольны. Я о нем сказал Ниимура и его взяли в школу. Преподаватель он был никакой, но его угодливость, услужливость — очень понравились. Звонки еще звонили, а Власов уже шел в класс. Это нас всех изводило, он оказался такой «службист», и нам приходилось вставать и идти за ним.

29-го апреля Матковский мне сообщил, что Ниимура звонил и просил передать, чтобы я и Власов явились в 3-ий отдел на другой день утром. Когда я пришел, в нижнем этаже, в большой комнате 3-го отдела было уже человек 30 — почти все незнакомые. Среди них сутился и что-то говорил высокий, худой человек, уже пожилой, с угреватым, чисто выбритым лицом, а рядом с ним невысокий, плотный с круглым, совершенно как у Будды, матовым лицом, японец. Японец оказался старшим инспектором открывающейся школы — Петр Павлович Такеучи — он окончил Токийскую семинарию, хорошо говорил по-русски и был православный. До своего назначения в школу он служил в главном полицейском управлении и ведал иностранным отделом. А высокий русский был инспектором школы. Он кончил институт восточных языков во Владивосто-

ке и прекрасно говорил по-японски. Это был некий Гредякин. Человеком он оказался весьма несимпатичным, угодливость была его главной чертой. Японцы его ценили, но русские весьма скоро из Гредякина переделали его в «Бледякина». Когда собрались все, к нам обратился Такеучи. Он сказал, что каждый преподаватель будет иметь 18 ч. в неделю, т. е. не более 3 ч. в день. Расписание составляться будет по возможности по желанию каждого, т. е. как ему удобнее. Никакой другой работы у преподавателей не будет и, дав свои уроки, можно идти домой. Плата 100 «го-би» в месяц. Го-би была денежная единица Маньчжудуго, введенная японцами, и равнялась она одной иене. Кроме того к Новому году наградные. Однако уходили мы домой после уроков всего лишь 2 первые месяца. Весьма скоро нас начали держать в школе до 4 час. дня, а расписание составлялось так, что оказывались «окна» в 3-4 часа: первый урок от 8-9 утра, а два других от 2 до 4, при чем уходить в перерыв было нельзя. Несколько человек, и я в том числе, пытались протестовать и напомнить, что говорил Такеучи, но из этого ничего не вышло. Такеучи заявил, что его не верно поняли, Гредякин угодливо молчал, а большинство было более чем покорно и никто нас не поддержал.

Итак, после речи Такеучи, Гредякин объявил, что все мы должны собраться к 8 ч. утра 1-го мая, т. е. завтра, на плацу перед зданием школы ОЗО (это здание в свое время принадлежало Обществу Заамурских Офицеров). 1-го мая 1940 г. собрались мы на большом плацу школы. Был жаркий день с ветром, как это всегда бывает весной в Маньчжурии. Время от времени несло пылью, смешанной с гравием, которым был посыпан плац. Посредине — возвышение в виде деревянной платформы, а на ней кафедра. Собралось человек 35, среди которых было несколько женщин. Такеучи был в брюках «хаки», таком же кителе со стоячим воротником. На правом плече у него был золотой, витой шнур, пропущенный под мышку и спускающийся двумя кистями на грудь у борта кителя. Это было нечто вроде аксельбанта. Такое «отличие» полагалось особому классу чиновников в парадных случаях. Он и Гредякин принялись нас расставлять в два ряда перед кафедрой. Потом стали на правом фланге — Гредякин и ему по плечо квадратный, круглолицый с военной «пилоткой» на круглой голове — Такеучи. Ждали мы минут 25. Налетали порывы ветра с

пылью. Я приглядывался к будущим коллегам: настоящих профессиональных преподавателей было человек 5 — все остальные, видимо, подбирались главным образом по политическому признаку — было много семеновских сподвижников. Наконец, из дверей штаба, здание которого тылом выходило на этот же плац, показался невысокий, ладно сложенный, в военной форме Ниимура. Такеучи истошным голосом заорал «смирнооо!» Ниимура взошел на помост. Он обвел нас взглядом, поклонился и начал говорить. Говорил он о том, что Ниппон стоит на страже мира во всем мире, что главной задачей является борьба с коммунизмом. Русский народ ждет освобождения и миссия Ниппона оказать бескорыстную помощь ему в его борьбе с коммунизмом. Школа, в которой предстоит нам преподавать, — предназначена для младшего командного состава квантунской армии, дабы ниппонские солдаты знали русский язык и могли бы оказать помощь русскому населению, когда придется с ними встретиться. Конечно, никто ни слову не верил, но многие, как я говорил, изобрели себе благодетельную формулу: «хоть с чертом, лишь бы свергнуть большевиков и если надо с японцами, так с японцами, а потом с ними справимся».

Судьба меня сводила с самыми разнообразными японцами. Когда я был в Институте, туда раза два приезжали из Токио профессора русского языка для ознакомления с постановкой преподавания. Эти профессора прекрасно владели русским, в совершенстве знали грамматику и синтаксис русского языка, говорили почти без акцента, но все же с той манерой, которая свойственна только японцам — у каждой нации своя манера говорить и совсем от нее избавиться, изучая иностранный язык, — очень трудно. Между тем, Ниимура говорил по-русски, как русский, и я никогда не встречал японца, который так правильно, литературно и без малейшего акцента говорил по-русски. Где он успел так научиться русскому языку, особенно трудному для японцев и китайцев, я никогда так и не узнал.

Когда Ниимура кончил, поздравив нас с началом занятий, мы все, гурьбой, во главе с Ниимура, Такеучи и Гредякиным пошли в школу. В очень большой учительской с четырьмя окнами — два на улицу и два на плац, стоял у входа большой письменный стол с двумя стульями — за этим столом расположились Такеучи и Гредякин, — а вдоль стены — справа длинный стол,

с чернильницами и ручками — для нас преподавателей: мы разместились по обе стороны стола, друг против друга. У другой стены, за большой круглой, облицованной железными листами печкой, был стол делопроизводителя, который ведал расписаниями, дежурствами и всяческими нарядами. Наконец, в противоположном углу и следовательно позади и в стороне от стола инспекторов был стол для «запасных» преподавателей. Я выбрал себе место почти в конце стола рядом с Никифоровым, который сидел последним почти у окна: — «Подальше от начальства», — как он сказал. Жандармский подполковник Никифоров был мой старый знакомый. В Иркутске, когда я был во главе добровольческих формирований, он пришел ко мне в управление, прося его куда-нибудь устроить. Я назначил его на станцию Зиму, сибирской ж. д. Потом он с женой оказались в Харбине. Он устроился преподавателем в гимназии Оксаковской, а когда в гимназии дела пошли плохо, поступил кассиром в гастрономический магазин «Гастроном», а его жена в отделение этого же магазина. Никифоров был в железнодорожном корпусе жандармов и будучи ротмистром служил на Д. Востоке на ст. Харбин. Во время его дежурства на вокзале был убит маркиз Ито — кореец выстрелил в него и смертельно ранил. Никифоров первый схватил этого корейца, за что был «пожалован» японцами каким-то орденом третьей степсни. Когда в 32 г. пришли японцы, Никифоров сразу поступил в полицейское управление и через несколько лет службы уже имел в Модягоу хороший одноэтажный дом с флигелем и большим садом. Дом сдавался, а во флигеле жили сами. Прекрасная хозяйка — жена Никифорова, устраивала великолепные обеды в дни именин и рождений. Никифоров был высокий, массивный человек, довольно представительный и даже красивый, с усами а ля Вильгельм и птичьими глазами, ему было, когда он поступил в школу, уже 62 года. Против меня сидела Куксина, пожилая, седеющая женщина, по профессии учительница. Рядом со мной, с другой стороны была Григорович — жена служащего уголовного розыска, которая никогда в жизни ничего не преподавала. Далее сидела Дудукалова — еще сравнительно молодая женщина, тоже впервые вступившая на педагогический путь — ее муж служил в первом отделе военной миссии и пользовался особым доверием у японцев. Затем сидела Левицкая, пожилая женщина, но очень

сохранившаяся, веселая, компанейская, не прочь хорошо выпить, также как и Григорович. Левицкая была по профессии учительница и не плохая преподавательница. Муж ее занимался какими-то коммерческими делами на линии. Рядом сидел Поперек — знаменитый тем, что в период Остроумовского управления до прихода большевиков, издавал журнал «Бамбук», резко юдофобский, в котором он и писал. Он обладал талантом стихоплета и на любую тему мог сложить рифмованный куплет. Было этому типу в то время года 62, но он очень сохранился — никогда в жизни не преподавал — служил чиновником в разных учреждениях. Во всех бедах, постигших Россию, винил «жидов». Говорил всегда авторитетно: — «Все жиды и массоны! Можете мне поверить!» Перед японцами невероятно подхалимничал, хотя кличку «Блудякин» дал Гредякину он. Тут же была Олечка Я. необыкновенно хорошенькая, с чудесной фигурой молодая женщина. Она была жена харбинского боксера, бросила его, сошлась с пожилым доктором, а после его смерти ее заметил Ниимура. Олечка не только не имела никакого понятия о преподавании, но не знала даже как себя вести в классе перед смотревшими на нее с каменными лицами японскими воинами. Ее быстро посадили за машинку и она с очаровательной улыбкой стала учиться на ней писать. Кедров был старый, опытный преподаватель и специалист по русской грамматике. Лавошников и Беляев были довольно опустившиеся люди — в прошлом, кажется, с университетским образованием. Касаткин — тип «купчика-голубчика» — на самом деле очень походил на московского купчика, был хорошо одет, имел массивные золотые часы в жилетном кармане с золотой цепочкой на животе. Его сын был т. н. «фашист» — он и еще несколько молодых людей были посланы в СССР в качестве разведчиков, где, почти сейчас же, едва успев перейти границу, были схвачены и расстреляны. Делопроизводитель — был некий Дегтев (псевдоним) — невысокого роста, худощавый рыжий человек. Он служил в японском жандармском управлении на ст. Пограничная и, как говорили, принимал деятельное участие в допросах с «пристрастием» контрабандистов китайцев и русских — последние всегда сходили за «большевиков». Дегтев был молчалив как рыба... Было еще несколько пожилых людей, которые попали в школу в качестве преподавателей. Когда мы все расселись, Гредякин объявил нам, что сейчас он разведет нас

по классам на пробный урок. Классов оказалось десять. В каждом классе было от 25 до 30 человек. Когда мы входили в классы, дежурный истошным голосом орал смиренно и на приветствие «здравствуйте», ученики громко отвечали: «здравствуйте, г-н учитель!» Оказывается они были этому уже заранее обучены.

Мне попался 5-ый класс. Я с места начал называть по-русски окружающие предметы — японцы хором повторяли. Затем, очень быстро набрасывал на доске мелом предмет и японцы, уже зная его, также хором называли. Урок прошел быстро и незаметно. Японцы очень дисциплинированный народ, как я уже говорил. В классе они сидят с окаменелыми лицами. Ни малейшего шевеления. Нужно, чтобы прошел довольно значительный срок, когда наконец японцы привыкнут, «оттаят» и уже более или менее начинают держаться свободно. Этот первый «показательный» урок мне хорошо запомнился — в коридорах школы стоял неистовый вопль... «Учителя» вроде Лавошникова или Беляева, никогда в жизни не давшие ни одного урока — орал в классах неистовым голосом. После этого урока Такеучи сказал, что завтра с 8 ч. утра начинаются регулярные занятия, а Гредякин объявил нам расписание. Мои часы складывались удобно с 8 до 10 и третий урок с 11 до 12 — «окно» в час я проводил в учительской за слушанием рассказов Никифорова.

Когда мы покидали школу, у наружного входа стояли два часовых с винтовками у ноги. Это были русские, взятые откуда-то, чуть ли не из ночлежек. Было странно видеть их в совершенно поношенных костюмах с винтовками в руках. Оказывается их было четверо, они несли дежурство (караул) во время занятий в школе. Но когда приезжало начальство в виде какого-нибудь генерала или члена военной миссии, тогда выстраивался японский караул и на приветствие отвечал по-русски: «Здравствуйте, г-н генерал!»

На следующий день в школу приехал Ниимура и обходил все классы. Так начались наши занятия. Это была первая фаза, знакомство с названием предметов, с алфавитом. Через неделю начался «отсев» — Лавошников и Беляев были от преподавания отставлены и посажены «запасными» преподавателями, двух-трех убрали совсем. Когда я однажды вошел в учительскую, Гредякин объявил мне, что меня хочет видеть Ниимура.

Его кабинет помещался в небольшой комнате, рядом с учительской. Я вошел к Ниимура. Он встал из-за письменного стола и с несколько торжественным видом произнес: «Ильин-сан, вы очень хорошо преподаете, ученики очень довольны!» И с этими словами, взяв со стола продолговатый конверт, какие японцы употребляют для писем, протянул его мне — «Это вам маленькая награда, — сказал он, — 10 го-би». Я поблагодарил, а Ниимура пожелал мне дальнейших успехов. Когда я вернулся в учительскую Гредякин меня поздравил, а за ним и Таке-учи. С полной откровенностью могу сказать, что успех этот меня нисколько не радовал. Я всегда опасался слишком выделаться у японцев. Предчувствие меня не обмануло. Вскоре приехал, назначенный начальником школы подполковник Камацубара — брат того генерала, который потерпел жестокое поражение под Номонханом и совершил «харакири». На следующий же день Такеучи нам объявил, что после занятий подполковник Камацубара приглашает «всех господ преподавателей» на банкет в только что отстроенную большую 4-этажную гостиницу «Нью Харбин», находящуюся на площади против Св. Никольского Собора.

Банкет был устроен наверху, в зале 4-го этажа. Большой стол был накрыт буквой «П», на поперечнике, посредине, сел Камацубара, рядом с ним Такеучи и Гредякин. Затем расселись и мы. Во всех японских отелях, на европейский лад, обеды подаются по лже-английскому образцу. На столе стояли графины водки, но никакой закуски не было. Бóи в белых смокингах разнесли тарелки с бульоном, которого было три-четыре ложки, и в котором плавало несколько ромбиков омлета. Камацубара, который очень слабо говорил по-русски и с большим акцентом, налил себе и своим соседям в рюмки водки и высоко подняв свою, изображая широкого русского хозяина, провозгласив «Ваше здоровье, господа!» — опрокинул лихим жестом рюмку себе в рот. После бульона разнесли на тарелках крохотные кусочки жареной рыбы. Камацубара предложил опять зыпить. Вместо хлеба, перед каждым прибором на тарелочке лежала галета. Камацубара снова поднял рюмку — «Ну, выпьем!» произнес он, также лихо опрокинув рюмку. Затем разнесли по кусочку ростбифа. Камацубара несколько раз поднимал рюмку, ему подливал Гредякин. Такеучи махал рукой, закрывал рюмку и больше не пил. Наконец подали какое-то сухое пирожное.

Тут Камацубара, опершись локтем о стол и подперев голову ладонью, невероятным фальцетом запел известный романс «Дремлют плакучие ивы, низко склонясь над ручьем». Совершенно нельзя себе представить ничего более комического, чем японца старающегося быть сентиментальным. А Камацубара фальцетом, невероятно коверкая слова, тянул русский романс, при этом еще делая вид, что он хорошо выпил. Ну, конечно, все аплодировали и больше всех Гредякин. Было совершенно ясно, что Камацубара старался показать себя ярим руссофилом и единственно чем он мог это доказать был этот романс. Он был убежден, что достаточно его спеть и русские будут покорены! Кто-то мне потом рассказал про Камацубара, что он в чине майора был в штабе японских войск в Чите при атам. Семенове, когда в Омске был адм. Колчак. Банкет этим и закончился. Все мы были порядочно голодны, смеялись и над «Плакучей ивой» и над «английским» обедом. Некоторые из нас отправились в китайский ресторан есть «ляо-ли-лю-дзи» и пельмени.

На следующий день начались занятия. Камацубара обходил все классы, в некоторых подолгу задерживался, слушая как идет урок. У меня он пробыл минут 30, внимательно слушал, ни слова не сказал, и молча вышел. Через несколько дней Гредякин утром объявил, что начальник школы просит после уроков всех остаться, т. к. он будет говорить с учителями.

Мы остались до конца уроков и потом ждали в учительской Камацубара. Наконец, минут через 20 он появился и сел между Такеучи и Гредякиным. Он начал с того, что он, конечно, остался «очень доволен», преподаванием, но хочет сделать некоторые полезные перемены. Он решил выбрать самых лучших и способных учеников и образовать два класса 1-ый и 2-ой и назначить туда двух лучших преподавателей — Левицкую-сан и Ильина-сан. Все глаза устремились на Левицкую и на меня. Левицкая довольно улыбалась. Я же уткнулся в стол, Никифоров толкнул сеня кулаком в бок. После этого началась критика некоторых преподавателей и советы им. Наконец Камацубара встал, встали и мы все, пожелал успеха и обращаясь к Левицкой и ко мне сказал: «Ну, у вас Левицкая-сан и Ильин-сан будут лучшие ученики, все унтер-офицеры, они все кончили среднюю школу, я надеюсь, что вы будете

успешно заниматься». Мы молча поклонились и Камацубара вышел.

В это время в Европе война была в разгаре. Франция капитулировала, шла «битва за Англию». Такеучи, каждое утро, как только мы собирались перед звонком, торжественно нам объявлял об очередных успехах немцев. Его особенно радовали налеты на Лондон и Ковентри: — «Скоро от Англии ничего не останется», говорил он. На что Поперек выкрикивал: «Лордám по мордám — так им и надо!» Нам японцы все яснее давали понять, что дело идет к разрыву с СССР. Мои ученики, которые уже совсем привыкли ко мне и больше не стеснялись говорить откровенно, спрашивали меня: — «Г-н учитель, что вы думаете о войне с СССР?» У них не хватало слов, чтобы полностью высказать свою мысль, но я отлично понимал, что они хотели спросить. Это были каверзные вопросы с обычной японской лукавостью: они хотели знать кто по-моему победит, если будет война Японии с СССР? Я отвечал уклончиво: «Мне очень трудно что-нибудь сказать об этом, но конечно Ниппон очень сильное государство!» Весь класс со свистом вбирал воздух и все были довольны.

К октябрю месяцу, когда ученики уже начали читать, был роздан по классам напечатанный на ротаторе урок. Этот урок мы зубрили целый год и естественно я его запомнил на всю мою жизнь. Это был «разговор» японского солдата с красноармейцем, которого он взял в плен. Все фразы были написаны столбцом. Вот этот разговор: «Стой! Слезай с коня! Отдай оружие. Как твоя фамилия? Какой ты части? Не бойся! Иди вперед. Не оборачивайся. Не беги. Буду стрелять». При этом Гредякин объявил, что курс обучения русскому языку устанавливается в один год. Весь этот «разговор» с пленным, по распоряжению свыше, составлялся Камацубара и Такеучи. Не нашлось ни одного, кто, хотя бы в слабой степени попробовал критиковать этот нелепый и совершенно бессмысленный «разговор» с пленным. И никто не возражал против абсурдности выучить русский язык в один год. Между собой кое-кто весьма критически замечал: «Да красноармеец с первого же слова собьет его с толку! Ведь это же идиотство весь этот «разговор». — Но это все были «кулуарные» разговоры. Казалось бы кому как не инспектору следовало бы высказаться по этому поводу, но Гредякин угодливо принимал все, что японцы придумы-

вали. Правда, единственным оправданием для всех может служить то, что раз японцам что-нибудь засело в голову, уже никакие силы не способны их свернуть в сторону. Так мы и принялись зубрить «стой! слезай с коня!»

Так и начинался урок: «Идзуми!» — вызывал я. «Я!» — выкрикивал японец и вскакивал как на пружине. «Как вы будете допрашивать пленного?» — «Стой! слезай с коня!» и т. д. громко, почти крича, отвечал Идзуми. Раз в месяц устраивались по классам проверочные испытания. Такеучи, совместно с Гредякиным составляли диктанты, за которые ставились балы. Затем, на общем собрании всех преподавателей оглашался средний был по каждому классу, по 100 бальной системе. После чего Камацубара делал те или другие замечания, указывая как надо обучать «опросу» пленных, одних хвалил, других критиковал. Мы с Левицкой оказывались всегда «отличниками» и Камацубара неизменно советовал брать с нас пример. В общем, все «обучение» сводилось к голой зубрежке — к чему, кстати сказать, японцы больше всего способны.

В начале августа, только что я вошел в учительскую, Гредякин объявил, что Куксину-сан (он всегда наши фамилии произносил на японский манер) и меня требует Камацубара. Мы с Куксиной недоумевали и гадали, что бы это значило? Подходим к двери кабинета, стучим. В ответ «Ай! ай!» — входим, кланяемся. По обыкновению с минуту молчание. Наконец Камацубара говорит: «Подполковник Ниимура вчера сообщил мне, что приехали 20 японцев, они хотят «познакомиться» (он так и сказал «познакомиться») с русским языком. Он просил назначить двух преподавателей. Ну, я решил просить вас. Я сейчас пойду с вами. Уроки будут в военной миссии, в 3-м отделе. Сегодня здесь вас заменят, а потом вам переменят расписание». Мы поклонились и поблагодарили. Камацубара вошел и выпустив его, произнес: «я надеюсь, что вы будете хорошо преподавать!» Затем он встал и мы втроем пошли в 3-ий отдел, который, как я говорил, помещался в противоположном конце Большого проспекта.

Внизу, в большой комнате, мы застали 20 японцев наших будущих учеников. В комнате уже были расставлены четыре стола в затылок и у каждого пять стульев. У стены стояла на треноге доска. Все японцы были лет 30 или старше. Все были в штатских костюмах, желтых или парусиновых туфлях, в са-

мых экзотических галстуках, или закрытых черных куртках на манер кителя. Камацубара нас представил. Японцы «акали» и кланялись. Затем было объявлено, что уроки начнутся с завтрашнего дня, два часа в день от часу до трех. После этого мы с Камацубара пошли обратно в школу. Расписание нам изменили и наши уроки в школе были от 8 до 11 ч. Меня это очень устраивало.

Мы с женой жили рядом и мне все это было очень удобно. С Куксиной мы составили расписание и наметили план преподавания. Остановились на первой части учебника Усова. Начали с названия видимых предметов, затем перешли к алфавиту и, наконец, принялись читать по складам. Все шло как будто бы благополучно. В учебнике были картинки, а кроме того по нашей просьбе было развешено несколько таблиц, с разнообразными рисунками в красках, составленных тем же Усовым. Нам с Куксиной начало казаться, что ученики наши скоро понемногу начнут читать и отвечать на вопросы.

Как-то, когда я пришел на урок, старший (повидимому руководитель группы) объявляет с трудом подбирая слова: «Ильин-сан! завтра китайский ресторан банкет 8 ч. вечера. Куксина-сан тоже... пожалуйста!» Оказывается, мы приглашены в китайский ресторан на пельмени, по случаю окончания занятий. Так нам объявил Ниимура. Он нам выдал по 60 иен за три месяца преподавания и просил придти к 7 ч. дабы вместе с учениками отправиться в ресторан, который нам поручалось выбрать. Хорошие китайские рестораны были все на пристани, куда мы всей гурьбой и поехали. Ели пельмени, пили пиво. Весь разговор заключался: «Ваше здоровье! Спасибо! Очень, очень халолошо». «Харбин очень халолошо!» «Ну, Ильин-сан, Куксина-сан спасибо, очень халолошо!» Так эти 20 японцев «ознакомились» с русским языком. Кто они были? Откуда? Зачем приезжали в Харбин? Об этом мы с Куксиной никогда не узнали. А расспрашивать японцев не полагается — вас могут заподозрить в шпионаже!

В начале ноября Камацубара объявил нам, что он получил новое назначение в Японии и что у нас будет другой директор — майор Танака. В Японии фамилия Танака также распространена как в Китае Ван, а в России Иванов. Танака оказался невысоким худощавым японцем с чрезвычайно надменным видом. Такеучи сказал нам, чтобы мы остались после

занятий, т. к. Камацубара представит нас новому директору. Мы все были построены в две шеренги, а на правом фланге у нас оказался унтер-офицер. Лишь только в дверях показались Камацубара и Танака, как унтер-офицер закричал «смирно!» Такеучи шествовал сзади. Камацубара называл фамилии, а Танака, на секунду задерживаясь перед каждым, коротко произносил — «аа!» Этим представление закончилось. Когда они ушли Такеучи торжественно объявил, что завтра в 8 ч. вечера в ресторане «Татос», на Пристани, Танака-сан приветствует нас «банкетом», «водки будет сколько угодно!» — торжественно закончил он. В Харбине, на Пристани были два кавказских ресторана, которые содержали грузины — «Татос» и «Иверия». В обоих были чудесные шашлыки, чебуреки, ловаши — словом кавказская кухня. Оба ресторана помещались в больших подвальных помещениях. К 8 ч. собрались мы в просторном отдельном зале, где был накрыт стол буквой «П», уставленный массой закусок, графинами с водкой и бутылками вина. Танака и Такеучи сели на поперечнике, посредине, — Гредякин с одной стороны, Никифоров с орденом в петлице — с другой. Танака говорил по-русски много лучше Камацубара, но также как и тот старался изобразить из себя «широкую» русскую натуру, пил водку, сильно причмокивал и, поднимая рюмку, восклицал: — «Ну, ваше здоровье, господа! Будем веселиться!» Ели, пили и действительно веселились — изрядно, так что даже, открыв двери в общий зал, танцевали под оркестр. Я танцевал все время с Зиновьевой — уже пожилой девушкой в пенсне, немного «синий чулок» — она была по профессии учительница и содержала стариков-родителей. Никакой политикой она не занималась, ни к каким «партиям» не принадлежала, и, тем не менее, когда пришли советские ее забрали и старики-родители остались брошенными на произвол судьбы. Да, неисповедимы дела Твои, Господи! Кто мог бы подумать, что Такеучи, который сейчас сидел напыщенный и важный со своим лицом Будды, будет через четыре года расстрелян и кем? Китайцами, которых он так презирал! Когда, после занятия Маньчжурии советской армией, началось массовое выселение японцев «по месту их жительства», т. е. в Японию, Такеучи имел глупость выхлопотать себе разрешение остаться в Харбине. Его две дочери работали и он спокойно зажил в небольшой квартирке в Модягоу. Но вот как-то на

улице его узнал китаец — один из тех, которых Такеучи допрашивал «с пристрастием» когда служил в полиции. Китаец сейчас же донес и Такеучи забрали и расстреляли. Всегда, в таких случаях, мне вспоминаются горькие слова Креза, когда его скованного вели на казнь — он вспомнил то, что говорил ему Солон: — «никогда нельзя сказать, пока человек не умрет, был ли он счастлив».

Веселились мы до трех часов ночи. Гредякин, да и не он один, был сильно навеселе, со всеми целовался и все уверял как он печется о наших интересах и является нашим защитником перед японцами. Между тем, в воздухе чувствовалось какое-то напряжение. Англию немцы нещадно бомбили, японцы явно готовились к войне — но с кем? С СССР или с США? Казалось бы они должны непременно напасть на СССР, за это говорил их союз с Германией и Италией — «ось» Берлин-Рим-Токио. И тем не менее, я был совершенно убежден, что после Заозерной и Номонхана, армия едва ли выступит, т. к. теперь флот захочет играть первенствующую роль. А мы в школе продолжали зубрить «Стой! Слезай с коня!» и т. д. Кроме того Танака ввел изучение воинских «различий» в советской армии. Были нарисованы в красках, на больших листах таблицы с изображением петлиц и на них «шпал», «ромбов» и пр. с соответствующими названиями. В наших двух старших классах, Левицкой и мне постоянно задавались вопросы: что мы думаем о красной армии, сильнее ли красная армия царской, хороший ли полководец маршал Тимошенко и т. д. Левицкая, после каждого урока, входя в учительскую с веселым видом, говорила: — «Они (ученики) ждут не дождутся, когда японские генералы померяются силами с Тимошенко и Ко!»

Как-то во время урока, когда я объяснял значение глагола «отдавать» — «отдай оружие», я спросил одного из учеников — ст. унтер-офицера Накамура — что он думает, где ему придется брать красноармейца в плен? Накамура встал, повторил вопрос и ответил: — «я думаю, г-н учитель, японские императорские войска будут занимать Уссурийский Край, они там будут брать пленных». «Уссурийский край очень большой, Накамура, — сказал я, — и вам придется брать много пленных?» «Ничего, г-н учитель, Японии надо иметь Уссурийский Край, там очень хороший климат», — ответил он. Весь класс уставился на меня. — «Ну что же попробуйте!» —

ответил я. Теперь уже вопрос шел не «о борьбе с коммунизмом», а попросту о завоевании русского Дальнего Востока. Японцы уже не стеснялись говорить об этом, хотя, разумеется, официально формула «борьба с коммунизмом» — оставалась неизменной.

Вероятно, чтобы внушить нам особое уважение к японской доблести, Танака однажды устроил показательный бой на мечях. Два унтер-офицера оделись в старинную форму самураев: длинные юбки, опоясанные широким поясом, чешуйчатые лакированные нагрудники, такие же шлемы на головах, спускающиеся, словно чешуя, на плечи, закрывая затылок и шею. В зале были поставлены скамейки вокруг большого мата. Два бойца, с длинными фальшивыми мечами из скрепленных бамбуковых пластин, с длинными рукоятками — стали друг против друга. Сбоку встал арбитр. Когда мы все расселись — во главе с Танака, Такеучи и Гредякиным, которые сели по середине, арбитр махнул рукой и противники с отчаянным ревом бросились друг на друга. Посыпались трескучие удары «мечей». Бойцы, издавая оглушительные крики, бросались друг на друга со страшным азартом. Когда, казалось они вот-вот сцепятся, арбитр громко кричал «Ой!» и сражающиеся моментально отскакивали друг от друга и замирали не шевелясь, пока не подавалась снова команда. Тогда они с истеричным воплем бросались опять друг на друга. Так продолжалось около двух часов. Сражающиеся останавливались, замирали, бросались друг на друга, расходились, оживляли друг друга, снова яростно сталкивались. Таков был бой на мечях самураев в древние времена.

Однажды, когда мы пришли утром, Гредякин объявил нам, что ожидается приезд командующего войсками из Мукдена, который будет осматривать школу и обходить классы. Всегда все распоряжения от нач. школы получал Такеучи, но сам он их никогда не объявлял, он передавал их Гредякину, который и обязан был сообщать нам. Поднялась суета. Гредякин объявил, что командующий войсками начнет обход с 1-го класса Левицкой, потом придет в мой класс, а дальше, вероятно, зайдет еще в несколько классов. Минут за 15 до звонка нас загнали в классы. У окна, в учительской стояли Гредякин и Дегтев, чтобы увидеть когда подъедет автомобиль военной миссии. Объявлено было, что генералитет будет в 9 ч. Однако, как

полагается у японцев, его не было и в 9 и в  $9\frac{1}{2}$  и в 10. А мы все это время торчали в классах, Гредякин с Дегтевым стояли у окна, а Танака с Такеучи, на плече которого висел золотой шнур, на улице у дверей школы, между двумя русскими часовыми в подержанных штатских костюмах, а впереди, непосредственно на тротуаре, был выстроен японский караул с офицером во главе. В ожидании приезда я занялся в классе художеством: — нарисовал на доске танк, затем под ним вытянул гусеницу, которая на колесах танка, а под ней большую, жирную гусеницу-сороконожку — и написал «гусеница» — указав стрелкой на гусеницу танка и гусеницу-насекомое. Затем изобразил в воздухе 9 самолетов, летящих по три и написал «эскадрилья», рядом нарисовал всадников с винтовками и саблями — «эскадрон», а затем провел линию горизонта, гладь моря и дымки едва видных кораблей — «эскадра». Японцы были в восторге и шумно вбирали и выпускали воздух. «Это танк, — пояснял я, — он движется на гусеничном ходу, как вот эта гусеница. Самолеты — это эскадрилья, а конные солдаты — солдаты на лошадях — это эскадрон; корабли — это эскадра». Затем, я все надписи стираю и мы все хором зубрим — это самый привычный и любимый у японцев способ заучивания — «эскадрилья», «эскадрон», «эскадра» и я указкой показываю на тот или другой рисунок. Наконец, в 11-ом часу на улице раздается крик: — «здравствуйте, г-н генерал!» Караул был обучен отвечать по-русски. Затем в коридоре послышался громкий топот и шарканье многочисленных ног, двери распахнулись и показалась большая группа японского генералитета. Впереди был наш Танака. За ним — плотный, низкий, очень важный генерал, командующий войсками квантунской армии, начальник военной миссии, сменивший Хата, — маленький, ладный ген. Яначита и за ними еще несколько генералов и полковников. Я скомандовал «Встать! Смирно!» Генерал крикнул: — «Здравствуйте!» На что класс ответил: «Здравствуйте, г-н генерал». Далее Танака обратился ко мне: — «Пожалуйста спрашивайте по рисункам!»

«Исилото! — вызываю я — что это такое?» — и указываю на танк. «Танк!» почти кричит Исилото, вскочив как на пружине и замерев, с руками по швам — «А это?» — «Гусеница!» — «А это?» — «Тоже гусеница!» — «Почему так назвали?» — «Гусеница у танка, как насекомое — гусеница!»

«Садитесь, очень хорошо!» — «Издуми!» — «Я!» — Издуми вскакивает. «Что это?» — «Эскадрилья!» — «А вот это?» — я указываю на танк, — «Это танк». — «На чем он движется?» — «На гусенице» — отвечает Издуми. Яначита, который прилично говорил по-русски, переводит вопросы и ответы командующему войсками. Последний удовлетворенно кивает головой. Затем переходит к таблицам с петлицами красноармейцев. Вызываю и спрашиваю, что обозначают те или другие шпалы и ромбы. Отвечают быстро и без запинки, вызубрили хорошо: — «лейтенант», «майор», «комбриг» и т. д. После этого вызываю старшего унтер-офицера Окинава. Окинава выкрикивает «Я!» — «Как вы будете допрашивать пленного?» Едва я закончил фразу, как Окинава залпом, без передышки начинает: «Стой! Слезай с коня!» и т. д. После этого Яначита что-то говорит ученикам и те, как один поднимают руки. Затем генералы кланяются, я командую: «встать смирно!» И они удаляются. Я сейчас же спросил, что говорил ген. Яначита. Оказывается, он спрашивал кто со средним образованием и приказал тем поднять руки. Подняли руки все, т. к. среднее образование получили все. Затем начался обход других классов. Лишь во втором часу мы наконец услышали топот многочисленных ног в коридоре и затем на улице крик «смирно», шум автомобилей — генералы уезжали. Почти четыре часа мы таким образом торчали в классах, наконец раздался звонок. В учительской увидели сияющего Такеучи, Гредякина; через минуту вошел Танака. Он сел между Такеучи и Гредякиным, расселись и мы. — «Командующий войсками, — начал Такеучи, остался очень доволен. Очень хорошо отвечали у Левицкой-сан и особенно он доволен вторым классом Ильина-сан, генерал просил передать свою благодарность и он надеется, что и дальше обучение будет идти также успешно». Лишь в четвертом часу мы были отпущены, изрядно усталые и голодные.

Так подошел новый 1941 г. Гредякин объявил, что всех преподавателей начальник школы просит в первый день собраться к 10 ч. утра в школе. Когда мы пришли в учительскую к 10 ч. там уже был Такеучи с золотым шнурком на плече и Гредякин. На длинном столе, за которым мы обычно сидели, была постелена белая бязевая скатерть, стояли флакончики сакэ, чашечки и на блюдах горки засушенной рыбки. Минут через 10 вошел Танака, встал у стола, взял в руки чашечку сакэ, что

проделали и мы и поздравил нас с новым годом: «Я надеюсь, что новый год будет такой же успешный как и прошлый!» закончил он, выпивая со свистом сакэ. Поперек, отличавшийся всегда особой угодливостью, закричал «ура!», но его особенно не поддержали, а Танака, подделываясь под русский тон, лихо заявил: «Ну, а теперь пошли ко мне!» Жил он недалеко, в железнодорожном флигеле. В большой комнате (очевидно в столовой) был накрыт круглый стол весь уставленный русской рождественской снедью: окорока, копченый гусь, утка, фазаны, всевозможные заливные, водка, разные настойки, вино — никого кроме Танака не было. «Милости прошу! пожалуйста господа, выпить, закусить!», подделываясь под русского гостеприимного хозяина, говорил Танака, широким жестом указывая на стол. Такие же «столы» были и у начальника военной миссии ген. Яначита и у майора Ниимура. У Яначита «стол» был еще богаче. Целый день русские служащие военной миссии делали «визиты» и в военную миссию и к Ниимура. Там, однако, принимали не хозяева, которые сами делали визиты, а какие-то японцы, очевидно специально для этой цели поставленные. Все это рождественское угощение в русском духе поставлялось ресторанами «Иберия» и «Татос» — они же устраивали рождественский «стол». Накануне нового года всем служащим военной миссии, также как и в нашей школе, были выданы наградные. Выдавал Такеучи. Перед ним, на столе, лежали кучкой длинные, продолговатые японские конверты. Прежде чем начать нас вызывать, он торжественно заявил: — «Самые большие наградные получает Ильин-сан, а потом Левицкая-сан». Как выяснилось, когда конверты оказались у нас в руках — я получил на 10 го-би больше полуторного оклада, который получило большинство, а Левицкая на 5 го-би.

Так проходила жестокая маньчжурская зима. Зубрили «опрос пленного», устраивали проверочные работы. В школе стало все тяжелее. Постоянно находились какие-нибудь причины чтобы нас задерживать до последнего урока. В апреле месяце, в первых числах Такеучи мне сообщил, что звонил Такенаучи и просил меня к нему зайти. Меня немного мучила совесть, что я давно не заходил к Такенаучи и как-то даже забыл о нем. Когда я вечером пришел, Такенаучи самого еще не было. Меня встретила Елизавета Ивановна и со своей несколько грубоватой манерой, открывая дверь, сказала: «И ку-

да это вы пропали? Неужели не было времени заглянуть? Он (она всегда про Такенаучи говорила «он») хочет вас опять в институт приглашать». Затем Е. П. принялась готовить «закуску» — она всегда была непрочь выпить. В это время пришел Такенаучи, поздоровался и молча сел. Японцы никогда не приступают к делу сразу. Они или молчат некоторое время, точно собираясь с мыслями, или, если заговорят, так непременно сначала о постороннем. Они, вообще, тугодумы. Там где человеку западного мира нужны несколько секунд, чтобы ответить на какой-нибудь вопрос, японцу необходима минута, полторы. Он внимательно выслушает, вберет воздух, м. б. начнет смеяться, чтобы было время сообразить, что кроется под вашим вопросом? Нет ли тут какой-либо каверзы? И затем, медленно, раздельно начнет отвечать. Нетерпеливая и несдержанная Елизавета Ивановна, несмотря на то, что жила в молодости в Японии, говорить по-японски никак не могла и, очевидно, не хотела привыкать к этим японским чертам и постоянно нападала на супруга. И тут она не выдержала. Расставляя тарелки, рюмки вдруг напустилась на него: «И что ж ты молчишь? Я ему уже все сказала!» Такенаучи словно спохватился и начал издали. Стал спрашивать про школу, как идут там занятия, какое у меня расписание, когда я освобождаюсь и т. д. и, наконец, спросил: «Вы согласились бы Ильин-сан поступить на три месяца в институт — апрель, май, июнь? Нам сейчас нужен лектор и как раз на старшем курсе, где вы уже преподавали. Как вы думаете... могли бы вы?» Я, конечно, с радостью согласился, об институте у меня сохранились добрые воспоминания. Теперь следовало только получить согласие Танака и Такеучи. «Ну, давайте спросим хорошее дело», заявила Елизавета Ивановна.

На следующий день я в очень радостном настроении, пораньше пришел в школу и прямо к Такеучи, который уже сидел за своим столом, с каменным лицом наблюдая, как собираются преподаватели. Я ни минуты не сомневался, что Такеучи не только будет согласен, но даже доволен, что одного из преподавателей школы приглашают в институт. И вот, когда я сказал, что меня пригласили в институт, Такеучи ничего мне не отвечал в продолжении нескольких минут. Я стоял у стола, а он сидел, смотрел куда-то на окна и молчал. Я уже чувствовал, что он чем-то недоволен, но никак не мог понять чем

именно? Наконец, он сказал: «Да, конечно, это очень хорошо и лестно для вас, но для нас это неудобно, это вас будет отрывать от работы в школе, наша школа гораздо важнее чем институт. Я, конечно, доложу об этом Танака-сан». Тут я пытался было доказать, что на школе это никак не может отразиться, что мои уроки можно давать утром до 12, а в институт я буду ездить после и то только три раза в неделю. Такеучи молчал и сидел как каменный. Для меня было ясно, что из всего этого ничего не выйдет. Как бы то ни было я совершенно не мог понять в чем же тут дело? Почему Такеучи не только не хотел меня отпускать, но явно был недоволен тем, что мне предлагал Такенаучи поступить в институт? Все это выяснилось позже, теперь же я был охвачен одним желанием попасть в институт и это желание было столь сильно, что я сделал весьма крупную ошибку, которая, однако, в виду сложившихся обстоятельств, никаких последствий не имела. Не дожидаясь что скажет Танака, я, как только кончил свои уроки, полетел к Ниимура. Он был основателем школы, затем был произведен в подполковники и до известной степени школа была в ведении 3-го отдела. Мне пришлось еще раз минут двадцать смотреть на то, как «богатырского сложения» японский солдат насаживает на штык «пигмеев» русских солдат, пока все тот же Труфанов не сообщил мне что «подполковник Ниимура меня ждет». Я сразу приступил к делу, сказав о предложении Такенаучи. Ниимура выслушал и начал расспрашивать о школе. Это продолжалось минут 10, пока он произнес: — «да, конечно, в институте очень хорошо, я думаю, что это не повредит вашей работе в школе?» Я начал доказывать, что никакого влияния на мое преподавание в школе лекции в институте иметь не могут... На некоторое время воцарилось молчание. Затем, Ниимура, словно что-то надумав, произнес: «Я скажу Танака-сан. Я думаю он согласится». На этом «аудиенция» закончилась. Когда на другое утро я вошел в учительскую, Такеучи, который уже сидел на своем месте, меня подозвал и начал издали: «Ну, почему Такенаучи-сан не обратился сначала ко мне? Если он хотел пригласить вас, он должен был сообщить об этом нам. Это военная школа — она гораздо важнее института!» Теперь все было ясно. Такеучи был сильно задет, что Такенаучи ничего не сказал ни ему, ни начальнику школы, а обратился прямо ко мне. Тут была субординация:

военные были неизмеримо выше штатских! Затем, Такеучи выразил неудовольствие, что я не дождавшись ответа, отправился к Ниимура: «Вам не надо было беспокоить подполковника Ниимура — сказал он, — вы должны были ждать ответа начальника школы». И неожиданно добавил: «Я сказал Дегтеву-сан, чтобы он вам составил удобное расписание, Танака-сан дал свое согласие». Таким образом дело уладилось, но я нажил себе в лице Такеучи если не врага, так недоброжелателя. Елизавета Ивановна мне потом говорила, когда я у нее «спрыскивал» поступление в институт, что супруг ее ни за что не хотел обращаться к Такеучи. Оказывается, штатские очень не любят обращаться к военным, а если еще к тому же он женат на иностранке, так он еще больше опасается иметь дело с военными. Но, как бы то ни было, в институт я попал.

*(Окончание следует)*

*И. С. Ильин*

# ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НЕОПРОВЕРЖИМОГО

## ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МОСКОВСКИХ СВЯЩЕННИКОВ ПАТРИАРХУ

Перед нами документ исключительного значения для всех, изучающих положение Православной Церкви в СССР.

Мы имеем в виду «Открытое письмо святейшему патриарху Московскому и всея Руси, Алексию», написанное приходскими священниками юрисдикции Московской патриархии — о. Николаем Эшлиманом, служащим в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Лышиковом переулке (гор. Москва) и о. Глебом Якуниным, служащим в храме иконы Казанской Божией Матери, в гор. Дмитрове (Московской епархии). Этот документ был представлен патриарху 13-15 декабря 1965 года. Одновременно копии этого письма были посланы всем епархиальным архиереям в СССР. И кроме того авторами «Письма» было послано соответствующее «Заявление» председателю президиума Верховного совета СССР Н. В. Подгорному, председателю Совета министров СССР А. П. Косыгину и генеральному прокурору СССР Р. А. Руденко. В этих заявлениях лидерам КПСС содержался юридически обоснованный протест против незаконных действий руководителей и уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР.

«Открытое письмо» по разным каналам дошло и до Запада, где было полностью опубликовано.\* Содержание его таково, что исключает какие бы то ни было предположения о возможности фальсификации. Данные, сообщенные в нем, убийственны

\* На русском языке «Открытое письмо» было впервые опубликовано в газете «Русская Жизнь» (Сан-Франциско, США). Сейчас с предисловием архиепископа Иоанна Сан-Францисского оно издано отдельной брошюрой. Оно опубликовано также в Русско-Американском Православном Вестнике, июнь-июль 1966 № 6/7.

для диктатуры. Содержание письма в ряде мест носит полусе-кретный характер, что явно взято из подлинной церковной жизни в СССР и подтверждает то, что диктатура всячески пы-тается скрыть от западного общественного мнения.

Прежде всего «Открытое письмо» священников о. Нико-лая Эшлимана и о. Глеба Якунина показывает, что в Русской Православной Церкви в СССР есть явная оппозиция политике Московской патриархии. Это движение недовольства внутри Русской Православной Церкви в СССР началось с 1957 года и направлено, с одной стороны, против политики коммунистической диктатуры, стремящейся разорить и уничтожить Церковь, а с другой — против церковной политики Московской патриархии, идущей на всемерное угождение власти.

«Открытое письмо» патриарху Алексию — потрясающий документ, написанный с необычайной смелостью и большой богословской эрудицией. Оно свидетельствует и о том, что религиозное сопротивление внутри Русской Православной Церкви достигло значительной силы. Ибо такое выступление трудно выполнимо, если за авторами нет силы, на которую они опираются. И это не только сила духовная, т. е. их несомненная и безграничная вера в Промысел Божий ( что сквозит во всем документе), но и сила массы верующих. «Открытое письмо» по своему духу и настроению носит печать подлинной собор-ности, являясь как бы голосом всей плененной Церкви.

Нам точно неизвестно к какому поколению духовенства принадлежат авторы «Открытого письма». Люди ли они старшего возраста, быть может принадлежащие к поколению отцов или даже дедов и органически связанные с плеядой духовных лиц — мучеников, пострадавших в годы сталинщины, или это молодые священники, питомцы духовных семинарий и акаде-мий, созданных Московской патриархией? Как бы то ни было, мы видим перед собою смелых, несклоняющихся перед властью служителей Церкви, пошедших на открытое мученичество, для того, чтобы как-то повлиять на то положение, в котором находится Церковь в наши дни в СССР. Неизбежные прещения духовной власти и кара диктатуры их не поколебали.

В чем же ценность их «Открытого письма»? Ценность чрезвычайная. Во-первых, «Открытое письмо» полностью подтвердило то, что писала о гонениях на религию и на Церковь в СССР значительная часть русской зарубежной печати. «Откры-

тое письмо», обличающее и Московскую патриархию и диктатуру, дает нам ряд новых и важных фактов, неизвестных до этого на Западе. «Открытое письмо» совершенно рассеивает иллюзорность представлений, имевшихся на Западе, относительно действительной роли Московской патриархии и уничтожает все основания относиться к ней как к нормальной церковной власти. Это, однако, не дает нам права упрощать проблему центральной церковной власти в СССР, ибо она весьма сложна.

Характерно, что оба священника, будучи священнослужителями, находящимися в юрисдикции Московской патриархии, не только выступили с обличением последней, но частично указали и на неправомочность путей исторического развития «сергиевского» церковного курса в смысле его направления к ликвидации церковной свободы в угоду власти. Авторы «Письма» пишут:

«...получив очевидную историческую возможность послужить великому делу церковного возрождения, Московская Патриархия не использовала эту возможность в главнейшем духовно-каноническом пункте. Вместо того, чтобы отказаться от бесплодной и пагубной тактики «сергиевского» периода, позволившей поставить Русскую Церковь перед угрозой полного уничтожения всех легальных форм ее гражданского существования, и возвратиться на спасительную стезю, завещанную патриархом Тихоном, современное церковное управление возвело порочную практику «сергиевского» периода в руководящее правило своей деятельности. Современное управление Русской Православной Церкви утратило многое из тех духовных сокровищ, которые передали нам наши предки, но духовный недуг наших предков Московская Патриархия не только возродила, но и значительно приумножила.

В этом смысле подчинение Московской Патриархии негласному устному диктату чиновников-атеистов и поддержанное Архиерейским Собором 1961 г., Синодальное постановление, поставившее пастыря в положение наемника, нанесло русской церковной жизни такой удар, которого не наносили ей даже такие противники церковной свободы и насильники Святой Церкви, как Петр I и Екатерина II».

«Письмо» ярко и определенно говорит о чрезвычайно тяжелом положении церкви в СССР.

Перечислим главные пункты «Письма». Полная пленен-

ность Православной Церкви в СССР. Абсолютная подчиненность Московской патриархии органам государственной власти. Неоднородность состава Церкви в смысле духовных наставлений ее членов и клира и наличие в ней сильной оппозиции к церковной политике Московской патриархии. Широкая поддержка Церкви со стороны верующих. Наличие жесточайших гонений на религию, выражающихся прежде всего в массовом насильственном закрытии церквей, монастырей, молитвенных домов; цифры, приводимые в «Письме» составляют 10.000 закрытых храмов. Насильственное закрытие духовных учебных заведений. «Письмо» подтверждает также ограничение деятельности Церкви до пределов необходимых лишь для совершения богослужения; запрещение миссионерской деятельности Церкви, ее общественной и благотворительной деятельности; отмечается цензура проповедей и начавшееся вмешательство власти даже в культурную жизнь Церкви. Далее — ограничение прав духовенства в области приходской деятельности, насильственное лишение его возможности заниматься пастырской деятельностью. Запрещение преподавания Закона Божьего. Запрещение детям посещать храмы, недопущение несовершеннолетних к Св. Причастию, насильственное отнятие детей у верующих родителей. Все это характеризуется в «Письме» как «детоборческая практика».

Далее в «Письме» указывается на почти полное ограничение возможностей совершать требы и введение их обязательной регистрации, при помощи чего власть оказывает давление на верующих. Открытые гонения на верующих вплоть до увольнения с работы, исключение верующих учащихся из вузов, техникумов и школ, дискредитация верующих в печати и иными формами пропаганды, административное давление на них, причисление верующих к туземцам и суды над ними. Аресты и ссылки духовенства и активных верующих в специальные концлагеря. Подтверждается и дата начала новых гонений на религию, определенная нами в свое время 1957 годом. Авторы «Письма» пишут:

«За последние сорок лет Русская Церковь пережила два периода массового закрытия храмов. В первый раз это было во времена становления культа личности Сталина, второй раз — во время правления Хрущева. За краткий период 61-64 гг. были закрыты тысячи православных храмов. Закрыты вопреки

желанию верующих, в нарушение гласного законодательства, без соблюдения предусмотренной законом процедуры.

Тяжкое бедствие постигло Русскую Церковь. Одна утрата следовала за другой: Глинская пустынь, древнейшая святыня земли Русской, Киево-Печерская лавра, Свято-Андреевский собор, в котором почивали св. мощи великомученицы Варвары, кафедральный собор в Новгороде, Св. скит Почаевской лавры, тысячи храмов Украины и Белоруссии, монастыри Закарпатья и Молдавии, святые храмы России! Беда обрушилась и на очаги христианского просвещения: одна за другой были закрыты семинарии в Киеве, Ставрополе, Саратове, Волыни, Жировицах. Горестный вопль потряс Русскую Церковь!»

Положение Русской Православной Церкви в СССР, в частности, ее плененность не является, конечно, для нас чем то новым. Трагические взаимоотношения иерерхии, духовенства и верующего народа с властью достаточно известны. Но формулировка «Письма», что — «Русская Церковь тяжело и опасно больна, и болезнь Ее всецело от того, что Церковная власть уклонилась от исполнения своего долга, отступив за тот предел, «далее которого нельзя идти», — вносит в наши представления о церковной политике Московской патриархии нечто новое. Это уже не только политика, но, повидимому, кризис этой политики, приведший Московскую патриархию на край пропасти. Опасная болезнь, церковный недуг, — так сегодня характеризуется политика Московской патриархии голосами, идущими из глубин самой Церкви. И этим голосам надо верить.

Совершенно ясно и недвусмысленно уточнено в «Письме» нынешнее положение Совета по делам Русской Православной Церкви (РПЦ). За последние годы (очевидно, с момента ухода Карпова и назначения Куроедова) Совет изменил свое лицо и, из более или менее нормального государственного органа, посредника между Церковью и государством, превратился в орган неофициального, диктаторского, незаконного управления Московской патриархией, полностью подчинив ее себе.

Нам не были известны подробности этого «метода управления» со стороны Совета по делам РПЦ. Письмо вскрыло это и сегодня перед нами предстают во всем своем безобразии привычные, лживые, коварные методы грубого администрирования деятельности Московской патриархии со стороны Совета по де-

лам РПЦ. Все это характеризуется таким отрывком из «Письма»:

«Сугубая вина Церковного Управления состоит в том, что оно пошло по пути подчинения неофициальным устным распоряжениям, которые, в нарушение гласного советского законодательства, Совет по делам РПЦ избрал средством систематического и разрушительного вмешательства в жизнь Церкви. Телефонные распоряжения, устный инструктаж, нигде не зафиксированные неофициальные соглашения — вот та атмосфера нездоровой таинственности, которая густым туманом окутала отношения Московской Патриархии и Совета по делам Русской Православной Церкви».

Было известно, что в целях сокращения деятельности Церкви по духовному окормлению верующих, власть оказывала давление на последних в смысле устрашения их некими «далеко идущими последствиями». Для этого была введена обязательная регистрация всех желающих совершить те или иные церковные требы. Это не ново. Но совершенной новостью является то, что эти беззакония, в частности регистрация треб, были покрыты святительским омофором патриарха Алексия, его циркуляром от 22 декабря 1964 г. за № 1917. Об этой убийственной подробности «Письмо» говорит так:

«Дело в том, что за последние годы в подавляющем большинстве приходов введен такой «порядок», при котором таинство крещения совершается только после предварительной и неизбежной регистрации. Каждый, желающий принять Св. Крещение или крестить своих детей, обязан предварительно предъявить свой паспорт представителю церковного совета, который регистрирует его (или свидетельство о рождении) по определенной форме. Сверх того, при крещении детей требуется непременно присутствие обоих родителей. Такой же незаконной регистрации подвергаются и другие требы: Венчания, Соборования и Причастие на дому, Отпевание.

Управлению Московской Патриархии известно, что акты регистрации крестин и других церковных треб систематически просматриваются местными органами власти и, до недавнего времени, использовались антирелигиозниками для грубой травли родителей, крестивших своих детей, венчавшихся и т. д. Их «прорабатывали» по месту работы или учебы, подвергали «административному воздействию», на них помещались карикатуры наравне с пьяницами, развратниками и бездельниками,

их имена с нелестными комментариями склонялись в прессе и т. д.

В настоящее время антирелигиозники продолжают использовать регистрацию церковных треб, которую местные органы власти получают из рук церковных советов, для идеологической борьбы с Церковью и для незаконного вторжения в личную религиозную жизнь граждан».

Весьма характерна такая деталь. Все распоряжения свои (противоречащие существующим на бумаге законам) органы власти отказываются подтверждать письменно. Существенно в связи с этим указание, что подобная практика власти подрывает доверие народа к Церкви, ибо у последней нет никаких доказательств, что то или иное совершается по приказу власти. Это, в свою очередь, создает серьезные препятствия для тех, кто хочет войти в лоно Церкви. Авторы «Письма» пишут: — «...безоговорочное подчинение Московской Патриархии неофициальному устному диктату чиновников-атеистов, с одной стороны, и поддержанное Архиерейским Собором 1961 г. синодальное постановление, исторгнувшее административную хозяйственную власть из рук Церковной Иерархии и фактически передавшее ее в руки местных органов власти, с другой, целенаправленно осуществляет один и тот же греховный и богопротивный замысел — постепенное превращение Церкви Христовой в служебный придаток безрелигиозного государства. Да не будет!»

Как уже было указано «Письмо» полностью подтверждает сообщения зарубежной печати о насильственном закрытии храмов, монастырей, духовных семинарий. Но абсолютной новостью является то, что в связи с этим: —

«Поток жалоб и заявлений, подписанных тысячами православных, хлынул к епархиальным архиереям и в Управление Московской Патриархии. Сотни ходатаев переполняли в эти дни канцелярии правящих епископов. За тысячи километров приезжали посланцы бедствующих приходов и монастырей в Москву, ища защиты и покровительства Святейшего Патриарха.

Увы, напрасны были надежды!

С вежливым равнодушием, с холодным бессердечием, как докучливых просителей встречали епархиальные канцелярии ходатаев церковного горя!

Имея возможность оказать действенную помощь, боль-

шинство епископов Русской Церкви не нашли в себе мужества встать на защиту своей паствы».

Реакция церковной власти на происходившее по-человечеству может быть и понятна, хотя и не заслуживает снисхождения. Но особенно страшно то, что нашлись архиереи, прямо помогавшие власти в ее богоборческой деятельности при полной пассивности других. Правда, «Письмо» говорит и о том, что нашлись также героические архипастыри, восставшие против чинимого беззакония (Ермоген, архиепископ Калужский). Чрезвычайно существенно указание «Письма», что архиереи могли все же как то, опираясь даже на советские законы, противодействовать происходящему.

Нам хорошо известно, что совершение треб на дому и на кладбищах фактически запрещено советской властью. «Письмо» уточняет, указывая, что фактическое запрещение треб осуществляется уже в продолжение пяти лет, т. е. с 1961 года. Новым же в этом является то, что при очередной перерегистрации духовенства в 1961-62 г.г., всем священнослужителям было предложено подписать опять-таки негласное распоряжение власти, предписывающее совершать требы на дому и панихиды на кладбище только с разрешения местных властей, которое фактически никогда не выдается.

Совершенно новым для нас является указание «Письма» на то, что хиротонии (рукоположения) тех или иных лиц в духовный сан совершаются только с санкции власти. Это незаконно и с юридической точки зрения и антиканонично с церковной.

«...В последние годы в Русской Церкви установилась такая практика, при которой ни одна хиротония во епископа, пресвитера и диакона не совершается без неизбежной предварительной санкции чиновников Совета по делам РПЦ. Используя все те же испытанные методы негласного диктата, чиновники Совета всячески препятствуют рукоположению тех лиц, в которых Совет видит потенциальную силу, способную в дальнейшем противостоять незаконным действиям безбожников, направленным на разрушение Св. Церкви. Руководствуясь этим принципом, чиновники Совета производят тенденциозный отсев абитуриентов духовных учебных заведений, лицемерно прикрываясь заботой о благе Церкви, препятствуют рукоположению достойных священников, не имеющих духовного обра-

зования, не позволяют лицам, получившим высшее светское образование, отдать свои силы на служение Св. Церкви...

Кроме того, Совет по делам РПЦ способствует проникновению в ряды пастырей и дальнейшему продвижению по службе лиц, нравственно неустойчивых, маловерных, а иногда и вовсе беспринципных, способных служить злему делу — разложению Св. Церкви, а в подходящий момент и вовсе отречься от Христа».

Исходя из этого положения, мы можем сделать бесспорный вывод, что некоторые современные «князья Церкви» в СССР, при коренном изменении обстановки, могут быть на канонических основаниях лишены сана постановлением законной церковной власти. И опять снова подчеркивается в «Письме», что существующее положение вещей это — результат попустительства Московской Патриархии. Заканчивая первый раздел своего «Письма» авторы его пишут:

«Подводя итоги всему вышеизложенному, должно сказать следующее: противозаконная регистрация крестин, ставящая пастырей Русской Церкви в положение доносчика на тех, кто вверил себя покровительству Матери-Церкви, массовое закрытие св. храмов, монастырей и духовных школ, фактическое прекращение треб на дому и панихид на кладбищах, антиевангельская, бессердечная и незаконная практика принудительного удаления детей от Церкви, наконец, пагубное вмешательство безбожников в поставление духовенства — таковы горькие плоды и несомненные свидетельства безоговорочного подчинения Московской Патриархии неофициальному устному диктату чиновников-атеистов».

Второй раздел «Письма» посвящен принудительной приходской реформе 1961 г. Эта реформа находится в противоречии с приходской практикой Русской Православной Церкви и с «Положением об управлении РПЦ», принятом Поместным Собором 1945 г. В том, что пишут об этом авторы «Письма» нового почти нет. При том, с точки зрения церковной практики, а особенно церковной практики в западном мире, выводы авторов «Письма» в некоторых своих частностях могут быть даже несколько спорны, т. к. в данном вопросе в церковных кругах есть различные мнения. Но, безусловно, в советских условиях принудительные изменения Положения 1945 г. надо

рассматривать не с точки зрения внутренних разногласий среди православных церковных деятелей, а как очередную и грубую попытку диктатуры ослабить Церковь, ограничить влияние духовенства на приходскую жизнь, попытаться внести хаос в жизнь приходов. При этом все указанное делается на основе примитивной и сугубо материалистической точки зрения, видимо, считающей экономическую базу Церкви основой всего. Именно поэтому «приходская реформа» 1961 г. лишила священника каких бы то ни было административно-хозяйственных функций.

«Письмо» свидетельствует и о том, что принудительная приходская реформа открыла новые возможности элементам, которые при старом положении вещей не могли действовать открыто. Отстранение духовенства от административного управления приходом привело к тому, что этим воспользовались разные темные элементы, имевшиеся внутри приходов и сразу же поднявшие голову. В приходах начались нестроения. Кроме того, исполнительные органы церковных советов, ставшие независимыми от священника, полностью попали в руки местных гражданских властей и уполномоченных Совета по делам РПЦ, а те начали делать с ними, что хотели. Авторы «Письма» пишут:

«Пример избрания и поставления семи диаконов не только не дает основания для «освобождения» пастыря от руководства хозяйственно-административной деятельностью общины, но, напротив того, непререкаемо свидетельствует о том, что подчинение всех сфер церковной жизни иерархическому началу есть подлинное Апостольское Предание».

Излагая бедственную картину нынешнего положения Церкви в СССР, авторы «Письма» ставят главный вопрос: почему высшая церковная власть в стране превратилась в послушное орудие в руках чиновников-атеистов и почему духовенство молчит об этом беззаконии? И отвечают на это так:

«...В Русской Церкви есть ряд епископов и пресвитеров, которые сознательно служат беззаконию. Это те, кто стяжал недобрую славу усердных закрывателей православных храмов, те, кто любое распоряжение местного уполномоченного почитает более Евангельского слова и Церковных канонов, это те, кто отлучает детей от Святого Причастия, кто ругается Цер-

ковной Святыне,\* кто продавал своих братьев, те, — кто вовсе потеряв страх Божий, — помогает антирелигиозникам в их стремлении разрушить Святую Церковь...

...В Русской Церкви действует целая группа епископов и священников, которые под видом благочестия сознательно и активно искажают дух Русского Православия. Эти люди возымели лукавый помысел развратить Русскую Церковь — насадить в ней дух теплохладности, дух раболепия и фарисейства, тлетворный дух «мира сего», а высшее церковное управление они хотели бы превратить в чиновничью канцелярию, в своего рода «министерство по делам православного вероисповедания», уполномоченное сдерживать и регулировать религиозные эмоции верующих граждан».

Существенно дополняет приведенное выше и расширяет наши представления о происходящем следующая, весьма важная фраза «Письма»: — «Вторая немалая опасность заключается в том, что подавляющее большинство даже епископов и пресвитеров, которые крайне недовольны нынешним положением Русской Церкви, молчат и своим тяжким молчанием способствуют его ухудшению».

Значительный интерес представляют собой, если можно так выразиться, «преобразовательные настроения» авторов «Письма», свидетельствующие о их глубокой богословской и общекультурной подготовке. Ясно, что мы имеем дело здесь не с рядовыми приходскими пастырями, а с людьми, стоящими на весьма высоком пастырском и общекультурном уровне. «Письмо» это вышло из-под пера мыслящих и образованных людей.

«Двадцатый век, — пишут авторы «Письма», — трагический век мировых войн и великих социальных потрясений, век стремительного развития науки и все возрастающей технической мощи, век великих открытий и не менее великих заблуждений — поставил Святую Церковь перед духовной необходимостью нового творческого преобразования христианского учительства. В наше время необходимость такого преобразования остро переживается всем христианством. Наиболее ярко сви-

---

\* Вопиющим тому примером может служить кощунственное захоронение св. прославленных мощей Святителя Феодосия Черниговского, по требованию местного уполномоченного, совершенное епископом Игнатием.

детельствует об этом 2-й Ватиканский Собор Католической Церкви и деятельная подготовка Мирового Православия ко Вселенскому Собору. Нет никакого сомнения в том, что к великому вселенскому делу нового христианского возрождения Русская Церковь имеет особое призвание».

Весь третий раздел «Письма» представляет собою историко-богословский очерк развития российского Православия в связи с развитием общероссийской культуры. В этом разделе авторы решительно восстают против петровской церковной реформы и против последующей правительственной политики по отношению к Церкви, против низведения высшего церковного управления до уровня государственного ведомства. Напоминающая, что против такой политики Церкви в свое время выступали лучшие представители Церкви и многие представители русской культуры, авторы «Письма» говорят о недопустимости повторения подобных явлений. Авторы «Письма» совершенно ясно говорят о том, что руководители Московской Патриархии, еще со времени местоблюительства митрополита Сергия (Старгородского), постепенно возродили в РПЦ «синодские» порядки, причем в несравненно более тяжелой форме, т. к. на месте государственного чиновника-христианина, во главе церковного управления стали теперь чиновники-атеисты.

Говоря о многовековой связи русской культуры с Православием, авторы «Письма» пишут:

«Гениальные поэты и провидцы земли русской — Гоголь, Достоевский, Тютчев, Владимир Соловьев и Вячеслав Иванов, пророчески предвидя приближение времен «страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную» (Лк. 21, 26), и осознав, что нет иного пристанища обуреваемому грехом человеку, кроме камня веры, звали отпадающее от Христа человечество вернуться в Дом Отчий — Церковь Божию.

Во имя Божие духовно воинствовала на Руси когорта прославленных мыслителей: Хомяков, Киреевский, Леонтьев, Владимир Соловьев, Сергей и Евгений Трубецкие, Эрн, отец Павел Флоренский, протоиерей о. Сергей Булгаков, Лосский, Шестов, Франк, Бердяев».

Что же советуют патриарху авторы «Письма»? Их советы сводятся к следующему: 1) Созыв очередного Всероссийского Церковно-Поместного Собора с самым широким представительством. 2) Обратиться к власти с ходатайством об урегу-

лировании взаимоотношений Церкви и государства и о прекращении противозаконной практики вмешательства в дела Церкви со стороны различных органов власти и Совета по делам РПЦ. Требования к власти имеют целый ряд пунктов, указывающих на все творимые диктатурой беззакония.

Авторы «Письма» утверждают, что в Церкви с каждым днем растет и укрепляется движение, требующее скорейшего пересмотра того положения, которое существует сейчас. И здесь исключительный интерес приобретает указание авторов «Письма» на то, что летом 1965 г. восемь православных епископов, во главе с архиепископом Калужским Ермогеном, подали патриарху Алексию заявление, критикующее постановления Архиерейского Собора 1961 г.

Обращаясь к патриарху, авторы «Письма» говорят:

«Отдайте Богу — Божие и кесарь сполна получит свое!

Ибо подлинно — интересы Церкви в гражданской сфере совпадают с интересами свободного и правового Государства.

Но только положив конец вмешательству «мирских начальников» в святую область, «Божия» Русская Церковь сможет нелицемерно и действительно послужить нашему Отечеству. Самим фактом своего свободного бытия Она будет свидетельствовать перед всем миром о том, что в нашей стране действительно осуществляется священное право человека на религиозную свободу. Только такое свидетельство может иметь вес в глазах миллионов людей доброй воли во всех странах мира и свидетельство это невозможно подменить ложью. Ибо никакие ухищрения Иностранного отдела Московской Патриархии, никакие интервью и «авторитетные» заявления, никакое участие русских архиереев в международных движениях не в силах доказать того, чего нет — свободного бытия Русской Церкви.

Но то, чего не может сделать ложь, делает правда!

Только будучи свободной, Церковь способна воспитать своих чад в духе подлинного патриотизма, не из корыстного страха перед властями, но из любви к Отечеству. Только будучи свободной, Церковь может оказать действительную помощь государству во всех его благих начинаниях».

Заканчивая краткий разбор «Открытого письма», хочется еще раз подчеркнуть, что оно представляет собой документ исключительной важности для понимания положения Церкви в СССР. И для понимания тех настроений, которые побуждают

отдельных смелых представителей Церкви к открытым выступлениям.

«Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее» (Песнь Песней, 8, 7) — движение за созыв нового Всероссийского Церковно-Поместного Собора, действительно являющего собой светлый лик Русской Церкви, началось и, милостью Божией, не прекратится до тех пор, пока Собор этот не будет созван», — говорят авторы «Письма».

Какова же судьба отца Николая и отца Глеба, авторов этого замечательного письма? Было, конечно, ясно, что за их выступление на них обрушатся кары и диктатуры и центральной церковной власти. По дошедшим на Запад сведениям, власть заключила обоим священников в психиатрическую больницу. Сила обличительного документа была, видимо, настолько велика, что власть не решилась пока на более крутые меры. Что же касается Московской Патриархии, то и она пошла по тому же пути, ограничившись лишь запрещением священно-служения обоим священникам. На большее, т. е. на снятие сана, Патриархия не пошла. Растерянность в Московской Патриархии и в Совете по делам РПЦ была, очевидно, сильна, если потребовалось почти полгода, чтобы вынести решение о запрещении священнослужения обоим священникам.

Решение о запрещении отца Николая и отца Глеба несомненно фактически связано и с решением Синода, имевшим место в конце 1965 года, об увольнении за штат героического архиепископа Ермогена, возвысившего свой голос против творящихся беззаконий. Но эти мрачные беззакония не лишают авторов «Письма» веры в судьбу Русской Православной Церкви. Они пишут:

«Тяжко страдает Русская Церковь! Велики ее скорби, горьки ее печали, но мы глубоко уверены, что болезнь сия не к смерти, но к славе Божией! Ибо не для того Пресвятая Владычица приняла Русскую Церковь под Свой милостивый Покров, не для того проповедывали славянские первоучители, не для того светлый сонм русских святых предстоит в Церкви и «невидимо за ны молится Богу», не для того просиял в сердце земли Русской великий угодник Божий — Преподобный Сергий, не для того обильно излилась священная кровь русских мучеников, не для того тысячу лет звучит над Русской землей пасхальный благовест, с такой всепобеждающей силой, с какой

не звучит он нигде в мире — чтобы все это богатство, весь этот священный залог, вся эта красота и слава завершились жалкой канцелярией — покорным орудием нецерковных сил!

Да не будет!»

*Прот. Д. Константинов*

# РУССКИЙ ЮРИСТ В ЭМИГРАЦИИ

РЕЧЬ НА ЧЕСТВОВАНИИ 50-ЛЕТИЯ НАУЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. С. ТИМАШЕВА

Много лет назад, летом 1922 года в Берлине собрался Съезд русских зарубежных юристов. Я был тогда совсем молодым эмигрантом, лишь недавно приехавшим из России после четырех лет изоляции в Киеве в эпоху гражданской войны и военного коммунизма, и с большим интересом ходил на заседания этого Съезда. Сначала я был несколько разочарован: прения проходили вяло. Большинство речей состояло из жалоб на бесправное положение русских беженцев в разных странах, на трудности в получении виз, права на труд, социальной помощи и т. д.

Но вот на трибуну взошел молодой профессор, приехавший из Праги, и произнес речь, глубоко взволновавшую аудиторию. Тема ее была — «Советская власть и русское право» и его речь прозвучала, как «крик души», как горькая жалоба человека, на глазах которого разрушают то, чему он служил и чему хотел посвятить свою жизнь.

Это был Николай Сергеевич Тимашев, тогда еще молодой человек, но уже с научными заслугами в прошлом,<sup>1</sup> и несомненно с блестящим научным будущим. Учитывая все, что он мог сделать в качестве эмигранта, можно с уверенностью сказать, что при нормальных условиях ему предстояло стать одним из корифеев русской науки права.

В области криминалистики, которой он тогда специально занимался, после ухода И. В. Фойницкого и Н. С. Таганцева, первое место оставалось свободным и надо думать, что именно Н. С. Тимашев его бы занял.

---

<sup>1</sup> В 1914 г. в Петербурге вышел его большой труд «Условное осуждение». Ряд его докладов в Петербургском юридическом обществе («Преступное возбуждение масс», «Религиозные преступления по русскому праву» и др.) был напечатан в «Журнале Министерства Юстиции» и отдельными брошюрами.

Но судьба и пути истории поставили перед ним иные задачи.

То, что я услышал из уст Николая Сергеевича на Съезде зарубежных русских юристов, было больше всего проявлением накопившихся чувств, но он и тогда умел сохранить интеллектуальный облик ученого, который верит в силу науки и не забывает об обязанностях, налагаемых наукой на своих служителей. В 1925 году в Праге вышел, под редакцией Н. С. Тимашева и Н. Н. Алексева, сборник статей под заглавием «Право Советской России». В предисловии к этому сборнику Тимашев писал: «Изучение права Советской России ... представляется подлинной необходимостью. Оно необходимо прежде всего для того, чтобы иметь возможность не только в общей форме отрицать его, но и опровергать часто встречающиеся за пределами России отличные представления о нем».

Кроме предисловия, перу Тимашева принадлежат в сборнике две статьи — о судостроительстве и об уголовном судопроизводстве. Незадолго перед тем появился «Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР». Это был один из первых кодексов, изданных советской властью, и он усиленно комментировался в западной юридической печати. В своей статье Тимашев со свойственным ему талантом чеканить формулы дает следующее определение этих первых шагов советской кодификации: — «В противоположность законодательным актам первых лет советской власти, которые соответствуют эпохе неорганизованного бесправия,.... Уголовно-Процессуальный кодекс является детищем **организованного бесправия**, сознательно проводимого властью, создающей для его реализации специальный аппарат и снабжающий этот последний соответственными правилами».<sup>2</sup>

Тут, можно сказать, каждое слово на месте и каждое слово продумано, и эту точку зрения, формулированную уже в 1925 г., Н. С. Тимашев проводит во всей своей дальнейшей работе по анализу и критике советского законодательства.

В том же 1925 году вышел на немецком языке труд Тимашева «Основы советского государственного права».<sup>3</sup> Здесь он развивает мысль, что советская власть представляет собой нечто двойственное: с одной стороны государственный аппарат,

<sup>2</sup> «Право Советской России», т. II, стр. 309.

<sup>3</sup> “Grundzuege des Sowjetrussischen Staatsrechts”.

а с другой коммунистическая партия, причем правительственные органы являются только показным лицом советского режима, а действительный суверенитет принадлежит партии. Теперь эта концепция стала ходкой монетой, но в 1925 г. на Западе, и в частности в Германии эпохи договора в Рапалло и секретного сотрудничества Рейхсвера с советской армией, она была еще новостью. В своей книге Тимашев доказывает ее путем объективного анализа всех проявлений этой двойственности в советской действительности и полного подчинения государственного аппарата партийному, на всех уровнях, начиная с Политбюро в Москве и кончая комячейками в глухих провинциальных углах.

Так с первых шагов в эмиграции Тимашев поставил себе задачу, которая вместе с тем, по его мнению, должна была быть задачей всех русских юристов за рубежом. Можно сказать, что никто так добросовестно не исполнил этой задачи, как сделал это за протекшие годы Н. С. Тимашев. В сборнике статей в честь Н. С. Тимашева «На темы общие и русские», изданном в минувшем году в Нью-Йорке, помещена библиография печатных работ Н. С., составленная его дочерью. Я подсчитал в ней не менее пятидесяти статей и книг на разных языках, которые он написал по вопросам советского права.

Академическая деятельность Н. С. Тимашева в Америке протекала преимущественно в области социологии, но он и здесь оставался юристом. Его основной темой было приложение социологических методов и идей к проблемам науки права. В соответствии с этим, он в своей главной работе «Введение в социологию права»<sup>4</sup> пытается дать социологическое обоснование основных правовых институтов и путей их исторического развития.

В предисловии к этой книге Тимашев указывает, что в основе ее лежат курсы лекций, которые он читал еще в 1916-1920 годах в Петербургском Политехническом Институте, и что первоначальная рукопись книги пропала при его эмиграции в 1921 году.<sup>5</sup> Таким образом, концепция «социологии права» созрела в его уме уже полвека назад в России. Между тем,

<sup>4</sup> "Introduction to the Sociology of Law" (Cambridge 1939).

<sup>5</sup> Недавно выяснилось, что эта рукопись, к счастью, не была уничтожена и, по всей вероятности, хранится в архиве Публичной Библиотеки в Ленинграде.

даже этот термин тогда еще редко встречался в русской юридической литературе и уж конечно ни в одном русском университете не существовало кафедры по социологии права. Н. С. Тимашев может по праву считаться пионером в этой области среди русских ученых, причем, — в отличие от другого русского социолога, недавно скончавшегося профессора Сорбонны Г. Д. Гурвича, — социология не увела Тимашева от науки права, но, напротив, углубила и расширила его юридические концепции.<sup>6</sup>

Наряду с занятием социологией, Н. С. Тимашев в свои американские годы продолжал упорно и неутомимо выполнять ту функцию, которую он еще в 1925 году провозгласил основной задачей русских юристов в эмиграции, — критический анализ текущего советского законодательства и распространение правительных сведений о нем среди иностранцев. Думаю, что среди всех юристов, русских и иностранных, не было человека более квалифицированного, чтобы эту задачу выполнить, и не было на всем свете места, где выполнение этой задачи было бы более своевременным и необходимо.

Мы все помним, что в 1930-х и 1940-х годах в Америке наблюдалось про-советское поветрие, притом не только в формах политического большевизанства, но и в виде возникшего у многих американских юристов довольно наивного поклонения советскому праву. Ряд молодых профессоров на средства разных фондов отправлялись в Москву, слушали там несколько месяцев лекции на юридическом факультете и обучались русскому языку достаточно, чтобы разбираться в юридических текстах. По возвращении в Америку эти юристы выступали со статьями и лекциями, полными не только почитания, но порой даже возвеличивания советского права, которое они во многих отношениях ставили в пример Западной Европе и Америке. В этом вошедшем в моду направлении, основанном на полном неведении политической подоплеки советского права и дейст-

---

<sup>6</sup> Следует упомянуть, что при активном содействии Н. С. Тимашева и с его предисловием в Америке вышел в свет сокращенный перевод главных трудов известного русского философа права Л. И. Петражицкого:

L. Petrazhitzki, "Law and Morality". Translated by High W. Babb, Introduction by N. S. Timasheff, Cambridge, Harvard University Press, 1955.

вительных условий жизни в советской России, и на незнакомстве с тем, чем советское законодательство обязано старому русскому и западно-европейскому, таился для американского юридического мира большой соблазн.

На борьбу с этим соблазном выступил во всеоружии своих знаний и способностей Н. С. Тимашев. Он написал с этой целью множество статей в американской юридической прессе, а одна его статья на эту тему появилась в «Новом Журнале».<sup>7</sup>

«Чтобы понять (советское) право, — читаем мы в этой статье, — надо иметь ясное представление о советской действительности в ее целом и отчетливое знание дореволюционного права, его истории и сложного взаимоотношения с правом Западной Европы... Отсутствие этих предпосылок часто обнаруживается в трудах иностранных юристов, подходящих к советскому праву. Не понимая его подлинной природы, они склонны усматривать в нем новое откровение...». После этой, как всегда у Тимашева отчетливой и меткой формулировки своей общей мысли он приступает к анализу двух появившихся незадолго перед тем книг американских юристов о советском праве, и шаг за шагом, в корректной и парламентарной форме подвергает их самой уничтожающей критике.

Интересно отметить, что через несколько лет, когда эта про-советская волна стала спадать, один из двух авторов, которых Тимашев в своей статье так жестоко раскритиковал, пригласил Тимашева в свою аудиторию в Колумбийском университете и просил его прочесть лекцию своим студентам о появившемся тогда новом советском Уголовном кодексе. Это был, между прочим, единственный случай, когда мне пришлось слышать выступление Николая Сергеевича по-английски. Должен сказать, что он в совершенстве овладел английским языком и был на нем прекрасный лектор. Я понимаю его успех у американских слушателей.

После моей первой встречи на Съезде зарубежных русских юристов я больше не видел Н. С. Тимашева ни в Германии, ни во Франции. Мы встретились вновь лишь в 1942 году в Нью-Йорке, когда здесь был основан Кружок русских юристов, имевший целью установить общение между представите-

<sup>7</sup> «Советское право в американском освещении». Кн. 26, стр. 294-303, 1951 г.

лями старой русской адвокатуры, судебного мира и профессоров юридических факультетов. Н. С. тотчас после основания Кружка вступил в число его членов и вслед затем бессленно избирался одним из членов нашего правления.

Мы всегда гордились участием Н. С. Тимашева в нашей организации и высоко ценили каждое его выступление. Мы смотрели и смотрим на него так, как в эпоху бумажных денег смотрят на полноценную золотую монету. Своим примером он показал, что русский юрист в эмиграции, несмотря на все превратности судьбы, может хорошо послужить своей науке и своей родине.

*А. Гольденвейзер*

# ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ДИКТАТУРА КПСС

Как известно, 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея Объединенных Наций приняла Всеобщую Декларацию Прав Человека. Эта Декларация является документом огромного политического значения. Она устанавливает круг тех элементарных экономических и общественно-политических прав, которые должны быть обеспечены каждому человеку в каждом государстве.

Малая Советская Энциклопедия излагает содержание этой Декларации так: Всеобщая Декларация Прав Человека «провозглашает элементарные права личности: равенство всех людей перед законом, право каждого человека на свободу и личную неприкосновенность, тайну переписки, свободу мысли, совести, религии, право на социальное обеспечение, труд, отдых, образование и др.» При чем МСЭ высказывает и отношение советского правительства к этой Декларации: «В связи с тем, что Декларация не содержит реальных гарантий провозглашенных прав, делегации СССР и стран народной демократии воздержались при голосовании Декларации в целом».\*

Утверждение МСЭ, будто советское правительство недовольно Декларацией Прав Человека потому, что она «не содержит гарантий провозглашенных прав», конечно, лживо. Действительная позиция советского правительства по этому вопросу несколько иная. Известно, что когда в Комиссии, выработавшей эту Декларацию, было сделано предложение, — при Объединенных Нациях создать орган международного контроля по осуществлению Декларации в каждом государстве, — советская делегация запротестовала против такого проекта,

---

\* Мал. Сов. Энци., 3-е изд., М. 1958, т. 2, стр. 658.

мотивируя свой протест тем, что контроль якобы «нарушает суверенность государства».

Настоящие причины недовольства советского правительства Всеобщей Декларацией Прав Человека понятны всякому: в Декларации провозглашены такие права человека, которые советское правительство не желает давать своим гражданам.

### **Свободный общественный строй**

Всеобщая Декларация Прав Человека осуждает следующие основные пороки антинародных режимов: «угнетение», прежде всего экономическое, порождающее эксплуатацию и нужду людей; «тиранию», которая держится на терроре. Эти качества антинародного строя Декларация называет термином: «варварство». Режим «варварства, — говорит Декларация, — характеризуется пренебрежением и презрением к правам человека» со стороны угнетающей, тиранической власти.

Свободный же строй Декларация характеризует как строй политической свободы, социальной справедливости и обеспеченной жизни, как «мир, где люди пользуются свободой слова и убеждений и свободны от страха и нужды», как общество, где происходит постоянный «...социальный прогресс и улучшение условий жизни при бóльшей свободе». В таком свободном обществе не может быть острой вражды между слоями населения и вражды между населением и демократической властью; и при таком строе есть полная возможность в интересах всего народа осуществлять социальные реформы мирным путем.

Декларация Прав Человека устанавливает также новый принцип мирного сожительства народов, принцип международной солидарности, всечеловечности. Декларация говорит о человечестве, как об единой «человеческой семье» и о людях, как о «членах человеческой семьи». Она требует признания за людьми всех рас и национальностей «...достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав». И декларация предлагает всем правительствам: «содействовать развитию дружественных отношений между народами»; «установить всеобщий мир»; стремиться к объединению всех народов в одну «человеческую семью».

На Генеральной Ассамблее 10 декабря 1948 года Организация Объединенных Наций признала Всеобщую Декларацию Прав Человека своим основоположным документом, своей программой и обязала всех членов ООН выполнять эту программу

во всех государствах, входящих в ООН. В Декларации об этом говорится так: «...народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности... и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе». Государства, члены Объединенных Наций, «...обязались содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод». «...Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Всеобщую Декларацию Прав Человека как задачу, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их».

Рассмотрим теперь, вкратце, как осуществляется (или нарушается) Всеобщая Декларация Прав Человека в Советском Союзе. Рассмотрим это хотя бы на положении советского колхозного крестьянства.

### **Основные права человека**

Основные права человека в Декларации в самой общей форме определены так: «Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность». Дело касается здесь прежде всего элементарных человеческих прав: права на имущество, то есть, на материальные блага жизни, и права на благоприятные условия труда, который эти блага создает.

### **Право частной собственности**

Всеобщая Декларация устанавливает право каждого человека на собственность. Статья 17. «1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. 2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества».

Правительство Советского Союза давно нарушило и нарушает эти важнейшие требования Декларации. Сначала, после Октябрьской революции 1917 года, советская власть конфисковала землю у всех землевладельцев — и крупных и мел-

ких, — а также все остальное имущество у помещиков. А потом, в период коллективизации — с 1929 до 1934 года, диктатура конфисковала почти все имущество и у крестьян: машины, инвентарь, рабочий скот и большую часть продуктивного скота.

Коммунистическая диктатура и теперь продолжает отбирать почти всю сельскохозяйственную продукцию у колхозов и половину продукции из личного подсобного хозяйства колхозников. Власть КПСС до сих пор не возвращает крестьянам их собственную землю и не позволяет колхозникам иметь в пользовании даже достаточный надел земли, ограничивая размер усадебного участка мизерными нормами: от 0,07 до 0,50 гектара. Не разрешается колхозникам иметь в личном владении ни рабочий скот, ни технику, ни инвентарь. Даже продуктивный скот колхозники могут иметь в весьма ограниченном количестве: одну корову, поросенка, птицу.

Конституция СССР на бумаге разрешает крестьянам иметь частные земельные хозяйства трудового типа и кустарные предприятия. Так, статья 6 Советской Конституции говорит: «Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой хозяйства в СССР, **допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда**». Но в действительности диктатура КПСС не допускает такие единоличные земельные хозяйства и кустарные предприятия и таким образом нарушает Конституцию своего же собственного государства.

Всеобщая Декларация Прав Человека признает за каждым человеком самое элементарное право — владения имуществом, в той форме, в какой человек этого пожелает: «как единолично, так и совместно с другими». Но в Советском Союзе правительство давно лишило крестьян этого права, т. е. права на индивидуальное владение хозяйством нормального размера. Конституция СССР и советская печать называют колхозное хозяйство «групповой собственностью колхозников». Но эта явная фальшивка противоречит действительности. Правительство забирает почти всю колхозную продукцию, не считаясь с желанием колхозников и вопреки их воле. Не колхозники, а советское правительство является монопольным собственником

всей сельскохозяйственной продукции и всего колхозного имущества.

### **Свобода экономических ассоциаций**

Всеобщая Декларация Прав Человека устанавливает право каждого человека вступать или не вступать в любые ассоциации, то есть объединения, союзы, организации. Статья 20 этой Декларации говорит: «1. Каждый человек имеет право на свободу мирных... ассоциаций. 2. Никто не может быть принуждаем вступать в какие-либо ассоциации». Но в Советском Союзе экономические «ассоциации» — колхозы — созданы принудительно, насильственно: террором и голодом. Во время насильственной сплошной коллективизации в СССР было разорено 6 миллионов крестьянских дворов и уморено голодом в лагерях, тюрьмах и деревнях — более 20 миллионов крестьян. Колхозники до сих пор принудительно прикреплены к колхозу и удерживаются там насильственно: методами экономического, физического и административно-судебного принуждения.

В целях пропаганды и обмана иностранцев коммунистическая диктатура в своих справочниках называет колхозы «добровольными организациями». Так, например, в Малой Советской Энциклопедии колхозы определены так: **«Колхозы (коллективные хозяйства) — добровольные объединения трудящихся крестьян для совместного ведения крупного общественного сельскохозяйственного производства...»**

Но когда крестьянин хочет покинуть эту «добровольную организацию», то власть квалифицирует его, как «преступника», «тунеядца», «бродягу», «саботажника» — и зачастую отправляет его на принудительные работы в «специально отведенные местности», в «исправительно-трудовые колонии-поселения» или использует на любых принудительных работах по месту жительства.

### **Право на свободный и удовлетворительно оплачиваемый труд**

Всеобщая Декларация Прав Человека в статье 23 говорит: «Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы...» Но в Советском Союзе земледельцы лишены этого права. Они не могут вести свое хозяйство на собственной земле потому, что правительство у них эту землю отобрало. Таким образом, земледельцы в СССР лишены права вести свое

личное хозяйство на собственном или арендованном участке земли.

Если же крестьянин-колхозник захочет заниматься не принудительным трудом в колхозе, а наемным трудом в городской промышленности или в учреждениях, — то колхозная администрация его туда не отпускает. А если колхозник все-таки самовольно уйдет в город, то власть наказывает его семью в деревне, а самому «беглому колхознику» угрожает ссылка в исправительно-трудовые колонии на срок от 2 до 5 лет или принудительное возвращение в колхоз.

Итак, «права на свободный выбор работы», того права, о котором говорит Декларация, у колхозников в Советском Союзе нет. Они цепями законов и рабовладельческой практики коммунистической диктатуры прикреплены к государственному имению — колхозу, к закрепощенному колхозному сословию — для выполнения подневольного труда, принудительной государственной барщины.

Всеобщая Декларация Прав Человека требует от государств-членов Организации Объединенных Наций, чтобы каждому труженику были обеспечены «справедливые и благоприятные условия труда». Статья 23 Декларации говорит: «Каждый человек имеет право... на справедливые и благоприятные условия труда...» Эти «справедливые и благоприятные условия труда» Декларация Прав Человека перечисляет. Статья 23 (2). «Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд».

Попробуем примерно вычислить денежную заработную плату рядовых колхозников. На основании официальных статистических сведений все колхозы Советского Союза получали в среднем ежегодно (от 1953 до 1962 года) «денежных доходов», или, точнее, денежной выручки, около 11.7 миллиарда рублей.\* Из этой выручки около 3/4 идет на производственные и другие расходы, на налоги, страхование, в неделимые фонды. А около одной четверти идет на оплату труда колхозников: по директивам правительства в фонд заработной платы колхозников должно поступать не более 25% выручки колхозов. Следовательно, из этой суммы доходов на денежную оплату труда колхозников шло около 2,9 миллиарда рублей. А

---

\* Сборник «СССР в цифрах в 1962 году», стр. 163.

всего работающих колхозников за этот период, по официальным сообщениям, было: 48 миллионов, затем 37, потом 32 миллиона; а за последние годы — 20 миллионов. Следовательно, в среднем с 1953 до 1962 года ежегодно в колхозах работало 34 миллиона человек. Из общего фонда заработной платы на долю каждого работающего колхозника в среднем приходилось 85 рублей в год или около 7 рублей в месяц.

Но в колхозах проявляется исключительно резкая дифференциация в оплате труда различных групп колхозников. Колхозная администрация, специалисты и механизаторы получают обычно гарантированную месячную заработную плату: механизаторы от 50 рублей и выше; специалисты — от 100 рублей и выше; колхозные председатели — от 160 рублей и выше. А эти привилегированные группы составляют до 20% всех работающих колхозников. Поэтому оплата труда рядовых колхозников фактически падает до 3-4 рублей в месяц. А нередко им совсем не выплачивают денежной заработной платы (об этом упоминалось во многих советских очерках и корреспонденциях, в частности, в очерке Ф. Абрамова «Вокруг да около»).

Всеобщая Декларация Прав Человека устанавливает: Статья 23 (3). «Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человеческое существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения». Но средняя зарплата рядового колхозника не только не может «обеспечить достойного существования» всей его семьи. Она не может даже обеспечить существование самого работника. Эта заработная плата составляет только 8-10% прожиточного минимума для одного человека (прожиточный минимум в СССР за десятилетие от 1953 до 1963 года равнялся 40 рублям: это зарплата рядового совхозного рабочего или стипендия студента).

Всеобщая Декларация Прав Человека в статье 24-й говорит: «Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск». Все требования этой статьи в колхозных деревнях Советского Союза, конечно, не соблюдаются. Рабочий день в колхозах — от 12 до 18 часов. Работы часто производятся даже ночью. Еженедельных выходных дней

у колхозников нет. Периодических (ежегодных) отпусков у них тоже нет.

Всю жизнь колхозников коммунистическая диктатура свела только к работе, превратив людей в роботов.

### **Об удовлетворительном жизненном уровне**

Декларация Прав требует, чтобы для каждого человека был создан удовлетворительный «жизненный уровень». Статья 25 (1). «Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, — который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам».

Ни одно из требований этой статьи в советской колхозной деревне не осуществляется.

Правда, в 1964 году был принят закон о пенсионном обеспечении колхозников, начиная с 1965 года. Но он решает этот вопрос крайне неудовлетворительно. Во-первых, минимальная пенсия колхозников может доходить до 12 рублей, то есть до четверти прожиточного минимума, который составляет теперь, после 1963 года, около 50 рублей в месяц. Во-вторых, колхозники для получения пенсии должны не только достичь определенного возраста, но иметь еще и обязательный трудовой стаж: не менее 20 лет работы в колхозе. А стаж труда для рядовых колхозников начисляется только в том случае, если он работал в колхозе непрерывно, то есть в каждом месяце года, не оставляя колхоза даже на один месяц. Это условие для большинства колхозников затрудняет получение пенсии, ибо из-за ничтожной оплаты колхозники бывают вынуждены на несколько месяцев в году, с разрешения администрации, отлучаться на заработки. По инструкциям же к закону о колхозах, колхозник, отлучившийся из колхоза на временные заработки более чем на один месяц, не получает трудового стажа за весь год.

### **О свободе местожительства и гражданства**

Всеобщая Декларация Прав Человека признает за каждым человеком право на выбор местожительства не только в пределах одного государства, но также и во всех государствах

мира. Статья 13 говорит: — «1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства. 2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну». Статья 14: — «1. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем». Статья 15: — «1. Каждый человек имеет право на гражданство. 2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство».

Но тут уже все жители Советского Союза лишены этих прав. Коммунистическая диктатура не разрешает советским людям ни отказываться от своего «гражданства», ни уезжать за границу и выбирать себе местожительство в пределах другого государства, ни даже искать там убежища. А за попытку самовольного ухода за границу советский гражданин, если он будет пойман, наказуется по статье 1-й «Закона об уголовной ответственности за государственные преступления» (от 25 декабря 1958 года): — «смертная казнь или лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества». Эта статья содержится в Уголовном кодексе всех республик Советского Союза.

\* \* \*

Представители Советского Союза в Объединенных Нациях всегда разыгрывают «благородную роль»: они с деланным «негодованием» выступают против нарушения человеческих прав в некоторых некоммунистических государствах, в защиту Всеобщей Декларации Прав Человека. Несколько лет назад тогдашний глава советского правительства Н. Хрущев на Генеральной Ассамблее Объединенных Наций сделал даже специальный доклад о колониализме и о нарушении «прав человека» в колониях.

Многие политические деятели свободных демократических государств делают вид, что не замечают того совершенно очевидного факта, что в СССР и в других странах «социалистического лагеря» не проводится в жизнь ни один параграф Всеобщей Декларации Прав Человека.

В последнее время государственные деятели Соединенных Штатов заявляли о том, что американское правительство намерено бороться в защиту человеческих прав не только в своем

государстве, но и в других странах, поддерживая в этом Организацию Объединенных Наций. На сессии Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций в январе 1965 года американский представитель заявил: «... **Соединенные Штаты Америки готовы поддерживать ООН (Организацию Объединенных Наций) в ее борьбе против... нарушения прав человека**».

А президент Соединенных Штатов Джонсон в послании Конгрессу «О положении страны» (4 января 1965 года) поставил этот вопрос и шире и решительнее. «Наш народ создан для того, — заявил глава американского государства, — чтобы помогать разбить цепи невежества, нищеты и тирании повсюду, где они препятствуют человеку стать таким, каким замыслил его Господь Бог».

Последние сообщения о деятельности Организации Объединенных Наций, как будто, говорят о том, что борьба против нарушения человеческих прав, борьба за осуществление Всеобщей Декларации Прав Человека оживляется. В начале апреля 1966 года в Организации Объединенных Наций делегация Коста-Рика внесла очень важное предложение: создать при ООН пост Верховного Комиссара по правам человека и гражданина.

Это предложение было поддержано Соединенными Штатами и всеми латиноамериканскими государствами. Но против него сразу же категорически выступил советский представитель в ООН. Причины такой позиции понятны. Коммунистические крепостники боятся всякого расследования в области прав человека и гражданина.

*Т. К. Чугунов*

## ЗАПИСКИ ПЕНЬКОВСКОГО

В конце прошлого года, одновременно в Лондоне и в Нью Йорке, вышла на английском языке книга, появление которой вызвало бурный протест с советской стороны. Это — Записки Пеньковского.\* Подробные выдержки из книги были опубликованы во многих американских и западно-европейских газетах. Книга привлекла большое внимание широких кругов читателей, и уже через полтора месяца после появления заняла видное место среди наиболее популярных в США книг политического содержания.

Напомним, кто автор этой книги и почему в «Правде», «Известиях» и в других советских газетах поднялась такая сильная пропагандная кампания против выхода этой книги на Западе. Автор книги «Записки Пеньковского» — Олег Владимирович Пеньковский, полковник советской армии. Он был осужден в Москве и расстрелян в мае шестьдесят третьего года по обвинению в передаче на Запад советских военных, экономических и политических секретов.

Как гласило обвинительное заключение, Пеньковский с апреля шестьдесят первого года по август шестьдесят второго передал Соединенным Штатам и Великобритании несколько тысяч документов и сведений секретного порядка. Но во время суда советский обвинитель, видимо, не знал, что Пеньковский передал на Запад и свои личные записки, в которых рассказывал о себе, о своих знакомых — высших советских сановниках и военных руководителях, о политической обстановке в Москве в момент берлинского кризиса и накануне кризиса в Карибском море, о принципах военной доктрины советского генерального штаба и о многом другом. Во всяком случае, о записках Пеньковского на суде не говорилось.

---

\* *The Penkovskiy Papers* by Oleg Penkovskiy. Introduction and commentary by Frank Gibney. Foreword by Edward Crankshaw. Translated by Peter Deriabin. Garden City, N.Y., Doubleday, 1965.

Но когда о скором выходе в свет этих «Записок Пеньковского» на Западе было объявлено советское правительство сделало большие усилия, чтобы сорвать выход этой книги. Когда газета «Вашингтон Пост» опубликовала выдержки из «Записок Пеньковского», министерство иностранных дел СССР распорядилось закрыть московское бюро этой газеты и выслать из Советского Союза ее корреспондента. Советские посольства в Лондоне и Париже обращались к правительственным кругам Великобритании и Франции, а также непосредственно и к издательствам, с требованием воздержаться от публикации «Записок Пеньковского». Когда же все это не помогло, в советской печати поднялась кампания против этой книги как якобы «фальшивки». В общем, повторилось почти то же, что произошло двадцать лет тому назад, вскоре по окончании Второй мировой войны, с книгой другого бывшего крупного советского работника — Виктора Кравченко «Я избрал свободу». И так же, как кампания против Кравченко только способствовала большому успеху его книги, кампания против «Записок Пеньковского» превратила эти записки в одну из популярных политических книг.

В книге «Записки Пеньковского» свыше четырехсот страниц. Текст разделен на десять глав. Переводил и обрабатывал «Записки Пеньковского» советский невозвращенец Петр Дерябин. Поскольку Пеньковский упоминает множество фактов, имен и событий, мало известных на Западе, каждой главе предпослано редакционное пояснение. Пояснения эти написаны редактором американского журнала «Атлас» Франком Гибни. В издании книги принимал участие известный английский специалист по советским вопросам Эдуард Кренкшоу, проживший много лет в Москве.

Записки Пеньковского носят характер довольно хаотичный. Автор часто перескакивает с одной темы на другую, недосказывает свои мысли, возвращается к тому, что он уже писал. Все это показывает, что автор торопился записать все, что хотел сказать. Но книга богато документирована, снабжена фотокопиями личных документов Пеньковского, семейными фотографиями и содержит такое множество разных подробностей, которые не могли быть известны никому, кроме самого Пеньковского, так что сомневаться в подлинности ее содержания трудно.

По поводу подлинности «Записок» Пеньковского Эдуард Кренкшоу в лондонской газете «Обсервер» писал: — «Господин Солдатов, советский посол в Лондоне, категорически заявил, что записки эти — фальшивка от начала и до конца. Это его право и, может быть, даже обязанность, хотя яростность его опровержений показывает, что советское правительство чувствует себя сильно уязвленным. Мне текст этот хорошо знаком. Издатели послали мне напечатанный на машинке текст записок Пеньковского и спросили: считаю ли я их подлинными или нет? Прочитав манускрипт, я ответил, что сомнений в подлинности быть не может».

В чем же главная ценность записок Пеньковского с точки зрения широких кругов читателей? Ценность в том, что Пеньковский в своих записках приподымает завесу над теми сторонами работы государственной и партийной машины Советского Союза, которые скрыты от мирового общественного мнения. У Пеньковского были особые возможности: он был офицером Главного Разведывательного Управления советских вооруженных сил, близко сталкивался с работой Комитета Государственной Безопасности и имел широкий круг знакомств среди генералитета советской армии и среди высших партийных и правительственных работников в Москве.

Пеньковский сделал блестящую военную карьеру. Официально он занимал пост заместителя начальника Иностранного Отдела Управления внешних сношений государственного комитета Совета министров СССР по координации научно-исследовательских работ. Благодаря этой своей должности Пеньковский не только имел доступ ко многим военным, техническим и научным секретам, но мог также знать, кто из советских работников и с какими целями посылается за границу, а также — какую слежку ведут органы КГБ и Главного Разведывательного Управления за приезжающими в Советский Союз иностранцами, да и за советскими гражданами. Пеньковский знал также и сам и от своих знакомых, что представляла собой в действительности хрущевская политика так называемого «мирного сосуществования».

В «Записках Пеньковского» вскрыт характер работы советских органов террора и шпионажа, а также разоблачены многие пропагандные мифы, сотворенные советскими специ-

альными органами по указанию партийного руководства для обмана общественного мнения некоммунистических стран.

Но прежде всего зададимся вопросом: что же привело Пеньковского к открытой борьбе с коммунизмом? Пеньковский ясно говорит о своем разочаровании советским режимом и о решении повести в одиночку борьбу против этого режима.

Как мы уже сказали, Пеньковский занимал ответственные посты и вращался в кругах высших руководителей партийного, правительственного и военного аппаратов власти. Но чем выше он поднимался по служебной лестнице, тем большее разочарование овладевало им. Вот что он пишет в своих «Записках», в главе «Система, в которой я живу»:

«Наш коммунизм, который мы строим вот уже сорок пять лет — это обман. Я сам часть этого обмана: ведь я принадлежу к числу привилегированных. Еще много лет тому назад я начал ощущать отвращение к самому себе, не говоря уж о наших любимых вождях и руководителях. Я спорил сам с собой, проклинал себя. Наконец, я убедился, что то, что мы называем «нашим коммунистическим обществом» — это всего-навсего лишний фасад. Нельзя не согласиться с Молотовым, который после смерти Сталина заявил, якобы «по ошибке», что мы все еще далеки от построения социализма, не говоря уже о коммунизме».

Говоря о своих сомнениях и о разочаровании в коммунистическом строе, Пеньковский продолжает: — «Какая-то болезнь или зараза точит и разъедает нашу страну изнутри, и мы должны что-то сделать, чтобы остановить этот процесс. Я не вижу другого выхода, и это главная причина, почему я вступаю в ряды активных борцов за лучшее будущее для моего народа. Коммунистическая система вредна для нашего народа. И я презираю себя за то, что составляю часть этой системы и живу ложью. Идеалы, за которые умерли столь многие из наших отцов и братьев, оказались на поверку ложью и обманом. Я знаю армию и уверен, что многие из нас, офицеров, думают так же».

В другом месте своих «Записок», в главе «Культ Хрущев», Пеньковский характеризует партийных руководителей, с которыми ему приходилось встречаться и которых он лично хорошо знал: — «Сейчас уже нет больше таких коммунистов, как наши большевики-подпольщики, не говоря уже о Марксе

## ЗАПИСКИ ПЕНЬКОВСКОГО

и Ленине. Среди моих друзей, сегодняшних членов партии, нет ни одного, который верил бы в коммунизм. Они, как и я, все ищут ответа на вопросы: правилен ли наш путь? куда мы идем? что мы строим? почему мы живем для какого-то другого «зав-трашнего» дня, а не для себя и не для дня сегодняшнего?»

В связи с этим Пеньковский вспоминает об одном разговоре со своим старым приятелем, преподавателем курса «Основы марксизма-ленинизма». Они говорили о вышедшем в то время новом учебнике истории коммунистической партии Советского Союза. Приятель Пеньковского сказал: «Бедная история КПСС! Сколько раз ее переписывали?» И Пеньковский вспоминает, как он сам изучал разные издания истории партии: издание под редакцией Кнорина, издание под редакцией Яро-славского, затем сталинскую версию, затем — хрущовскую. Какой из этих версий верить? В одном издании Тухачевский и Гамарник называются «врагами» и «шпионами», а другое именует их «патриотами» и «блестящими военными руководителями». В одном издании Сталин оказывается «отцом трудящихся всего мира», а в другом он называется «преступником» и «убийцей». «Вчера, — добавляет Пеньковский, — никто не знал, что Хрущев был в Сталинграде; а вот сегодня он стал «героем Сталинграда».

«Мой приятель, — говорит Пеньковский, — объяснил мне все это очень просто. Он сказал: «Наша партия, как хорошо известно, была основана Лениным, продолжавшим дело Карла Маркса. Но если дело Маркса продолжал Ленин, то дело Ленина продолжали только враги и изменники. Давай посмотрим, как называются наши партийные руководители в тех выпусках истории партии, которые вышли в свет после их ухода с политической сцены. Получается такой список: — Троцкий — продажный империалистический агент, Зиновьев — предатель рабочего класса, Бухарин — правый оппортунист и двурушник, Рыков — враг народа, Каменев — саботажник и раскол-ник, Пятаков — враг трудящихся, Ягода — враг и изменник, Ежов — враг коммунизма, Тухачевский — враг родины и шпион, Гамарник — враг вообще, Берия — империалистический агент и изменник, Сталин — неразоблаченный преступник, Молотов — враг партии, Маленков, Каганович и Булганин — враги вообще, Шепилов — двурушник, Жуков — враг Хрущева.

В этом месте мой друг остановился и добавил: «И только Хрущев — враг всего нашего народа — остается неразоблаченным».

Пеньковский не дожидаясь до того дня, когда и Хрущев последовал за своими предшественниками, будучи смещен со всех своих постов и получив клички «субъективиста», «волюнтариста», «болтуна», «пустозвона» и тому подобное.

«Я не знал, — пишет Пеньковский, — что ответить моему другу. Как все это было ясно и просто! Я и сам часто думал, что наша история — это лживая история. Но мне не удалось изложить свои мысли так четко. Я думаю, что каждому сейчас должно быть ясно, что работать для этой группы саботажников, а особенно — служить им, трудно, невозможно. Вот почему я и пришел к своему окончательному решению».

Очень интересно то, что Пеньковский пишет о хрущевской политике так называемого «мирного сосуществования». Комментатор «Записок» Пеньковского Франк Гибни так характеризует подход Пеньковского к этому вопросу: — «Пеньковский не верил в правдивость хрущевской политики мирного сосуществования. С того места, которое он занимал в советском разведывательном аппарате, Пеньковский видел, что официальный курс на мирное сосуществование совпадал в те годы с приказами Хрущева усилить деятельность советского разведывательного и шпионского аппарата во всем западном мире. Поэтому он скептически относился к хрущевским заявлениям и настойчиво предупреждал Соединенные Штаты и Великобританию не верить этим заявлениям».

Что же писал Пеньковский? Он описывал военные приготовления советской армии, разбирал тактические и стратегические игры советского генерального штаба и настойчиво предупреждал Запад, что новейшая военная доктрина Советского Союза предусматривает внезапный атомный удар по жизненным центрам Соединенных Штатов и Западной Европы.

«Как офицер генерального штаба, — пишет Пеньковский, — я не думаю, что Хрущев стремится к войне в настоящий момент. Но он готовится к ней серьезно. Если положение созреет для войны, он начнет ее первым, с тем, чтобы внезапно ударить по вероятному противнику, то-есть по Соединенным Штатам и другим западным государствам. Он, конечно, хотел бы достигнуть такого уровня производства ракет десятками тысяч, ко-

торый позволил бы ему обрушить эти ракеты на Запад градом, с тем, чтобы, — как он говорит, — угробить капитализм. В этом отношении даже наши маршалы и генералы считают его поджигателем войны».

В январе шестидесятого года Хрущев выступил с докладом на сессии Верховного Совета. В этом докладе он официально сообщил о ряде принципиальных изменений в советской военной доктрине и сделал упор на развитие ракетных войск и на замену бомбардировочной авиации ракетами дальнего действия с термоядерными боевыми головками. По поводу этой новой военной доктрины Хрущева Пеньковский в своих «Записках» пишет: — «Зная цену хрущевским лозунгам 'мирного сосуществования' 'борьбы за мир', советские военные руководители ведут интенсивную подготовку к будущей войне, хотя многие из них против любой войны. Фактически они за мир. Но они разрабатывают планы войны как профессиональные солдаты, с партийным билетом в кармане. Партбилет вынуждает их точно выполнять директивы Президиума ЦК КПСС и лично Хрущева. Ведь, в конце концов, они занимают свои высокие посты только благодаря партийному билету, который, как мы говорим, кормит и поит».

Пеньковский упоминает и о секретной дискуссии по вопросам советской военной доктрины, проводившейся после шестидесятого года журналом «Военная мысль». Тогда специальным приложением к журналу печатался в совершенно секретном порядке так называемый «Специальный сборник статей», который выдавался под расписку только лицам, допущенным к секретной информации. В статьях этого сборника хладнокровно обсуждались те самые вопросы массового истребления миллионов людей, о которых с таким возмущением публично говорили советские лидеры, обвиняя в человеконенавистничестве стратегов Запада и особенно Мао Цзе-дуна. Пеньковский, в частности, цитирует статью генерал-полковника Гастиловича, напечатанную в первом выпуске «Специального сборника» за шестидесятый год под заглавием «Теория военного искусства требует пересмотра».

Подвергнув разбору прежние войны, в ходе которых боевые действия обычно начинались на границах воюющих между собой стран, Гастилович писал: — «Если война начнется сейчас, то военные операции будут происходить иначе, так как

воюющие стороны располагают средствами доставки боевых зарядов за тысячи километров. Примерно ста ядерных зарядов, взорванных за короткий период времени в высоко индустриализованной стране, с территорией, примерно, в триста или пятьсот тысяч квадратных километров, будет достаточно, чтобы превратить все промышленные районы и административно-политические центры такой страны в груды развалин, а ее территорию — в безжизненную пустыню, отравленную смертоносными радиоактивными веществами».

Пеньковский отмечает, что подобные рассуждения не были только теорией и что как раз в тот период командование ракетных войск советской армии соорудило в западных районах Советского Союза десятки и даже сотни ракетных установок с баллистическими ракетами дальнего действия, нацеленными на крупнейшие города и промышленные центры Англии, Западной Германии, Франции, Италии и других стран Западной Европы. И делалось это как раз тогда, когда пропаганда так называемого «мирного сосуществования» достигла своей высшей точки.

Пеньковский многократно и в самой настойчивой форме предупреждал Запад не верить хрущевским разговорам о мирном сосуществовании. Почти в каждой главе своих «Записок» Пеньковский утверждает, что Хрущев готовится к войне, причем — к войне молниеносной, войне агрессивной, войне захватнической. Пеньковский утверждает также, что советские руководители боятся перспективы длительной войны, так как в такой войне Советскому Союзу не удалось бы одержать победу: они знают, что экономика и политико-психологическое состояние народа не выдержат длительного испытания.

Интересны также главы, где Пеньковский описывает наблюдение советских специальных органов за всеми гражданами Советского Союза и, в частности, за теми, кто вступает в какой-либо контакт с иностранцами. Эта часть «Записок» Пеньковского звучит сегодня особенно актуально в связи с недавним судебным процессом над писателями Синявским и Даниэлем.

Олег Пеньковский был ответственным работником Главного Разведывательного Управления генерального штаба советской армии. Это Управление Пеньковский обычно называет сокращенно ГРУ. Как работник ГРУ, Пеньковский постоянно сталкивался с основным органом советского шпионажа, разведки и террора — с Комитетом Государственной Безопасности

(КГБ). Как профессиональный работник разведки, Пеньковский, быть может, переоценивал влияние КГБ и ГРУ; но вот что он, например, пишет:

«Работники КГБ находятся повсюду — буквально повсюду. Даже при Сталине я их видел меньше, чем теперь. Они распоряжаются всей нашей армией и особенно в ГРУ. В нашем Комитете (Пеньковский, как мы говорили, был заместителем начальника иностранного отдела Управления внешних сношений Государственного комитета Совета министров СССР по координации научно-исследовательских работ) они составляют более пятидесяти процентов сотрудников на ключевых постах. Во время подготовки к двадцать первому съезду партии тысячи сотрудников КГБ были вызваны с мест для несения охраны, проверки документов и патрулирования улиц Москвы».

Пеньковский говорит, что советское правительство ведет шпионаж в гигантском масштабе, причем, по его словам, в аппарате КГБ работает во много раз больше людей, чем в военной разведке. Он утверждает: «Нашим соседям, то-есть КГБ, верят больше, и они получают больше денег». Это соперничество между советскими разведывательными органами Пеньковский подчеркивает. И не только соперничество, но прямую вражду, взаимное подслушивание, взаимную слежку, взаимные доносы. И все это происходит в массовом масштабе, поскольку и аппарат разведки и аппарат шпионажа насчитывают многие и многие тысячи людей. По временам даже трудно поверить, что подозрительность и шпиономания, развитые до чрезвычайности при Сталине, сохранились почти в такой же мере и после него. Пеньковский пишет:

«Наряду с ГРУ и КГБ, собственные разведывательные отделы имеют министерство иностранных дел и министерство внешней торговли. Все занимаются шпионажем — все советские министерства, комитеты, Академия Наук и так далее. Каждый, кому приходится что-либо делать по работе с иностранцами или вообще иметь дело с заграницей, обязан вести разведывательную работу. Мы все — шпионы. И если тот или иной комитет или министерство не имеют своего разведывательного отдела, то, по решению ЦК КПСС, наше ГРУ или КГБ создадут там свои отделы или направят туда своих разведчиков».

В «Записках» Пеньковского приводится список тех советских учреждений, с помощью которых ГРУ и КГБ ведут

свою разведывательную работу и в которых эти два органа имеют своих представителей, причем в ряде этих учреждений, часто имеющих совершенно невинную вывеску, весь штат сотрудников укомплектован работниками ГРУ или КГБ. Вот какой список дается в книге Пеньковского: — Министерство иностранных дел; Министерство внешней торговли; Бюро обслуживания иностранцев, именуемое сейчас Управлением по делам дипломатического корпуса; «Интурист» (в этом случае Пеньковский дает такое примечание: «Почти сто процентов сотрудников от КГБ и только несколько от ГРУ»); Всесоюзное общество «Международная книга» — почти сто процентов КГБ; Всесоюзная торговая палата, Государственный комитет по координации научно-исследовательских работ (в котором официально служил и сам Пеньковский); Государственный комитет внешних экономических сношений; Государственный комитет по культурным связям с заграницей; Комитет по делам религиозных сект; Комитет по делам русской православной церкви; ТАСС; Союз обществ Красного креста и Красного полумесяца; Комитет советских женщин; Министерство культуры; Советский комитет «Защиты мира»; Университет имени Патриса Лумумбы; Союз советских обществ дружбы и культурных связей с иностранными государствами; Советский Комитет всемирной федерации профсоюзов; Совэкспортфильм и Совимпортфильм; Московский почтамт; Центральный телеграф на улице Горького; Академия Наук СССР; Государственный университет имени Ломоносова.

Вот список советских учреждений, в которых, по словам Пеньковского, почти весь штат сотрудников или значительная его часть укомплектованы штатными работниками КГБ и ГРУ. Список этот кажется почти невероятным, ибо в него включены такие, казалось бы, не имеющие никакого отношения к делу разведки и шпионажа, учреждения, как Академия Наук, университет имени Ломоносова, министерство культуры и Совет по делам православной церкви. Почти все эти учреждения постоянно посылают людей за границу. Как же осуществляется проверка едущих за границу советских граждан? В «Записках» Пеньковского дается такая картина:

«В ЦК КПСС есть особая комиссия по заграничным поездкам. Она состоит целиком из работников КГБ. Каждый, кто едет за границу, хотя бы на короткое время или как турист,

вызывается для беседы в эту комиссию. Он думает, что он разговаривает с членом Центрального Комитета партии, но в действительности с ним беседует работник КГБ, обычно в чине полковника или подполковника, но в штатском. Еще до беседы, об уезжающем собираются самые подробные данные, заводится дело, а во время беседы уезжающему дается инструктаж — как вести себя за границей, с кем встречаться и с кем и о чем разговаривать. Затем ему дается бумага о сохранении в секрете этого инструктажа, и он должен подписать документ о преданности советскому правительству и коммунистической партии».

Не менее поучительны данные Пеньковского, характеризующие состав сотрудников советских посольств за границей. «Большинство сотрудников советских посольств за границей, — пишет он, — составляют работники КГБ и ГРУ. Из каждых пяти работников посольства два обычно штатные сотрудники КГБ. Пропорция офицеров ГРУ обычно — один из каждых пяти. Можно сказать, не рискуя ошибиться, что в большинстве посольств шестьдесят процентов персонала комплектуется из профессиональных работников разведки, то-есть либо из КГБ, либо из ГРУ. Работников ГРУ — обычно меньше».

К этой общей картине состава советских посольств за границей, Пеньковский добавляет: — «Министерство иностранных дел и министерство внешней торговли существуют, как таковые, только в Москве. В их представительствах за границей всё контролируется КГБ и нами (то-есть, ГРУ). Запад пытается добиться какого-либо улучшения отношений с Советским Союзом дипломатическими средствами. Но у нас вообще нет дипломатов в том смысле, как на Западе понимают этот термин. Мы ведем какую угодно работу, за исключением дипломатической. Советский посол, в первую очередь, — это служащий Центрального Комитета КПСС, а только во вторую он представляет министерство иностранных дел. Часто и сам посол подбирается из рядов сотрудников ГРУ или КГБ. Громадное большинство нынешних советских послов, аккредитованных в некоммунистических странах, бывшие разведчики из ГРУ или КГБ».

Дальше в записках Пеньковского говорится: — «Резиденты, то-есть постоянные представители КГБ и ГРУ, во всех случаях имеют высокий дипломатический ранг, служащий им офи-

циальным прикрытием, чаще всего — ранг советника посольства. Другие высокие посты в посольствах распределяются решением ЦК КПСС между разведывательным персоналом ГРУ и КГБ. Если в посольствах и существуют некоторые грамотные лица, которые работают исключительно для министерства иностранных дел, то они находятся там лишь потому, что знают процедуру дипломатического протокола и умеют писать ноты. И ничего другого они не делают. Но даже и эти настоящие дипломаты кооптируются для разведывательной работы либо КГБ, либо ГРУ — кто первый их заполучит».

В «Записках» Пеньковского отмечается, что в советских консульствах представительство профессиональных разведчиков еще выше и что почти сто процентов сотрудников консульства работают от КГБ. Из-за этого происходят постоянные столкновения с ГРУ, желающим пристроить в консульствах и своих работников. Картина эта, сама по себе, уже замечательна; но оказывается, что чекисты из КГБ не удовлетворяются тем, что захватывают большинство постов в советских посольствах и консульствах за границей, они еще учреждают и постоянную слежку за всем персоналом.

«В посольстве, — говорит Пеньковский, — КГБ шпионит за всем персоналом, в том числе и за нами — работниками ГРУ. Люди из КГБ следят абсолютно за всем происходящим: за тем, что покупают люди, как они живут и соответствует ли это их зарплате; куда они ходят, каких докторов посещают, с кем встречаются, сколько пьют и вообще как себя ведут. КГБ постоянно подслушивает, что люди говорят. Короче, почти каждый шаг работника посольства известен КГБ. А мы, из ГРУ, со своей стороны, следим за людьми из КГБ. Мы стараемся выяснить, кто из наших работников связан с КГБ, кооптирован им или служит для него стукачем».

Пеньковский отмечает также, что у КГБ и ГРУ свои люди есть вообще во всех советских представительствах за границей: в советской миссии при Организации Объединенных Наций, в торговых миссиях, в представительствах ТАСС, в отделениях Аэрофлота, на торговых судах, среди газетных корреспондентов и т. д. Зачастую сотрудники ГРУ и КГБ посылаются за границу под видом советских специалистов или научных работников, для чего они предварительно проходят специальную подготовку. Но еще чаще эти два советских разведывательных орга-

на поступают проще: они просто вербуют к себе на работу подлинных специалистов и научных работников и вынуждают их заниматься шпионажем в дополнение к их основной специальности. Вся эта работа проводится по инструкциям из ЦК КПСС.

Пеньковский пишет, что иногда офицеры ГРУ в высоких чинах посылаются за границу под видом скромных работников, например, сторожей, водителей машин или даже уборщиков. Он приводит фамилии мнимых шоферов в некоторых посольствах, которые, в действительности, были капитанами, майорами и имели даже более высокие воинские звания. Все это делается для слежки за самими сотрудниками советских посольств и консульств, большинство из которых находится на службе либо у КГБ, либо у военной разведки. Слежка доходит до самых мелочей, как это видно из такого места в «Записках» Пеньковского:

«Личные письма всех работников посольства, в том числе и сотрудников ГРУ и КГБ, до отправки прочитываются специально выделенными для этой работы лицами. Особое внимание обращается на письма жен сотрудников. Придирки делаются и по пустякам; например, считается недопустимым написать в письме из-за границы: 'Мы питаемся хорошо. У нас много молока и мяса'. Этого, увы, делать нельзя — нельзя признавать, что за пределами СССР может быть достаток. В таких случаях автора письма вызывают на беседу, ему делают предупреждение и требуют, чтобы он предупредил и свою жену о недопустимости писать что-нибудь лишнее в письмах».

Очень интересно в «Записках» и то, что пишет Пеньковский о советской ракетной технике и о работах в области ядерного оружия. По утверждению Пеньковского, лишь очень небольшая часть советских исследований в области применения атомной энергии ведется для мирных целей. Пеньковский пишет: — «Все остальные работы предназначены для военных целей и ведутся они под наблюдением чекистов из КГБ. КГБ ответственно за охрану всех ядерных установок, научно-исследовательских институтов, лабораторий и мест хранения ядерных бомб и ракет. Части КГБ сопровождают ядерное оборудование при его транспортировании. Для этой цели у КГБ есть специальные автомашины, железнодорожные вагоны и самолеты».

Пеньковский описывает обстановку строжайшей секретности, в которой ведутся советские испытания ядерного и ра-

кетного оружия. Даже офицеры Генерального штаба советской армии не всегда знают об этих испытаниях и, во всяком случае, не имеют права говорить о них, пока не появилось официальное сообщение ТАСС. Пеньковский вспоминает, как работникам Генерального штаба был показан фильм взрыва первой советской атомной бомбы. Фильм этот никогда не демонстрировался для широкой публики. Вот, что пишет Пеньковский, об этом фильме: — «Я видел его, когда учился в Военно-дипломатической академии. В начале фильма была показана перевозка бомбы на грузовике с толстыми шинами. Машину охраняли солдаты и офицеры. Показывали аэропорт и самолет, хотя трудно было распознать его тип, а также перегрузку атомной бомбы с грузовика на самолет. Были также фильмовые кадры с лесом и поющими птицами, с местом на земле, помеченным кругом, куда должна была быть сброшена бомба. В радиусе двух километров или больше были размещены разные автомашины, танки, а также обычные и бетонные здания. Были также показаны кадры фильма с коровами, лошадьми, овцами, собаками и другими животными, либо привязанными к деревьям и постройкам, либо просто блуждавшими по отведенному для взрыва району. Затем был показан взрыв бомбы, сброшенной с самолета, а также результаты исследований разрушенных зданий и останков животных».

Дальше Пеньковский рассказывает об испытаниях ядерного оружия уже в период власти Хрущева, отмечая, что ни сам Хрущев, ни Малиновский ни разу не присутствовали при таких испытаниях, хотя Хрущев был дважды при запуске ракет. Пеньковский подчеркивает, что советские официальные сообщения об испытаниях ядерного оружия и баллистических ракет никогда не упоминают о неудачах и несчастных случаях, хотя таких случаев бывало много.

В связи с этим Пеньковский приводит два случая, когда погибли весьма известные лица. Первый из них связан со смертью маршала Митрофана Ивановича Неделина, командовавшего ракетными войсками. По официальному сообщению ТАСС, маршал Неделин погиб 24-го октября 1960-го года в авиационной катастрофе. За два дня до этого ТАСС сообщило о скоростной смерти при исполнении служебных обязанностей генерал-полковника Павловского, помощника начальни-

ка Генерального штаба СССР. А вот что говорит о их смерти Пеньковский:

«Хрущев требовал, чтобы его специалисты создали ракетный двигатель, работающий на атомной энергии. Лабораторные изыскания были закончены к октябрю месяцу 60-го года, и вот ответственные за это дело люди задумали поднести Хрущеву «подарок» к 43-ей годовщине октябрьской революции. Был дан приказ провести испытания ракеты с таким двигателем. На испытаниях присутствовали маршал Неделин, многие специалисты и представители различных правительственных комитетов.

Был дан сигнал к старту, но ракета не тронулась со стартовой площадки. После того, как прошло пятнадцать-двадцать минут, Неделин и другие присутствовавшие вышли из укрытия. Тут и последовал взрыв. Свыше трехсот человек было убито. Некоторым удалось спастись чудом, хотя они и были сильно контужены. В Москву были доставлены урны, якобы с останками Неделина и других погибших. Но в действительности урны эти были наполнены землей, так как останков нельзя было найти. Несколько таких урн было похоронено с почестями, но других похоронили тайно, и только в городах, из которых приехали погибшие ученые, был объявлен траур. Я знаю, например, что длительный период траура был объявлен в Днепропетровске».

Второй, описанный Пеньковским случай, связан с гибелью ряда крупных советских военачальников в мае 61-го года. В «Известиях» от 19-го мая было краткое сообщение министерства обороны СССР, в котором говорилось, что в результате авиационной катастрофы погибли при исполнении служебных обязанностей генерал армии Колпакчи, генерал-полковник Переверткин, генерал-лейтенант артиллерии Гоффе, генерал-майор Морозов и полковник Хихловский. А вот, что рассказывает об этом Пеньковский:

«В мае 61-го года, недалеко от Одессы, в присутствии представителей стран Варшавского пакта, проводилась учебная стрельба боевыми ракетами. 17-го мая группа советских генералов вылетела на вертолете на осмотр полигона около города Николаева. В вертолете находились: генерал армии Колпакчи — начальник боевой подготовки Генерального штаба, генерал Переверткин — заместитель председателя Комитета

государственной безопасности СССР, генерал Гоффе — заместитель командующего артиллерией и ракетными войсками, генерал Морозов — начальник оперативного управления Одесского военного округа, и другие лица.

Когда вертолет был уже над полигоном, одна из лопастей несущего винта оторвалась и вертолет упал. Все пассажиры и члены команды были убиты. Их тела были так изуродованы, что родным не позволили их смотреть. И это была не единственная катастрофа: было много несчастных случаев как с вертолетами этой конструкции, так и с военными самолетами и ракетами всех типов. Но всё это скрывается от населения Советского Союза».

Для всякого, интересующегося вопросами внешней и внутренней политики Советского Союза, и, в особенности, организацией его правительственного и партийного аппарата и методами управления страной, — «Записки» Пеньковского представляют собой очень ценный документ.

*Н. Градобов*

## МЕМОАРЫ А. Ф. КЕРЕНСКОГО

Книга А. Ф. Керенского «Россия и поворотный пункт истории»,\* недавно вышедшая по-английски в Нью-Йорке, не первая его книга о русской революции. О февральской революции и большевистском перевороте он опубликовал за последние 35 лет несколько книг и ряд статей на русском и иностранных языках. Но эта последняя книга несомненно самая ценная и интересная. Это одновременно и автобиография А. Ф. Керенского, начиная с детства и кончая 1920-ым годом, и история революции 1917-го года, в которой автор играл центральную роль.

Я читал почти все, что Керенский и другие мемуаристы и историки писали о февральской революции. И на мой взгляд эта книга А. Ф. Керенского самая интересная и правдивая история этого периода русской революции. Книга написана просто, ясно и читается с неослабевающим интересом. В предисловии автор, сравнивая работу историка и мемуариста, говорит, что оба должны быть объективны только в отношении **фактов**. Что же касается их истолкования, то тут и историк и мемуарист всецело зависят от своих взглядов, симпатий и т. д. Самая интересная часть книги — это, конечно, автобиография.

А. Ф. Керенскому теперь 85 лет. Он родился в 1881-ом году в Симбирске. Отец его был директором симбирской гимназии, которую, кстати, окончил Ленин. Дед Керенского по отцу был священником. Мать — внучка крепостного крестьянина, потом разбогатевшего и ставшего московским купцом. В книге А. Ф. Керенский дает живую картину своих детских лет — сначала в Симбирске, потом в Ташкенте, куда переехала семья и где он окончил гимназию. Далее он описывает свои студенческие годы в Петербурге, где он окончил юриди-

---

\* "Russia and History's Turning Point" by Alexander Kerensky, Duell, Sloan & Pearce, N. Y. 1965.

ческий факультет и где стал адвокатом. Революционером А. Ф. стал уже будучи студентом. Раньше он был монархистом. Он рассказывает, что когда в 1894-ом году он услышал о смерти Александра III, он плакал горькими слезами. В детстве А. Ф. мечтал стать актером или музыкантом. У него был хороший голос и он учился музыке. Позже, однако, он решил, «посвятить себя служению своему народу и российскому государству, подобно тому, как это делал его отец всю свою жизнь». В противоположность всем лидерам Петроградского и Всероссийского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов и вождям социалистов-революционеров и социал-демократов (меньшевиков и большевиков), которые большую часть своей сознательной жизни провели или в тюрьмах и ссылке или за границей, А. Ф. Керенский в тюрьме сидел только очень короткое время и до 1918-го года никогда не выезжал из России. Как адвокат, выступавший большей частью в политических процессах, он разъезжал по всей России и был в постоянном контакте с людьми разных классов и национальностей.

Уже в 1912-ом году, когда Керенский был выбран депутатом Четвертой Государственной Думы, он был широко известен как политический деятель. В Думе он скоро стал лидером левой оппозиции. По своим политическим симпатиям Керенский в годы первой революции был социалистом-революционером. Одно время он даже хотел вступить в Боевую Организацию и участвовать в подготовлявшемся тогда покушении на Николая II. Но провокатор Е. Азеф возглавлявший тогда Боевую Организацию, отказался принять его, мотивируя это тем, что у Керенского «нет никакого революционного опыта». «До 1910-го года, — пишет А. Ф., — я никогда много не думал о будущем и у меня не было никаких планов. Единственным моим желанием, с самого начала моей политической жизни было служить моей родине и для меня было совершенно неожиданно, когда во время одного процесса в петербургском суде, осенью 1910-го года, Л. М. Брамсон, бывший лидер Трудовой группы в Первой Государственной Думе и С. Знаменский — член Ц.К. Трудовой группы, предложили мне выставить мою кандидатуру от трудовиков на предстоящих выборах в Четвертую Государственную Думу. Я узнал, что фракция трудовиков будет расширена и в нее войдут также и другие народнические группы (народные социалисты)». Керенский при-

нял предложение и, как трудовик, был выбран депутатом от Саратовской губернии.

Очень интересны главы, где Керенский описывает Освободительное движение в России в годы 1904-1905 и путь России к демократии за последние годы перед первой мировой войной. Он рассказывает многое, о чем нет ни слова в большинстве историй русской революции. В этих двух главах автор дает ясную картину положения России накануне революции. Он описывает лидеров всех фракций Думы, стараясь быть объективным. Даже об «Октябристах» он пишет, что лидеры их не были реакционны и в частности с большим уважением отзывается о А. И. Гучкове. Керенский описывает большой прогресс, который Россия проделала в годы между двумя революциями в области народного образования. С цифрами и фактами в руках, он опровергает широко распространенные на Западе легенды о том, что «до прихода большевиков» только десять процентов населения России были грамотны. Он показывает, что средние и высшие учебные заведения России еще до Думы были самыми демократическими в мире по социальному составу учащихся. В 1906 году в России было 76 тысяч школ с общим числом учащихся около четырех миллионов. А в 1915 году было уже 122 тысячи школ с восемью миллионами учащихся. Автор указывает также на колоссальный рост кооперативного движения в России, которое в 1916-ом году насчитывало десять миллионов пятьсот тысяч членов, и на огромный рост промышленного производства в стране, в годы 1900-1905 повысившегося более чем на 50 процентов, а около 1913-го года — на 290 процентов. Война 1914-го года фактически приостановила дальнейший прогресс страны. Говоря о войне, Керенский подчеркивает, что в России никто — ни народ, ни правительство — этой войны не хотели.

О Распутине, о царице Александре Федоровне и о Николае II написаны десятки книг и сотни статей. Но Керенский и о них рассказывает много чрезвычайно интересных подробностей, которые до сих пор не были известны.

Перед читателем в книге Керенского проходят многие лица, игравшие видную роль в великой русской драме: царь, царица, Распутин, царские министры, выдающиеся генералы и адмиралы, известные депутаты Думы, видные общественные деятели, лидеры партий, иностранные дипломаты. О каждом из

них у Керенского есть что сказать и то что он рассказывает о них имеет несомненную историческую ценность. Керенский интересно рассказывает и о масонском движении в России. В 1912-ом году, вскоре после избрания его депутатом в Думу, он был принят в одну из масонских лож.

Но самая драматическая часть мемуаров Керенского это, конечно, та, где он описывает февральскую революцию, в которой он, с первого дня и до большевистского переворота играл заглавную роль. Очень ценны также те страницы книги, где Керенский рассказывает о попытках дворцового переворота до революции. В течение 1915-го года разные офицерские группы пытались организовать заговоры, чтоб избавиться от царицы и, если нужно, устранить самого царя. Керенский подробно рассказывает об этих заговорах, в которых были замешаны А. И. Гучков, генерал Алексеев, главнокомандующий русской армии, и другие выдающиеся государственные люди. Переворот должен был произойти в середине марта 1917-го года. Но в конце февраля, неожиданно для всех, вспыхнула революция.

Керенский утверждает, что в феврале 1917-го года два-три полка, преданные царю, легко могли бы подавить восстание и «установить порядок» в столице: «Но царское правительство, — пишет он, — в Петербурге тогда не имело ни одного солдата, который был бы готов выступить против народа и против Думы».

В высшей степени интересно то, что Керенский рассказывает об образовании Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, товарищем председателя которого он был. Керенский особенно подчеркивает, что Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов никем не был выбран. Он был создан группой деятелей подпольного рабочего движения. В него вошли, освобожденные тогда из тюрьмы, лидеры рабочей группы Военно-Промышленного комитета (Гвоздев и его товарищи, все правые меньшевики). В Исполнительный Комитет были включены и все представители центральных учреждений партии социалистов-революционеров, социал-демократов (меньшевиков), еврейского Бунда и народных социалистов и трудовиков. Большевики в создании Петроградского Совета Рабочих Депутатов не играли никакой роли. Они вначале были даже враждебно настроены по отношению к Совету, потому что об-

разование Совета шло вразрез с их планами. Но скоро они переменили свое мнение и их лидеры — Молотов, Шляпников и Залуцкий — тоже вступили в Исполком Совета. С вхождением большевиков в Исполком Совета, весь характер Совета сразу изменился. По предложению Молотова Исполнительный Комитет принял решение призвать все полки Петроградского гарнизона послать своих представителей в Совет. Меньшевики и часть эс-эров выступили против этого предложения Молотова, но при голосовании они остались в меньшинстве и результат был тот, что из трех тысяч депутатов Совета — две тысячи были солдаты и лишь тысяча рабочие. Солдатские же депутаты в Совете дали большевикам непосредственный доступ и в казармы и на фронт и это одновременно дало большевикам и полубольшевикам Совета сильнейшее оружие в их политической борьбе, особенно в Петрограде.

Очень подробно А. Ф. Керенский описывает положение в стране и на фронте во время революции. Подробно говорит о неудавшемся наступлении русской армии в июне-июле 1917-го года. Уделяет много места июльскому восстанию большевиков и их связи с германским штабом, при чем показывает, как левые социалисты играли на руку большевикам.

Много страниц Керенский посвящает восстанию ген. Корнилова. Он приводит факты и документы, показывающие, что в заговоре Корнилова были замешаны различные группы, целью которых был разгон Совета, свержение Временного Правительства, и образование Национального правительства с Корниловым во главе. Керенский признает, что генералы Корнилов, Деникин и Алексеев (который также был замешан в заговор Корнилова), не были монархистами, мечтавшими о восстановлении монархии. За спиной Корнилова стояли не только такие, не внушавшие никакого доверия люди как Завойко и ему подобные, но и патриотически настроенные офицеры и большая часть умеренных либералов. П. Н. Милюков был хорошо осведомлен о готовившемся восстании и морально его поддерживал в уверенности, что только таким путем можно спасти Россию. Исторически несомненно одно: корниловское восстание и его подавление создали чрезвычайно благоприятную почву для большевистского переворота.

Все это так. Но верно и то, что Корнилов, другие вожди армии и значительная часть либералов стали сторонниками

установления военной диктатуры в стране только потому, что в этом видели единственное средство остановить анархию и в стране и в армии. Тот факт, что Временное Правительство не приняло серьезных мер против антивоенной агитации и пропаганды большевиков и их попутчиков (левых социалистов) в тылу и на фронте, привел к тому, что генералы и офицеры в армии и патриотические элементы среди интеллигенции и народа становились противниками революции и Временного Правительства. П. Н. Милюков рассказывает в своих «Воспоминаниях», что когда председатель Совета Министров Временного Правительства князь Львов в июле 1917-го года вышел в отставку, он сказал: «Спасти Россию можно только, если разогнать Совет и стрелять в народ. Я этого не умею. Керенский это сумеет». Но Керенский тоже этого сделать не сумел, ибо это означало для него — стать диктатором. Многие ему тогда это советовали. Но он этого не сделал, и сделать не мог, как идеалист, гуманист, искренний демократ.

Конечно, в слабости Временного Правительства больше Керенского были виноваты левые вожди Совета, которые фактически имели большую власть, чем министры Временного Правительства. Они все время талдычали о несуществовавшей «правой опасности» в стране, а реальную большевистскую опасность игнорировали. Ведь даже после июльского восстания большевиков многие левые социалисты поносили Керенского и Временное Правительство за арест Троцкого и других большевистских лидеров, требуя их немедленного освобождения. И накануне большевистского восстания меньшевик Ф. Дан, один из главных лидеров Совета, предупреждал Керенского, чтобы он не смел посылать казаков для подавления восставших большевиков, ибо это может повести к гражданской войне и к «победе реакции в стране». Обо всем этом Керенский подробно пишет в своей книге.

Одна из наиболее интересных глав это та, в которой Керенский описывает, как в октябре 1917-го года он спасся от рук большевиков и потом почти полгода жил нелегально в России, большей частью в Москве и в Петрограде. Но эта глава полностью печатается в этой же книге «Нового Журнала» и говорить о ней нет смысла. Оценка Керенским Учредительного Собрания тоже очень интересна и вполне правильна. Не менее интересно и то что Керенский в последней главе рассказыва-

ет о своих беседах в 1918-ом году с английским премьер-министром Ллойд-Джорджем и с французским премьером Клемансо и другими английскими и французскими государственными деятелями. С его оценкой Версальского мирного договора, однако, большинство серьезных историков, как союзных стран, так и нейтральных, не согласятся. В том, что английские дипломаты уже в первые месяцы революции разочаровались во Временном Правительстве и морально поддерживали те элементы, которые стремились к установлению военной диктатуры в России, теперь нет никакого сомнения. Англичане несомненно были хорошо осведомлены о заговоре Корнилова и определенно ему сочувствовали. В 1918-ом году англичане непосредственно помогли реакционным офицерам свергнуть демократическое правительство Н. В. Чайковского на Севере России, а английский генерал Нокс в конце 1918-го года активно помог тем же политическим группам свергнуть в Омске демократическую Директорию, во главе с Н. Д. Авксентьевым. Все это теперь уже точно установлено. Но действительно ли Франция, как и Англия, после большевистского переворота твердо решили окончательно расчленить Россию, как утверждает А. Ф. Керенский, это еще остается под вопросом и никем установлено не было.

В книге, к сожалению, есть немало ошибок и пробелов. Нет, например, ничего о попытке Ленина в июне 1917-го года, при помощи вооруженной демонстрации свергнуть Временное Правительство и захватить власть. Нет ничего и о переговорах А. Ф. Керенского с Л. Г. Корниловым до Московского Сопещения и неизвестно, к какому соглашению они тогда пришли. Не ясно до сих пор какова была роль Б. В. Савинкова в этих переговорах. Очень жаль, что в этой книге нет ни слова и о словесной дуэли между Керенским и Лениным на Первом Всероссийском Съезде Советов. Жаль также, что говоря о съезде партии Социалистов-Революционеров в конце лета 1917-го года, Керенский не передал, хотя бы вкратце, его речь о *левой* опасности, которая грозит России и революции, в то время как лидеры партии тогда говорили там только о «*правой* опасности».

Керенский и теперь продолжает верить в будущее русско-го народа, в неминувшее торжество свободы и демократии в России. Он верит в воскрешение гуманистических традиций Гер-

цена, Льва Толстого, Владимира Соловьева и русских народников. «Россия и поворотный пункт истории» — ценнейшая и интересная история русской демократической революции. Эта книга обязательно должна быть издана и на русском языке.

*Д. Шуб*

## ПРОФ. Н. С. ТИМАШЕВ О ПУТЯХ РОССИИ\*

В историю науки проф. Тимашев войдет прежде всего как социолог и правовед. Но очень видное место принадлежит ему и как специалисту по России и СССР. К занятию этого места он был подготовлен всем своим прошлым — семейным и житейским, образовательным и педагогическим, общественным и журналистическо-редакторским. Автор бесчисленного количества газетных и десятков научных статей на многих языках, он является автором также целого ряда книг, полностью или частично посвященных русским и советским проблемам. Главнейшие из них следующие: подготовленный в сотрудничестве с группой русских ученых двухтомный труд «Право Советской России», (Прага, 1924), «Основы конституционного права Советской России», книга вышедшая по-немецки (Мангейм-Берлин, 1925), «Политическое и административное устройство СССР» (Париж, 1931), «Религия в Советской России, 1917-1942», вышедшая по-английски, (Нью-Йорк, 1942); существуют также американское, португальское, шведское, датское, китайское, испанское и мексиканское издания книги «Великое отступление», (Нью-Йорк, 1946); есть еще американское, португальское, шведское и китайское издания книги «Три мира» (Милвоки, 1946) и книги «Война и революция» (Нью-Йорк, 1965).

Главная задача этой статьи заключается в том, чтобы, опираясь на этих трудах, в краткой и по неизбежности схематической форме передать некоторые из основных взглядов проф. Н. С. Тимашева на то, какими путями развивалась дореволюционная Россия, какой и почему она вошла в революционный период, через какие этапы проходит при советской вла-

---

\* В основу этой статьи положена речь, произнесенная на собрании в честь проф. Н. С. Тимашева, которое было организовано Обществом друзей русской культуры и рядом других обществ в Нью-Йорке 21 марта 1966 г.

сти, и на каких основах она, возможно, будет строиться в пореволюционное время. В итоговой части статьи делается попытка соотнести эти взгляды проф. Тимашева с его обликом как ученого вообще, социолога в частности, и представителя русской общественной мысли в особенности.

## 1

В государственно-территориальном росте России проф. Тимашев выделяет четыре основных направления или процесса. На первом месте стоит процесс колонизации. В несколько приемов Киевская Русь прежде, Московская Русь и Российская Империя потом далеко раздвинули свои пределы. Проникновение России в Азию, осуществленное вчерне к середине XVII в., в значительной мере напоминает позднейшее продвижение к Тихому океану в истории Соединенных Штатов — с той только разницей, что в США движение было с востока на запад, а в России — с запада на восток. Вообще, это направление, колонизационное, является естественным для всех жизнеспособных народов, которые распространяются, находя относительно свободные земли для своего расселения.

Другой процесс — это этническое и династическое объединение. Единая некогда Киевская Русь впоследствии распалась на ряд удельных княжеств, и ее соседи, преимущественно литовцы и поляки, пользуясь тем, что Русь под ударами татар оказалась еще более обессиленной, завладели рядом исконных русских земель. Процесс воссоединения этих земель — на этот раз уже не вокруг Киевского или Новгородского, а вокруг Московского центра — был, во многом, завершен к концу XV века.

Третье направление связано с фактом существования империй. Империи — не только российская, но и любая другая: британская, португальская, испанская, французская, голландская, бельгийская — расширяли свои территории путем присоединения и таких земель, которые в этническом отношении не имели ничего общего с основным народонаселением.

Колонизация, этническое и династическое объединение, а также имперское расширение территории — у одних в заокеанских странах, у других, как у России, в непосредственной близости от естественных границ, — эти три процесса имели место в истории и других государственных образова-

ний. Четвертое же направление — движение к открытому теплomu морю, Балтийскому на севере и Черному на юге — было специфически русским. Но и это направление имело за собой историческую традицию: знаменитый путь из варяг в греки, соединявший Балтийское море с Черным, был осью русской истории еще на заре Киевского государства, и только впоследствии Россия была отеснена от этих двух морей. Поэтому движение к открытому морю было одновременно возвратом на земли, которые с самого начала русской государственно-сти так или иначе находились в сфере влияния России.

Так, во взаимодействии этих четырех главных направлений или процессов, представляет себе проф. Тимашев историческую поступь России.

## 2

Уже из предыдущих упоминаний о европейских народах и странах естественно возникает вопрос об отношении России к Европе. В чем еще Россия похожа на Западную Европу и в чем отличается от нее? Есть ли Россия часть Европы или она часть Азии? Известно, что на этот счет существуют разные точки зрения. В эмиграции одно время была если не модной, то очень шумной теория евразийцев, сблизившая Россию с Азией, а не с Европой. Но и в давнишнем споре славянофилов с западниками вопрос об отношении России к Западной Европе и западной культуре решался далеко не однозначно.

Со своей стороны, проф. Тимашев считает, что не только в петербургский период, но и в первые века русской истории основы цивилизации и культуры были у России и Запада, в главном, одни и те же. Общей была тогда религиозная, христианская основа культурного развития; общими были элементы экономического и политического бытия; общими, наконец, были основы развития языков, принадлежащих к одной и той же семье индоевропейских языков.

Различия начинаются позже, с XIII в., когда наступает татарское иго, и эти различия давали повод многим исследователям утверждать, что Россия была откинута в Азию, что она прониклась азиатскими началами: ведь татарское иго продолжалось без малого два с половиной века. Проф. Тимашев притягивает к тем специалистам по русской истории, которые считают, что влияние татарского ига на русскую культуру было

сравнительно незначительным. Главное объяснение этой незначительности в том, что татары не колонизовали России: они не расселились среди русских и все время оставались по отношению к России как бы посторонней силой. Следы татарского влияния, конечно, есть, но это влияние не привело ни к каким радикальным изменениям в основах духовной жизни русского народа, в его религии, нравах и основных представлениях.

Те, кто сближает Россию не с Европой, а с Азией, обыкновенно указывают на ряд отличий России от Западной Европы: на то, что Россия осталась в стороне от влияния римского права и римской церкви; что она не испытала тех освободительных течений, через которые прошла Западная Европа в эпоху Возрождения и Реформации; что она не пережила того формирования частной хозяйственной инициативы и гражданственности, которое связано с ростом городов на Западе; что она, наконец, не приняла участия в западно-европейской борьбе за ликвидацию абсолютизма.

Возражения проф. Тимашева на эти замечания сводятся к следующему. Неверно, будто римское право не оказало никакого влияния на русское право: это влияние проявилось в заимствовании некоторых принципов кодекса Юстиниана и особенно сказалось в семейном и наследственном праве. Что же касается римской церкви, то надо иметь в виду, что разделение христианства на западное и восточное произошло еще в XI веке, без малого за два века до татарского ига. Затем, хотя в России действительно не было Возрождения, элементы его в Россию все же проникали — вспомним хотя бы приезд в Москву Софьи Палеолог и римских архитекторов при Иване III. Наличие же или отсутствие Реформации не связано необходимо с представлением об европейской культуре: целый ряд крупнейших стран Западной Европы — главным образом, Испания и Италия, в значительной степени Франция — остались вне Реформации. В отношении роста и роли городов Россия в самом деле отличается от Западной Европы: в Средние века функция русских городов, их рост и руководство ими находились в руках княжеской власти, и взаимоотношения людей в них складывались иначе, чем взаимоотношения и психология людей, убежавших от сюзерена или феодала и вырабатывавших в себе компоненты хозяйственной инициативы и гражданственности в западно-европейских городах. Смежный же с этим

вопрос о борьбе против политического абсолютизма обстоит далеко не так, как это представляется многим посторонним наблюдателям. Достаточно сказать, что в отношении ограничения самовластья Россия отстала от передовых западно-европейских стран на сто, а то всего лишь на пятьдесят или меньше лет.

Таким образом, глядя более чем на тысячелетний путь развития российского государства и русской культуры, проф. Тимашев приходит к выводу, что в политическом, хозяйственном и культурном отношении Россия это та же Европа, хотя и Восточная, — но ни в коем случае не Азия.

### 3

Какова же была общая тенденция исторического развития России и что представляла собой Россия накануне революции 1917 г. и захвата власти большевиками? Была ли революция неизбежной и необходимой?

По словам проф. Тимашева, в русской истории есть целый ряд явлений, которые свидетельствуют о том, что России подготавливалось иное, демократическое, а не коммунистическое будущее. Он указывает прежде всего на вечевой строй Киевской Руси; на севернорусские народоправства; на казачью вольницу; на конституционные планы времен Александра I и Александра II: как известно, Александр II утвердил проект политической реформы, который мог послужить исходным пунктом будущего конституционного строя, и только убийство царя революционерами 1 марта 1881 г. остановило этот эволюционный процесс и отбросило Россию, в политическом отношении, на четверть века назад, подморозило Россию. Проф. Тимашев указывает далее на успех земского и городского самоуправления в России, а равно и на исключительный судебный порядок, установившийся в России в результате реформы 1864 г. и приведший к тому, что русский дореволюционный суд был в некоторых отношениях выше немецкого и французского судов: во французском суде, например, не было такого равновесия сторон и нейтральности судебной коллегии, какие были в русском — французский судья нередко фактически помогает прокурору, допрашивая обвиняемого (некоторые стороны судебной реформы, нарушенные в период реакции, были потом, в думский период, восстановлены и даже улучшены). Упоминает проф. Тимашев и о вековом освободительном движении в ря-

дах русской интеллигенции, и о непосредственной демократии, господствовавшей среди крестьян и сломленной большевиками лишь в начале тридцатых годов.

К этим элементам демократического развития в историческом прошлом России следует добавить ряд других, уже непосредственно предшествовавших началу войны и революции. Главнейшие из них следующие. Каковы бы ни были недостатки новых представительных учреждений, с введением в России конституции 1905-6 гг., с созданием Государственной Думы и Государственного Совета, политический строй России изменился принципиально, а не по форме только. Имели место вспышки самовластья, но, как пишет проф. Тимашев, эти вспышки неизбежно становились бы все более редкими, и в конечном счете Россия превратилась бы, очевидно, в подлинную конституционную монархию. Внедрение конституционализма должно было быть поддержано дальнейшим развитием местного самоуправления, в частности введением волостного земства и распространением земских и городских учреждений на всю Россию. Имело место и постепенное расширение избирательного права. Никакая демократия не может, однако, нормально функционировать, если ее опорой служат неграмотные массы. К усилиям правительства, церкви и земства прибавились усилия Думы, и по вполне реалистическому плану внедрения всеобщей грамотности, доступ в начальную школу должен был быть обеспечен всем детям школьного возраста уже в 1922 г. т. е. на десять лет раньше, чем это произошло при советской власти. Качество же среднего и высшего образования в предреволюционной России было исключительно высоким. Ко всему надо прибавить еще явления экономического и социального порядка бурный рост промышленности, начавшийся еще в 1890-х гг.; постепенную перестройку аграрного строя, связанную с именем Столыпина; стихийный рост кооперации; дальнейшее развитие социального страхования по прогрессивному германскому образцу и т. д.

Общий вывод проф. Тимашева тот, что революция в России не была ни необходимой для прогресса страны, ни неизбежной. Отмеченные здесь явления и процессы — и в истории России, и конкретно на 1914 г. — дают основание утверждать, что Россия могла пойти по демократическому пути. Конечно, нет гарантии, что она действительно пошла бы по этому пути,

но такова была вероятность, тенденция дальнейшего политического, социального и культурного развития России.

И тем не менее революция произошла. Есть много объяснений того, почему она произошла и почему в России вместо демократии установилась коммунистическая диктатура. В своих работах проф. Тимашев дает подробный исторический и социологический анализ причин и факторов русской революции. Здесь приходится ограничиться указанием на то, что в истории России был ряд конфликтов, не разрешенных полностью, — в частности, конфликтов, связанных с землеустройством. Реформа 1861 г. — освобождение личности крестьянина, причем с наделением его землей — была актом огромного морального, социального и политического значения. Но окончательное решение крестьянского вопроса началось лишь с введением в 1906 г. столыпинской земельной реформы. В соответствии с этой реформой, к 1935 г. экономически регрессивной крестьянской общины больше не было бы и ее место заняли бы двадцать миллионов фермерских хозяйств, обеспечивающих социальную, экономическую и политическую стабильность деревни. Были и другие трудности и конфликты. Большинство их перед 1914 г. как будто исчезло с поверхности жизни или по крайней мере не представляло смертельной опасности для государственного организма. Но в результате, главным образом, затяжной и неудачной мировой войны, эти конфликты снова всплыли на поверхность, и пересечение разных неблагоприятных линий развития привело к революции 1917 г.

#### 4

Каким же путем пошла Россия после того, как большевики свергли Временное правительство и установили свою власть?

Проф. Тимашев расходится со взглядами тех историков, которые считают, что всякая революция проходит через две фазы, разрушительную и созидательную. Уже в первые четверть века существования советского режима прочно обозначились четыре фазы или периода. Первые два общеизвестны — это военный коммунизм (1917-1921) и НЭП (1921-1928). Третий период (1929-1934) проф. Тимашев определяет как период второго социалистического наступления, четвертый, начавшийся в 1934 г. — как период великого отступления. Таким образом, из этих четырех фаз в истории советского режи-

ма две — как бы восходящие к коммунизму, и две — нисходящие.

В особенности много внимания проф. Тимашев уделяет анализу последнего периода. Он отмечает, что в сознании большинства исследователей Советского Союза великие чистки тридцатых годов (и политическая диктатура Сталина вообще) затемнили значение социальных и культурных процессов, начавшихся в середине тридцатых годов. Главный смысл этих процессов в том, что в Советском Союзе был постепенно установлен некий компромисс между ортодоксальной коммунистической доктриной и элементами русского культурного и исторического прошлого. Последующий коммунизм во многих отношениях отличается от того, чем был до 1934 г. — в период первого (военный коммунизм и пролеткульт) и второго (коллективизация и Р. А. П. П.) социалистических наступлений.

Эта концепция была подробнее всего развита проф. Тимашевым в его английской книге «Великое отступление», предисловие к которой подписано в сентябре 1945 г., — т. е. еще до возникновения ждановщины, Коминформа, борьбы против космополитизма, нового наступления на религию и т. д. Но внимание проф. Тимашева к процессам, происходящим в СССР, не остановилось на 1945 годе. В последующих своих работах, главным образом многочисленных статьях, он продолжал тщательно отмечать все, что появлялось нового и что возобновлялось старого в жизни Советского Союза в разных областях: внутренней и внешней политики, идеологии, религии и церкви, народного образования, демографии, права и т. д. При всех колебаниях в политике коммунистической партии, основной тезис о компромиссе между коммунистическими и, по существу, чуждыми и даже враждебными коммунизму элементами остается, однако, в силе.

## 5

Советский режим существует уже почти полвека, а та разнородная смесь, которая стала создаваться в тридцатых годах, — свыше четверти века. И вот возникает вопрос надо ли считать, что эта амальгама есть окончательная форма исторического бытия России в XX веке, или же можно ожидать, что Россия пойдет в будущем по какому-то другому историческому пути?

Основываясь в значительной степени на наблюдениях и

анализе, но отчасти также на своих верованиях и чаяниях, проф. Тимашев считает, что будет еще новая, пореволюционная Россия. Это очевиднее всего следует из анализа положений, относящихся к области идеологии.

Формально существует, конечно, только одна, коммунистическая идеология, которая раньше называлась марксизмом-ленинизмом-сталинизмом, а теперь опять стала марксизмом-ленинизмом. Как ни странно, даже эта идеология, многим представляющаяся неизменной, за время советской власти неоднократно менялась, притом в самых различных направлениях. Так например, произошел переход от механистического материализма к диалектическому, был пересмотрен вопрос о роли личности в истории, была принята доктрина о возможности победы социализма в одной стране, был установлен новый взгляд на сроки отмирания государства, было выдвинуто новое учение о возможности предотвращения мировой войны и т. д. Но главное не в этих изменениях в советской идеологии — и не в том, что одни коммунисты верят в нее искренно и полностью, а другие относятся к ней как к известной прагматической теории, которая позволяет действовать в политическом, экономическом и общественном планах. Главное в том, что наряду с официальной идеологией существует подпольная идеология, которую можно назвать вольной.

Вольная идеология не столько выражена, сколько подлежит угадыванию. О ней можно судить по самым различным данным — таким, как нападки представителей власти на различные категории неугодных режиму граждан; как мероприятия, направленные на умиротворение недовольных народных масс; как еретические мысли, проскальзывающие в советской литературе и на страницах советской печати вообще, и пр. Многого проступает и в разговорах, которые ведут иностранцы в Советском Союзе и советские люди за границей, в материалах и заключениях американских научно-исследовательских групп, ведущих работу с бывшими советскими гражданами и т. д. Из всех этих частичных данных и источников можно составить некую сборную программу того, что отвергается и того, что утверждается.

Каковы же основные элементы вольной идеологии? Чем недовольны в Советском Союзе? Прежде всего, налицо определенное недовольство колхозной системой. Недовольство также

тем, что торговля и легкая промышленность, работающая на нужды населения, не обеспечивают людей всем необходимым. К тому же товары производятся плохого качества. Недовольство тем, что права личности по-настоящему не ограждены законом и нет гарантии того, что личность действительно неприкосновенна. Недовольство тем, что не существует свободы творчества — что писатели, ученые, художники, композиторы, работники кино и другие деятели культуры лишены возможности работать так, как этого требует их творческая индивидуальность. Недовольство тем, наконец, что нет религиозной свободы — что церковь и верующие по-прежнему подвергаются давлению, ограничениям, а временами и гонениям со стороны власти и ее пособников. Из этих пяти основных элементов недовольства вытекает и определенная положительная программа.

Чего хотели бы в Советском Союзе? Хотели бы, прежде всего, установления частной собственности на землю или хотя бы свободы в выборе форм землепользования, — во многих районах России, в особенности там, где механизация сельского хозяйства достигла значительного развития и где свойства почвы и климата это позволяют, обработка земли будет совместной, повидимому, и при ином режиме, но уже на свободных кооперативных началах, а не на началах принудительных, при которых к тому же хозяин не располагает продуктами своего труда. Затем, хотели бы, чтобы была установлена некоторая экономическая свобода — частное предпринимательство в розничной торговле и в легкой промышленности, обслуживающих потребителя (нет указаний на то, что существует стремление к восстановлению частной собственности в области тяжелой промышленности). Хотели бы также, чтобы личность была ограждена от произвольных действий власти. Интеллигенция хотела бы установления свободы научного, литературного, музыкального и иного творчества. И, наконец, верующие хотели бы свободы религии и церкви.

Мало свидетельств тому, что есть какая-либо разработанная система пожеланий в отношении судебных органов и представительных учреждений, — помимо общего отталкивания от органов и учреждений, характерных для тоталитарной, коллективной и всякой вообще диктатуры, связанной с существованием коммунистического режима. Но и при отсутствии очевидного стремления к формальной демократии, наличие даже пяти

главных указанных здесь элементов вольной идеологии дает право считать, что при каких-то резких политических сдвигах в стране эта подпольная идеология выйдет на поверхность, получит широкое признание и дальнейшую разработку и сможет послужить фундаментом для установления нового социально-экономического и культурного порядка, принципиально отличающегося от нынешнего.

## 6

Изложенные здесь взгляды проф. Тимашева на пути России в прошлом, в настоящем и в будущем теснейшим образом связаны с мировоззрением и характерными чертами его как ученого, как социолога, и как носителя определенной русской общественно-политической традиции.

Первое, что обращает на себя внимание при ознакомлении с работами проф. Тимашева — а изучение их по-настоящему еще только начинается — это огромность и продуктивность труда, вложенного им в изучение России и, в особенности, Советского Союза. Заслуга его заключается не только в многолетности его научного и журналистического наследства, но и в многосторонности его подхода. К изучению русских и советских проблем он подходит вооруженный данными и критериями социологии, права, политической экономии, экономики, статистики, демографии, всеобщей и русской истории, политической философии, философии религии и истории церкви, философии культуры и т. д. Во многих из этих областей проф. Тимашев работал десятки лет, постоянно проверяя подход к своей проблематике под углом зрения и этих отдельных дисциплин, и их совокупности. Всеохватность и единство тимашевского подхода составляют исключительно ценное его свойство.

Вторая черта, которую необходимо отметить, непосредственно связана с общей социологической и философско-исторической концепцией проф. Тимашева. Эта черта лучше всего может быть показана на конкретном примере. Как было отмечено, на вопрос о том, была ли революция в России неизбежна и необходима, проф. Тимашев отвечает отрицательно. Этот свой ответ он подкрепляет соответствующими точными доводами и выкладками. Что касается экономики, то, основываясь на тех темпах экономического роста, и, в частности, роста тяжелой промышленности, которые ясно обозначились в разви-

тии России с девяностых годов прошлого века по 1914 год, и проектируя, с соответствующими поправками, эти темпы в будущее, проф. Тимашев доказал, что развиваясь нормально, т. е. без войны, революции и коммунизма, Россия по главнейшим экономическим показателям достигла бы к 1938-1940 гг. в целом того же уровня, какого к этому сроку — ценой огромных материальных и человеческих жертв — советский режим достиг фактически. Произведя, однако, этот подсчет, проф. Тимашев оговаривается, что все это только проекция в будущее, — как проекцией в будущее является и его применение элементов вольной идеологии к представлениям о пореволюционной России. Это связано с общей проблемой детерминизма.

Несомненно, что за последние десятилетия старая детерминистическая психология основательно поколебалась. В какой-то степени детерминизм оказывается вытесненным даже из точных наук. Что же тогда говорить об общественных науках, в которых исследователям приходится иметь дело с наиболее неустановимой величиной, каковой является человек. И вот, признавая законность традиционных причинных рядов (причины-следствия), не отвергая вовсе детерминизма и в то же время не становясь на позиции индетерминизма, проф. Тимашев сочетает в своей собственной концепции принципы и детерминизма и индетерминизма. Он объединяет и выражает их в понятиях вероятности и тенденции общественного развития. Он считает, что прямолинейный подход к жизни общества со стороны стародавнего эволюционизма не учитывает всей сложности этой жизни. В действительности, во всяком состоянии есть, как правило, несколько возможностей, которые, становясь вероятностями, превращаются в тенденции общественного развития. Какие из этих тенденций осуществляются, а какие нет, предвидеть с абсолютной уверенностью нельзя. Все зависит от того, как сложится в дальнейшем конъюнктура, т. е. встречи одних тенденций развития с другими. И в ряде колебательных, а отчасти прямолинейных процессов, через которые проходит таким образом общество, человеческой воле принадлежит гораздо большая роль, чем это допускается старой эволюционной теорией. Подобный подход проф. Тимашева к общественным и историческим процессам представляется исключительно правильным и важным. Он ближе всего к христианскому отношению к жизни и ее процессам. И только придер-

живаясь его можно говорить об ответственности каждого человека за то, что происходит.

Наконец, третья особенность общей позиции проф. Тимашева связана с его местом в развитии русской общественно-политической мысли. Он откровенно и мужественно говорит о том, что было положительного и что было отрицательного в дореволюционной России и ее истории. Он точно так же говорит и о коммунистическом строе, характеризуя его огромные недостатки и преступления, но отмечая и несомненные заслуги, — такой заслугой была, например, ликвидация неграмотности среди старшего поколения русских людей. То же самое нужно сказать и относительно будущего. Проф. Тимашев решительно отвергает марксизм-ленинизм-сталинизм, весь коммунистический режим как таковой. В то же время для него несомненно, что в плане социально-экономическом и, отчасти, государственном и культурном пореволюционная Россия будет представлять собой некую новую — органическую, в отличие от нынешней искусственной и временной — амальгаму. В ней может осуществиться известный компромисс и синтез начал, доставшихся от прошлого и являющихся как бы вечными в истории России, и элементов, которые доказали свою жизнеспособность и уцелеют после конца советского периода русской истории. В трезвом и умудренном наукой и богатым жизненно-историческим опытом соединении нового со старым, свободы и прогресса с традиционными и охранительными началами, и заключается третья характерная черта проф. Тимашева и его общего мировоззрения.

Думая о его возможных предшественниках в истории русской общественно-политической мысли в XIX веке, нельзя не вспомнить Б. Н. Чичерина, тоже ученого юриста, государственоведа. Думая о его современниках и единомышленниках в XX веке, надо назвать в первую очередь П. Б. Струве. Именно Струве принадлежит — не он ее изобрел, но он ее в наше время разработал — известная формула либерального консерватизма. Проф. Тимашев и есть русский либеральный консерватор или консервативный либерал, в замечательно уравновешенной форме сочетающий в своем мировоззрении начала либерализма и консерватизма, лучшие идеалы русской интеллигенции и освященные историей прочные начала российской государственности и культуры.

*Н. Полторацкий*

## БИБЛИОГРАФИЯ

АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ. *«Проблески во тьме»*. Издание Литературно-Художественного Кружка в Калифорнии. Беркли. 1965, 242 стр.

«Мы проехали той же дорогой, минуя главный дом, по которой почти двадцать лет тому назад уехал из Ясной Поляны навсегда мой отец: мимо яблочного сада, по плотине мимо большого пруда, мимо школы, больницы... Прощай, Ясная Поляна... Прощай, Россия». Так кончает свою книгу дочь Толстого, Александра Львовна, покинувшая Россию в 1929 году.

Конец двадцатых годов, 1928 и 29 годы, был тем временем, когда окончательно ломался исторически установившийся образ жизни в России. В то же время 1929 год был последним, когда еще выпускали некоторых людей в поездки за границу. В числе этих счастливых, увидевших свободу, оказалась и автор книги «Проблески во тьме».

Покидая Ясную Поляну А. Л. простилась с Россией, она уезжала за границу, но и оставшись в России ей пришлось бы с Россией проститься потому, что прежняя русская Россия, после конца двадцатых годов стала уже советской. Описание переходной эпохи, — времени от захвата власти большевиками и до 1929 года, — составляет главное содержание книги А. Л. Толстой.

В книге два плана, один художественный, в котором проходят перед нами встреченные автором люди той эпохи, и план политический, в котором выступают уже тогда самые неприглядные и жестокие стороны большевистского режима. Автор, в глазах власти, иногда становится человеком требующим к себе, в память отца, особого уважения, иногда же — преследуется: мы видим А. Л. и в тюремной камере и в заключении в бывшем монастыре. Скитания по тюрьмам, посещение кабинетов большевистских комиссаров, столкновения с местными властями в Туле, — дают много случаев А. Л. Толстой наблюдать коммунистов ранней эпохи. И в художественных описаниях, и в оценках эпохи со многих страниц книги передаются автором, иногда наверно подсознательно, мысли, настроения и взгляды отца. И в темной душе служающих коммунизму людей автор старается найти проблески добра. И если литературное дарование не передается по наследству, то литературное влияние отца несомненно

сказывается на повествовании А. Л. Толстой, столь долго работавшей для него и многие годы разбиравшей его рукописи. Это влияние, нам кажется, мы замечаем.

Вот латышка — тюремная надзирательница. «Казалось, в ней ничего не было человеческого — деревянное лицо, деревянный голос, деревянные движения», — она приносила еду и воду в женскую камеру, где сидела А. Л. Толстая. А. Л. поставила себе целью найти человеческие черты и в этой грубой и жестокой латышке. И действительно проблески человеческих черт проявились в этой женщине при дружеском и ласковом к ней отношении. Наконец, — рассказывает А. Л., — после многих дней, однажды «...широко улыбаясь своим плоским лицом, в камере появилась латышка», сконфуженно принесшая «ветку цветущей черемухи». Всего на трех страницах своего повествования автор создает запоминающийся, яркий образ. Эта глава читается, как законченный рассказ.

Лубянка № 2 — известная большевистская тюрьма — в ней А. Л. Толстая оставалась в заключении два месяца. В те идиллические времена начала 20-ых годов еще можно было не отвечать следователю Якову Агранову на допросах — отводили назад в камеру до другого допроса. С А. Л., повидимому, считались и большевики, к тому же они знали, что «преступление» ее невелико, у нее только происходили заседания «Тактического центра». И ко всему центру большевики отнеслись вообще сравнительно мягко — многих просто выслали за границу, на свободу, которой тщетно добивались другие. Известно, что незадолго до дела «Тактического центра» были расстреляны многие правоведы по т. н. «Таганцевскому делу» и еще больше лицесты по «делу Лицеистов». Может быть и стечение обстоятельств — конец белой борьбы — способствовало благополучию узников «Тактического центра». Освободили и А. Л., но только временно до суда. Ее описание тюрьмы и разных в ней перипетий: пожара, хождений через всю Москву в баню, очередей к уборным — все описано ярко и запоминается. А различные трагедии в тюрьме (смерть Герасимова, старый священник под охраной солдат с винтовками, список расстрелянных) — все заставляет думать вновь о судьбах людей, живущих под большевистским игом, таким же обратительным теперь, каким оно было и тогда.

После советского суда, наказание — три года заключения в лагере принудительных работ вместе с уголовными, в Новоспасском монастыре в Москве, превращенном в тюрьму. Несколько глав А. Л. посвящает этому лагерю и его населению: профессиональная воровка рассказывает о своих приключениях и автор передает увлекательную детективную историю, стараясь и в этой женщине найти душевный «проблеск». Опустившиеся женщины по ночам разрывают могилы в надежде достать из них, сняв со скелетов, золото. «Неда-

леко от входа в монастырь, слева могила княжны Таракановой, дальше простой, каменный склеп первых Романовых... Тут же рядом развороченная могила — куски дерева, человеческие кости, перемешанные со свежей землей...» — «Девчонки ночью разворотили да сегодня, кажись, ничего не нашли», говорит одна из женщин-наблюдательниц. Вот та обстановка, в которой находились политические заключенные.

Но в ту раннюю эпоху большевизма лагеря, подобные Ново-спасскому монастырю, еще только зарождались. Через 10 лет гораздо более страшные лагеря покрыли всю Россию.

Второй план повествования этой книги начинается главой 24-ой. После досрочного освобождения А. Л. из монастыря-лагеря она дает вереницу зарисовок власть имущих персонажей большевистского режима тех лет. Вот не сильно грамотный — Калинин. У него на приеме он говорит А. Л., что их большевистские тюрьмы — образец перевоспитательных учреждений: «мы заботимся о том, — говорит он, — чтобы из наших мест заключения выходили сознательные, грамотные люди... Наши места заключения нельзя сравнить ни с какими другими в мире», — «по жестокости и бесчеловечности», добавляет автор.

У Калинина, однако, автор не замечает «проблесков» в душе. «В 1922 году я пришла к Калинину хлопотать о семи священниках, приговоренных к расстрелу», — пишет А. Л. — «Бесполезно! Я ничего не могу сделать», — сказал Калинин.

Позже, особым декретом А. Л. назначают хранителем Ясной Поляны, объявленной музеем. В Ясной Поляне устраивается коммуна толстовцев, вскоре распавшаяся. «Я с ужасом вспоминаю сейчас эти несколько месяцев совместной с толстовцами жизни», — пишет А. Л.

«Комитет помощи голодающим» — следующий красочный эпизод из эпохи 20-ых годов, описанный в книге. Голод на Волге. Власти позволяют создать комитет из прежних, опытных общественных деятелей. Комитет собирается на первое заседание. Ждет председателя — комиссара. Но вместо комиссара приезжают чекисты, и всех арестовывают. Многие содержатся под арестом несколько месяцев. А. Л. выпустили через несколько дней.

Другая интересная глава книги — автор ходатай по политическим делам. В этом качестве А. Л. добивается свиданий даже с самым главным чекистом Менжинским. В одно из посещений Менжинского с нею пришла знаменитая Вера Николаевна Фигнер. Не разделяя ее политических взглядов и действий в дореволюционной России, мы не можем не восхищаться ее безукоризненной политической честностью. Войдя в кабинет Менжинского вместе с А. Л. Толстой, Фигнер не подала руки Менжинскому, который протянул ей руку.

«Мы уже больше с вами не товарищи», — сказала Фигнер. Эта сцена — в кабинете Менжинского — одна из лучших в книге.

Дожила А. Л. Толстая в Советской России и до столетия рождения отца в 1928 году. С просьбой об ассигновании средств на устройство этого юбилея она дошла до приема у уже утверждавшего тогда свою власть Сталина. Даже короткое описание этого персонажа — ценный вклад в скудные показания о нем свидетелей.

Перед отъездом из России, А. Л. Толстой удалось проехать на пароходе по Волге и побывать на Кавказе. Здесь хороша сцена на Волге — встреча людьми возвращающегося к ним их священника. Но все меньше и меньше отмечает автор, во второй половине своей книги, «проблесков во тьме».

Наступала страшная эпоха большевизма — насильственная коллективизация. А. Л. пишет: «Большинство крестьян отказывалось идти в колхозы, резали скотину... продукты постепенно исчезали... выдавали по карточкам полусырой, тяжелый с мякиной черный хлеб... учителя, врачи жили впроголодь». Вскоре А. Л. получила приглашение через друзей читать лекции в Японии. Это дало ей повод просить о разрешении на выезд из России. Но «даже в то время, — пишет она, — как я держала в руках ярко-красный с золотыми буквами советский паспорт с ужасающей своей физиономией на первой странице, — мне не верилось, что я смогу уехать».

Большое счастье, что А. Л. Толстая смогла уехать. В Америке она опубликовала прекрасную книгу о Льве Николаевиче — «Отец». А в отчетной, интересной и ценной книге талантливо описала суть советского строя, который продолжает поработать Россию.

Книга прекрасно издана. Ее можно приобрести у издателей в Калифорнии, а также в Толстовском Фонде в Нью Йорке.

*Борис Бровцын*

**ЮРИЙ АННЕНКОВ.** *Дневник моих встреч.* Цикл трагедий. Том I. Международное Литературное Содружество. Вашингтон. 1966.

«Международное литературное содружество» выпустило первый том воспоминаний Юрия Анненкова. Известно, что Юрий Павлович Анненков — человек необыкновенно талантливый и разносторонний: живописец, график, художник театра и кино, критик, искусствовед и прозаик (под псевдонимом — Б. Темирязов).

Как художник, Анненков завоевал признание еще в дореволюционной России, показав себя непревзойденным мастером графического портрета. Об этом, в частности, можно судить по тем трид-

цати трем портретам, которыми иллюстрирован первый том «Дневника моих встреч». Здесь портреты Евгения Замятина, Михаила Кузмина, Федора Сологуба, Анны Ахматовой, Ольги Глебовой-Судейкиной, Корнея Чуковского, Александра Блока (в гробу) и многие другие. Покойный Казимир Малевич особенно ценил в Анненкове-художнике его умение — и в портретах и в набросках — передать не только внешнее сходство, но и дать острую, верную, а подчас и неожиданную характеристику «натуры». Анненков, по Малевичу, в своих портретах всегда проявляет смелость, находчивость, наблюдательность, а подчас и озорную иронию.

В 1965 году приехавшая за границу, Анна Ахматова посетила парижскую студию Анненкова. Здесь она увидела многие давние работы художника и среди них гуашный портрет, написанный с нее.

— Мне кажется, что я вернулась в мою молодость, — сказала Ахматова.

В «Дневнике моих встреч» Юрий Анненков как бы иллюстрирует своими графическими портретами, сделанные им словесные портреты этих же людей. А таких словесных портретов в первом томе «Дневника» — четырнадцать: — Максим Горький, Александр Блок, Анна Ахматова, Велимир Хлебников, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Алексей Ремизов, Сергей Прокофьев, Евгений Замятин, Борис Пильняк, Исаак Бабель, Михаил Зощенко, Илья Репин, Георгий Иванов.

Таким образом, «Дневник» — это галерея портретов видных писателей, художников, композиторов, которая в целом дает трагическую историю пореволюционной судьбы русской культуры. Недалом у воспоминаний Анненкова есть подзаголовок: «Цикл трагедий», и это вполне оправдано. Каждый из его словесных портретов, это захватывающее читателя повествование о хождении русских людей искусства по революционным и пореволюционным мукам.

Несравненное достоинство воспоминаний Анненкова — в отсутствии мертвящей книжности, всякой литературщины, в том, что в них трагическое сочетается с необыкновенной живостью изложения, а под час и с юмором. У Анненкова — феноменальная зрительная память и острая наблюдательность, какое-то особенное умение по замеченной им мелочи дать верное представление о целом. Очень ценно в этой книге и то, что свои впечатления и собственную память Юрий Анненков контролирует ценным документальным материалом — подчас крайне редким или незаслуженно забытым. «Дневник моих встреч» написан так, что его с неослабевающим интересом прочтут и искушенный в искусстве и не искушенный читатель. Для литературоведов же, искусствоведов, музыковедов этот «Дневник» — поистине клад. Особенно — для советских.

Приведу два характерных примера. Вот сейчас в Советском Союзе довольно много говорят о предшественниках современного московского авангардного театра на Таганке. (Во главе этого театра стоит режиссер и мастер художественного чтения Георгий Любимов.) В «Дневнике моих встреч», в разделе посвященном Гумилеву, есть упоминание о преданном забвению (по вполне понятным причинам) предшественнике авангардного театра на Таганке (театр этот, как известно, ставит своей главной задачей драматизацию поэтических произведений):

«В 1920 году, — пишет Юрий Анненков, — в Ростове-на-Дону, я видел в маленькой и почти «нелегальной» театральной студии постановку драматической поэмы Гумилева «Гондла», впервые показанной со сцены... Постановка некоего А. Надеждова... а также игра юных актеров, несмотря на нищету предоставленных им технических возможностей, подкупали честностью работы, свежестью и неподдельным горением... Тогда же я опубликовал мои краткие впечатления о ростовском вечере в газете «Жизнь искусства», в номере от 21 августа 1920 года... Вскоре после гибели Гумилева, постановка «Гондлы» была повторена на одной из маленьких петербургских сцен, но почти сразу же снята с репертуара...»

Так найдено и сохранено экспериментальное зерно, давшее позднейшие всходы. И это важно не только для историков театра, но и для тех, кто сейчас продолжает эксперименты по сближению сцены и поэзии.

Далее, в разделе о Маяковском Анненков говорит о своей встрече и откровенной дружеской беседе с поэтом в Ницце, в 1929 году, за год до того, как Маяковский покончил с собой. «Я уже перестал быть поэтом... Теперь я... чиновник», — вырвалось тогда у Маяковского, находившегося в крайне угнетенном состоянии. Любопытно, что о том, что Маяковский в последние месяцы своей жизни был отчаявшимся, разочаровавшимся человеком, не так давно писала в своих воспоминаниях о встречах с Маяковским, напечатанных в Советском Союзе художница Валентина Ходасевич. Ее воспоминания о Маяковском, вернувшемся тогда из-за границы в Москву, как бы дополняют воспоминания Анненкова о встрече с Маяковским в Ницце.

Так восстанавливается правда о Маяковском, жизнь которого некоторые авторы от избытка лояльности до сих пор подгоняют к политической «ситуации» сегодняшнего дня.

Талантливая книга Анненкова дает много такой правды и в других портретах его друзей и современников. И в этом ее большая ценность для истории русского искусства времен революции. Анненков дает живых людей и их подлинную судьбу. И делает он это блестяще.

«Дневнику моих встреч» предпослана вступительная статья Вальдемара Жоржа (на французском языке) о Юрии Анненкове, как художнике и человеке. А кроме того дана краткая справка от издательства. Два тома воспоминаний Ю. П. Анненкова, это ценный вклад в русскую мемуарную литературу, который будет особенно нужен читателям в Сов. Союзе. «Международное литературное содружество» выпуском этих воспоминаний сделало большой подарок широкому кругу русских читателей.

*Вяч. Завалишин*

АНДРЕЙ СЕДЫХ. *«Земля обетованная»*. Нью-Йорк 1966, стр. 223.

За 18 лет существования Государства Израиль появились десятки репортажей об этой стране — на всех языках Европы и Америки, кроме русского. Книга Андрея Седых с успехом восполняет этот существенный пробел в русской зарубежной литературе. Поскольку советским писателям «пути заказаны и руки связаны» партийной установкой, можно быть уверенным, что «Обетованная земля» прочтется и друзьями и врагами по обе стороны «Железного занавеса», как единственная книга об Израиле.

Репортажи об Израиле необычайно скоро теряют актуальность в виду бурного роста этой страны: довольно десяти лет, чтобы страна изменилась до неузнаваемости. Книге Андрея Седых можно предсказать срок значительно больший.

Земля Обетованная не в первый раз оставляет свой след в российской словесности, и каждый «след» закрепляется к сведению потомков. Андрей Седых это знал и в качестве «паломника» отразил и продолжил воспоминаемых им: Даниила, «русские земли игумена» начала 12 века и диакона Иону, который побывал в Св. Земле в 1649 году — «в корабле перевезохомся до Яффы, еже есть Иоптия, на бреже моря пристанище, и тут вышел с корабля...» и Бунина, и Довида Кнута... Богатство и подбор цитат украшают книгу, образуют ее музыкальный фон: здесь и Иосиф Флавий, и Самуил Маршак, и Осип Манделштам, и, конечно, больше всего, — Библия.

По книге Андрея Седых можно составить цветной документальный фильм. Тель-Авив с его базаром — Бен-Гурион «последний пророк» и министр просвещения Залман Арани, с которыми автор разговаривал, конечно, по-русски — Саронская долина с Натанией, где показана школа «ОРТ»-а — Хайфа с Бахайским храмом, который светел, византийского стиля, весь из белого мрамора, и несмотря на яркий солнечный день сияет зажженными люстрами, — Сафед, ро-

дина каббалистов, — визит в Далиат-эль-Кармель, друзская деревня, с забавной сценой в лавке Сулеймана-Ахмета, Акко и Назарет, галлилейская Кафр-Кана, Генисарет и кибуцы, Эйлат и Негев, Мертвое и Красное моря, все оживает под пером автора, и под конец — Иерусалим с его гетто и «Акрополем» и православным собором.

Вот Эйлат: — «Нигде в Израиле нет такого заката, как в Эйлате. Солнце еще не скрылось за Синайскими горами, а в небе уже стоит яркая луна. Горы на Иорданской стороне становятся фиолетовыми. Небо непрерывно меняет свою окраску. На западе оно бледно-зеленое, потом становится красным, словно где-то за горами бушует гигантский пожар. И внезапно, без сумерек, без постепенного перехода из дня к ночи, наступает темнота. Даже в полнолуние небо кажется черным, словно залитым китайской тушью. Из-за сухого, прозрачного воздуха звезды — огромные, синие, золотые, совсем близкие».

Автор нигде не впадает в патетику и чувствительность.

В описание еврейского Иерусалима вкраплен отличный анекдот, с настоящим еврейским юмором: «Каждую пятницу, за несколько часов до наступления праздника, хасид Иехецкель Фрайман устраивает для туристов прогулку по старым синагогам и читает им краткую лекцию о том, как молятся евреи. Делает он это интересно и не без актерского таланта. Чего стоит его рассказ о бедном хасиде, который пришел в пятницу вечером из синагоги, заранее зная, что в доме нет даже куска хлеба... Тем не менее, по хасидскому обычаю, он вошел в дом с пением, приплясывая, радуясь и прославляя Всевышнего. Жена с недоумением посмотрела на ликующего мужа и спросила:

— Чего ты радуешься? Ты не знаешь, что нам нечего есть?

— Я знаю, что нам нечего есть, — ответил хасид. — Я радуюсь, потому что по крайней мере у меня есть аппетит!»

Не все вошло в книгу из того, что можно и нужно видеть в Израиле, но она насыщена содержанием. Есть ряд описок в мелочах — «Ашход» вместо «Ашдод», «Димон» вместо Димона и пр., что не так уж важно. Парижанин Седых называет Акко — Аккр. В древнерусско-византийской транскрипции «Форсис» читатель Библии в оригинале не сразу узнает — Тарсис, он же Таршиш псалмопевца. Сравнительно слабее, ибо во многом спорнее, заключительная глава книги, подводная итога, но и она интересна тем, как суммированы в ней наблюдения автора в течение его краткого, но деятельного посещения страны.

*Ю. Марголин*

АБРАМ ТЕРЦ. *Мысли врасплох*. Вступ. статья А. Фильда. Изд-во И. Г. Раузена. Нью Йорк. 1966.

Я не большой поклонник ранее вышедших за рубежом беллетристических произведений Терца-Синявского, за которые он так незаслуженно и так жестоко пострадал. К тому ж я вполне согласен с автором, сказавшем на суде, что он не считает эти вещи «аяти-советскими». Разумеется, с точки зрения ортодоксов партийной цензуры, в них были чрезмерно свободные высказывания, было и некое фрондерство. Это бывало и в ранних книгах Эренбурга (на которые они, кстати сказать, похожи). Но никакой непримиримости к господствующей идеологии в этих книгах, на мой взгляд, нет.

Лучшей вещью Терца была, по-моему, его литературно-критическая работа «О социалистическом реализме», появившаяся по-французски в парижском журнале «Эспри». Это вещь очень меткая, умная и впервые давшая интересную, правильную трактовку «социализма». М. б. Синявский не беллетрист, как таковой? Возможно. Во всяком случае его «Мысли врасплох» гораздо интересней его беллетристики. Эта книга заслуживает несомненного внимания. Во-первых, как духовно-душевный документ, говорящий о чем и как думает советский сорокалетний интеллигент (послевоенное поколение). Во-вторых, литературно мысли врасплох прекрасно выражены. И заставляют читателя о многом задуматься.

Оговорюсь: литературный генезис записей Синявского очевиден. Они — полностью от «Уединенного», от «Опавших листьев» В. В. Розанова. И некоторые, краткие из этих записей по своему внутреннему тону кажутся прямо повторяющими розановские: «Вся моя жизнь состоит из грусти и мольбы». Или: «Прелесть уединения, тишины, молчания — в том, что в эти часы разговаривает душа». Или даже: «Какую нежность вдруг испытываешь к куску мыла!» Все это интонации Розанова. Но и в своих мыслях, в своей «философии», у Синявского много общего с этим почвенно-русским писателем. Говорю это, конечно, «сохраняя все пропорции» таланта, эрудиции, глубины. Синявский талантлив, умен, но молод. И в мыслях его много еще только намёток. Но наряду с некоторыми срывами, у него есть записи большой остроты и пронзительности. Хотя бы, например, записать о русском национальном характере:

«Все-таки самое главное в русском человеке — что *ничего терять*. Отсюда и бескорыстие русской интеллигенции (окромя книжной полки). И прямота народа: спяна, за Россию, грудь настезь! стреляйте, гады! Не гостеприимство — отчаяние. Готовность — последним куском, потому что — последний и нет ничего больше, на пределе, на грани. И легкость в мыслях, в суждениях. Дым коромыс-

лом. Ничего не накопили, ничему не научились. Кто смеет осудить? Когда осужденные».

Еще беспощаднее (и еще метче) запись о русском «веселии пити», о русском пьянстве. В ней слышатся и Розанов, и Достоевский, и Леонтьев, и хоть она, конечно, может быть неприятна русскому самосознанию, но — очень верна (на мой взгляд). Недаром на московском суде над Синявским эта запись вызвала негодование (думаю, лицемерное) шемякиных судей.

«Пьянство — наш коренной национальный порок и больше — наша идея-фикс. Не с нужды и не с горя пьет русский народ, а по извечной потребности в чудесном и чрезвычайном, пьет, если угодно, мистически, стремясь вывести душу из земного равновесия и вернуть ее в блаженное бестелесное состояние. Водка — белая магия русского мужика...

В сочетании с вороватостью (отсутствие прочной веры в реально-предметные связи) пьянство нам сообщает босяцкую развязность и ставит среди других народов в подозрительное положение люмпена. Как только «вековые устои», сословная иерархия рухнули и сменились аморфным равенством, эта блатная природа русского человека выперла на поверхность. Мы теперь все — блатные (кто из нас не чувствует в своей душе и судьбе что-то мошенническое?) Это дает нам бесспорные преимущества по сравнению с Западом и в то же время накладывает на жизнь и устремления нации печать непостоянства, легкомысленной безответственности. Мы способны прикарманить Европу или запузырить в нее интересной ересью, но создать культуру мы просто не в состоянии. От нас, как от вора, как от пропойцы, можно ждать чего угодно. Нами легко помыкать, управлять административными мерами (пьяный — инертен, не способен к самоуправлению, тащится, куда тянут). И одновременно — как трудно управиться с этим шатким народом, как тяжело с нами приходится нашим администраторам!..»

Эта запись, не лстящая национальному самолюбию, жестоко бьет в цель. И интересно, что ее сделал молодой советский писатель в 60-е годы. А ведь она перекликается и с восторгом Леонтьева, что в русском крестьянине «нет вексельной честности», и с многими мыслями братьев Карамазовых (включая и Смердякова), и с записями о русском народе Розанова. Но Синявский чувствует и понимает и другие — совершенно полярные — черты русского характера. Так, он очень тонко и верно говорит о страшной духовной пустоте т. н. цивилизованного общества и противопоставляет ему былого русского крестьянина, который «прежде чем взять ложку — бывало — перекрестится и одним этим рефлекторным жестом соединит себя с землей и небом, с прошлым и будущим».

В «Мыслях врасплах» много острых, пытливых записей. Во многих есть подлинная духовная тяга к религиозному осмыслению жизни. Но если брать некоторые записи, как политически-мировоззренческие записи русского молодого человека 60-х годов, то надо сказать, что особого оптимизма они не вселяют. Синявский всецело — так по крайней мере мне кажется — остается в стихии российской общей инертности. Об этом говорит, например, такая запись:

«Никак не пойму, что за «свобода выбора», о которой столько толкует либеральная философия. Разве мы выбираем, кого нам любить, во что верить, чем болеть? Любовь (как и любое сильное чувство) — монархия, деспотия, действующая изнутри и берущая в плен без остатка, без оглядки. О какой свободе мы помышляем, когда поглощены, когда ничего не помним, не видим, кроме Предмета, который нас выбрал и, выбрав, мучает или одаривает? Как только мы желаем освободиться (от греха ли, от Бога ли — все равно), над нами уже властвует новая сила, шепчущая об освобождении лишь до тех пор, пока мы ей всецело не предались. Свобода всегда негативна и предполагает отсутствие, пустоту, жаждущую скорейшего заполнения. Свобода — голод, тоска по власти, и если сейчас о ней так много болтают, это значит, что мы находимся в состоянии междуцарствия. Придет царь и всему этому душевному парламентаризму под именем «свобода выбора» — положит конец».

Это отношение к «свободе выбора», к «формальной демократии» в русской литературе не ново. Оно старо. И тут кроме Леонтьева и Розанова на память может придти кое-что и из Л. Толстого, и из Достоевского, и из Бердяева. Спору нет. Конечно, «свобода выбора» и «формальная демократия» это не царствие небесное. Это всего-навсего лучшее из всего худшего. Но живи Синявский в стране «формальной демократии», где у него была бы вот эта самая, им не понимаемая, «свобода выбора», он не попал бы за свои книги в застенки, где ему наверное нелегко.

Когда-то на эту тему хорошо писал Петр Струве: «учитесь у мудрого мещанства Европы». Но где там «учиться у мещанства», когда мы жили сладостью разрушенья! Вот, по Синявскому, и пришли царь-Ленин, потом царь-Сталин, «положившие конец свободе выбора». И многие миллионы Синявских пошли и на тот свет и к чекистам в застенки.

Но в отчетной книжке подавляющее большинство записей — неполитические. И в них много привлекающего к автору. Много записей говорят о подлинной жажде религиозного понимания жизни, о тяге к образу Христа, к мистическому христианству. И когда подумаешь, что автор сын коммуниста и сам бывший комсомолец, его книга становится еще примечательней. Закончу краткой записью Си-

нявского: «Господи, дай о Себе знать. Подтверди, что Ты меня слышишь. Не чуда прошу — хоть какой-нибудь едва заметный сигнал...»

*Роман Гуль*

### ОБ ОДНОМ ПОЛЬСКОМ «БЕСТ-СЕЛЛЕРЕ»

JOZEF MACKIEWISZ. *Lewa wolna!* Polska Fundacja Kulturalna. Londyn. 1965. Str. 458.

«По суматохе вдруг вспыхнувшей в деревенской улочке видно было, что противник застигнут врасплох. С этого расстояния можно было ясно видеть стычку. Сверкающие на солнце лезвия шашек множились и мелькали, как серебряные блёстки...»

Этот отрывок, взятый наугад, покажется нам странно знакомым. Не схватка ли это казаков с поляками из «Тараса Бульбы» Гоголя или из «Огнем и мечем» Сенкевича? Или, может быть, это отрывок романа из эпохи наполеоновских войн? Нет, это сцена из польско-большевицкой войны, бывшей всего 46 лет тому назад, когда конь, шашка и пика еще играли большую, а подчас и решающую роль.

Приведенный мною отрывок взят из последнего романа Иосифа Мацкевича «Лева вольна», что дословно значит «дать проход с левой стороны». Уже в романе «Дело полковника Мясоедова», изданном 4 года тому назад, Мацкевич показал себя мастером в описании сражений, мастером, пользующимся поистине толстовскими приемами: без лжегеройства, без патриотической слезливости, со скупостью слов доведенной до минимума.

«Лева вольна» — эпопея, но она не писалась годами, как писал Толстой «Войну и мир» в течение шести или семи самых счастливых и спокойных лет своей жизни. Мацкевич написал свой большой роман меньше, чем в два года в весьма трудных эмигрантских условиях и сумел не только создать произведение высокой художественной ценности, но и вплел в него «исторический комментарий», занимающий чуть ли не шестую часть книги.

Содержание романа очень просто. Это история одного польского кавалерийского полка, принимающего участие в войне с большевиками в 1919-1920 годах. Этот полк и является подлинным «героем» книги, в которой несколько планов, иногда трагически пересекающихся. Так, например, один брат, поляк из Ковенщины, служит сначала у Юденича, потом у Балаховича, а другой «неисповедимыми человеческими путями», как с грустной иронией пишет автор, поступает в красную армию и занимает в ней должность ответственного работника в части «особого назначения». «Пересекались пути, —

пишет Мацкевич, — полков, дивизий, пехоты и конницы, пути далеких и близких, знакомых и родственников, бывших соседей и родных братьев... преимущественно в густом тумане пыли, поднятой конскими копытами...»

Я уже упомянул об «историческом комментарии». К сожалению, именно этот комментарий, а не высокие художественные достоинства книги, сделали из нее первоклассный «бест-селлер». Некоторые газеты называли сенсацию, поднятую книгой Мацкевича, «скандалом». Я бы назвал проще — шумихой, которая, впрочем, скоро улеглась, принеся как автору, так и издателю больше пользы, чем вреда.

Дело в том, что Мацкевич, глядя с расстояния почти полувека на события того времени, видит в лице маршала Пилсудского — главного виновника «проигранного мира». Пилсудский выиграл сражение на Висле под Варшавой в августе 1920 года — сражение, которое англичанин лорд Эдгар д'Абернон назвал «одним из восемнадцати решающих сражений в мировой истории». Эта «битва на Висле» спасла Польшу и Германию, а может быть, и Западную Европу от большевистского нашествия. Но, по мнению Мацкевича, Пилсудский не только не пошел на соглашение с ген. Деникиным в 1919 году, не только вел тайные переговоры с большевиками за год перед варшавским сражением, т. е. во время военных действий, но не разбив окончательно противника и преждевременно заключив с ним перемирие, дал ему возможность расправиться с войсками ген. Врангеля. Другими словами, «дал проход *левой* стороне» для ее расправы над правой — т. е. над Белой армией. (“*Lewa volna!*” — это кавалерийская команда, которая переводится по-русски: «Повод вправо!»).

Такое обвинение подняло шумиху вокруг книги Мацкевича. Шумиха была, однако, так сказать, подпольной. Никакого явного запроса в польском эмигрантском «полуправительстве» со стороны так наз. «пилсудчиков» не последовало. (Пишу о «полуправительстве» не потому, что его не признают западные державы, а потому, что в Лондоне — два польских правительства в изгнании: одно, возглавляемое президентом Августом Залеским и другое с ген. Андерсом и др. во главе). Было лишь, напечатанное в «Дзенике польском», заявление, подписанное двумя членами Института им. Пилсудского в Лондоне. В нем Мацкевич обвинялся в фальшивом и искаженном изображении событий 1919-1920 годов; в пропагандировании идеи, что поляки должны были сотрудничать с белыми генералами, целью которых было восстановление «единой и неделимой»; в искажении роли Пилсудского, как главы государства и как главнокомандующего; наконец — в карикатурном изображении патриотического подъема польского народа, а в особенности — в унижительном виде польских солдат и польских женщин.

После этого заявления наступило молчание. Только один человек в письме в редакцию под ироническим заглавием «Уклон от линии» сравнил это заявление с речью прокурора на судебном разбирательстве дела Снявского и Даниэля.

Кстати — все рецензии на книгу Мацкевича в польской печати, не исключая и критикующих его толкование исторических событий, были похвальные. Относительно «исторического комментария» Мацкевича не могу не заметить от себя, что он сделал, так сказать, «психологическую» ошибку, считая Пилсудского единственным виновником «проигранного мира». Не подлежит сомнению, что Пилсудский не сумел правильно оценить опасность большевизма. *Сегодня* мы это видим и понимаем. Но вправе ли мы предъявлять обвинения, основанные на весьма запоздалом “*esprit d’escalier*”? Кто правильно оценил в то время эту опасность? Ее не понимало подавляющее большинство польского народа. Не понимали французы и англичане. Да понимали ли это и сами русские, многие из которых и после поражения Врангеля ждали из месяца в месяц, из года в год падения большевицкой власти? Можно ли требовать от Пилсудского, чтобы он был каким-то сверхгением и сверхчеловеком, который стал бы бороться не только с «духом» своего народа, но и всего мира?

Замечу, что «Лева вольна» это — третья книга Мацкевича, которая должна заинтересовать русского читателя. В 1957 году он написал роман «Контра» — историю казачьей семьи Кольцовых, начиная с августа 1914 года и кончая выдачей членов этой семьи большевикам западными союзниками в Лиенце в 1945 году. О второй, о «Деле полковника Мясоедова», являющейся редкой и весьма удачной попыткой написать “*non-fiction novel*”, я уже упоминал. К сожалению, ни одна из книг Мацкевича не переведена еще на русский язык.

*Михаил К. Павликовский*

RUSSIAN JEWRY (1860—1917). Edited by J. Frumkin, G. Aronson, A. Goldenweiser. Translated by Mirra Ginsburg. New York. Thomas Yoseloff. London. 1966.

Изданная Союзом русских евреев в 1960 году «Книга о русском еврействе от 1860-х годов до революции 1917 г.» вышла недавно по-английски и стала благодаря этому доступна многочисленным новым читателям более молодых поколений.

Союз русских евреев, в лице авторов статей сборника, посвященных самым разнообразным — политическим, экономическим, религиозным, культурным и социологическим — темам в жизни русского еврейства, хотел поделиться своими воспоминаниями о том времени

необычайной творческой продуктивности в жизни русского еврейства, которое уже отошло в прошлое.

Эти статьи и воспоминания представляют большой интерес для нового читателя английского издания. Этот читатель мог судить о русском еврействе чаще всего по тем жертвам российского бесправия, которые почти без всяких средств эмигрировали из России до Первой мировой войны в поисках новой жизни в новых странах. Искаженное распределение света и тени в такой картине исключало возможность объективной оценки незаурядной роли русского еврейства, в активе которого есть большие достижения в бывлой России, в нееврейской и еврейской Америке и в бывлой Палестине — нынешнем Израиле.

Пусть новый английский читатель «Книги о русском еврействе» не забывает также, что, как правильно отметил в своей статье один из авторов сборника, С. Л. Кучеров: «преданные сыны еврейского народа, они вместе с тем горячо любили и свою родину — Россию, и верно служили ей».

Из насыщенных историческим материалом статей А. Гольденвейзера о правовом положении евреев в России, Я. Фрумкина о «страницах истории русского еврейства» и И. Троцкого о евреях в русской школе читатель узнает о том, что родина делала для своих еврейских пасынков. Интересные сведения дают статьи И. Дижуря о евреях в экономической жизни России, С. Кучерова о евреях в русской адвокатуре, Г. Аронсона о евреях в русской литературе и общественной жизни, Гершона Света о русских евреях в музыке и Р. Вишницера о евреях в русской живописи и скульптуре.

По статьям Гершона Света о русских евреях в сионизме и строительстве Палестины и Израила, И. Бен-Цви о рабочем сионизме в России, Юдл Марка о литературе на идиш в России, И. Клаузнера о литературе на иврит в России, А. Менеса о ешиботах в России, И. Троцкого о еврейских общественных организациях и М. Ошеревича о русских евреях в Соединенных Штатах Америки читатель сможет судить о том, что русским еврейством делалось для сохранения и развития еврейской культуры, еврейской традиции и еврейской исторической самобытности и для приобщения широких еврейских масс к общей западной культуре.

Одно из достоинств отчетной книги — ее широкий охват и почти исчерпывающая перспектива, и если я позволяю себе наметить некоторые дополнения, то делаю это только из желания спасти от забвения отрывки личных воспоминаний. Причем делаю это с чувством глубокой признательности к составителям сборника за их ценный вклад в литературу о еврействе в России.

В статьях, посвященных традиционным сторонам иудаизма в

России, не упоминается о движении так называемого реформированного иудаизма, которое завоевало себе прочное место в Германии, во Франции, в Америке и сейчас приобретает значение в Израиле. Оно, однако, не отсутствовало и в России. В годы своей юности в Петербурге пишущий эти строки учился у известного в то время переводчика Талмуда на русский язык проф. Переферковича, который был одним из пионеров реформаторства. В связи с теми же традиционными сторонами жизни евреев в России хочу упомянуть также об эпизоде из моего студенческого путешествия по Кавказу, когда я прошел с севера на юг по Военно-осетинской дороге и между Мамисонским перевалом и Кутаисом в городе Они встретил горских евреев и побывал в их синагоге. Они и внешне и в бытовом отношении ничем не отличались от грузин, по-русски не говорили, и с их равнином сговариваться надо было на иврите.

Говоря об участии русских евреев в культурной жизни России необходимо упомянуть о ряде русско-еврейских художественных критиков, писавших на эстетико-философские темы и о балете: — А. Л. Волинский (награжденный за книгу о Леонардо да Винчи званием почетного гражданина города Флоренции), Андрей Левинсон, Павел Бархан, А. Е. Шайкевич (Аш). Петербургские старожилы начала века, которые были захвачены волной «Мира искусства» и увлекались художественной стариной и коллекционерством, вероятно, хранят память о легендарной «старьевщице» Брайне Мильман и ее антикварной лавке на Александровском рынке, где можно было встретить весь коллекционерский бо-монд и найти драгоценные шедевры.

Обильный материал, содержащийся в статье И. Дижера о евреях в экономической жизни России, способствовавших широкому торгово-промышленному развитию страны, при всем своем богатстве не исчерпывает роли русских евреев в этой области. В издательском деле, например, надо отметить: петербургское издательство Ефрона, обогатившее Россию известным энциклопедическим словарем (Брокгауза-Ефрона) и другими ценными изданиями, и виленскую фирму А. Г. Сыркина, создавшую образцовое картографическое издательство и выпускавшую русские атласы и глобусы. Вспоминаются: «чайный король» Высоцкий, который, как будто, заслуживает упоминания рядом с «сахарным королем» Бродским, братья Шлоссберги, бывшие одними из крупных экспортеров туркестанского хлопка, подрядчик Л. Шапиро, построивший виндавский порт, подрядчик М. А. Гиисбург (так называемый «порт-артурский»), обеспечивший снабжение топливом эскадры адмирала Рождественского при ее переходе из Балтийского моря в Цусимский пролив.

Требуют исправления кое-какие вкравшиеся в текст ошибки. Так, в статье А. Менеса в главе о литовских институтах высших духовных знаний — ешиботах — имя ученого брест-литовского рав-

вина, возглавлявшего в восьмидесятых годах известный воложинский ешибот, было не реб Хаим Соловейчик, а реб Иосиф Бер Соловейчик (реб Хаим был его сын). В статье Я. Фрумкина как время эмиграции из России в Англию б. члена 2-ой Гос. Думы Я. Н. Шапиро указан год революции, тогда как в действительности он эмигрировал в 1910 году. Год рождения М. Винавера в статье С. Кучерова — 1862, а в статье Г. Аронсона — 1863.

Некоторые недочеты есть в указателе имен, где отсутствует ряд лиц, упоминаемых в книге, как, например, национальный герой Израиля И. Трумпельдор. Ряд возражений вызывает и применяемая переводчиком английская терминология.

Но указанные недочеты, быть может слишком педантично отмеченные, не умаляют, конечно, ценности английского издания «Книги о русском еврействе» для нового английского читателя. И, быть может, прочтя книгу, этот читатель, как Герцль на первом сионистском конгрессе в Базеле, увидит перед собой тип еврея, ему совершенно неведомый, и, как Герцль, признается, что ему стыдно, что он считал себя выше своих братьев из России, духовный уровень которых — «нисколько не ниже нашего».

*И. Левитан*

Н. ГУМИЛЕВ. *Собрание Сочинений. Т.т. I и II.* Под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. И-во книжного магазина Victor Kamkin, Inc. Вашингтон, США.

Еще до войны в зарубежных литературных кругах часто говорили, что долг эмиграции — издать полное собрание сочинений Н. Гумилева, который и сейчас, как известно, под запретом в Советской России. Отдельные томики стихов Гумилева — «Шатер», «К синей звезде» и др., а также вышедший в изд-ве им. Чехова «Неизданный Гумилев» только частично восполняли этот пробел. Поэтому появление полного собрания сочинений Н. Гумилева под редакцией Г. Струве и Б. Филиппова следует всячески приветствовать, тем более что это действительно полное, даже предельно полное собрание сочинений поэта.

Нельзя не удивляться, как его редакторам удалось здесь, за границей, отыскать столько разбросанных в периодической печати и даже нигде не появившихся стихотворений Гумилева, не говоря уже о документах, относящихся к его военной службе. Все это, конечно, потребовало большого труда, за что почитатели Гумилева должны быть глубоко благодарны редакторам.

Первый том открывается статьей Г. Струве «Жизнь и личность

Гумилева», в общем вполне правильно дающей его биографию. Конечно, здесь не обошлось и без неизбежных легких ошибок. Но в них виноваты уже не редакторы, а лица, дававшие о Гумилеве неправильные сведения, которые редакторы не могли проверить. Впрочем Г. Струве справедливо «без особенного доверия» отнесся к домыслам и заключениям невестки Гумилева о любви Гумилева, «якобы единственной настоящей его любви к его рано умершей кузине Маше Кузьминой-Караваевой и к тому, что написанный в 20 году «Заблудившийся трамвай» относится именно к ней».

Я не знаю, был ли влюблен Гумилев в свою кузину, он при мне вообще никогда не вспоминал о ней. Но я охотно допускаю это. Ведь Гумилев был влюблен несчетное число раз, — «...Когда я был влюблен, а я влюблен всегда...» Но рассказ о том, что «Заблудившийся трамвай» (кстати, написанный не в 20-ом, а весной 21 года) относится к Маше Кузьминой-Караваевой вполне фантастичен. Небезинтересно упомянуть, что в первом варианте «Машенька» называлась «Катенькой» — и только впоследствии, в честь «Капитанской дочки», превратилась в Машеньку. Думается, литературоведам будет также интересно узнать, что одиннадцатая строфа «Заблудившегося трамвая»: — «...Как ты стонала в своей светлице...» — читалась в первом варианте так:

Помню, томима предсмертной тоскою,  
Ты повторяла: Вернись! Вернись!  
Я же с напудренною косою  
Шел представляться Императрикс.

Та же невестка Гумилева перепутала даты второй женитьбы Гумилева и рождения его дочери Елены. Гумилев действительно вернулся в Петербург в мае 1918 г. и вскоре же, — по желанию Анны Ахматовой, — произошел его развод с ней. Но женился он на Анне Николаевне Энгельгардт не «в следующем году», а по словам самого Гумилева, «тут же», т. е. через неделю после развода. Ведь тогда никаких формальностей и подготовлений для развода и вступления в брак не требовалось. Дочь Гумилева родилась не в 1920 году, как указано в статье, а весной 1919 года. Я увидела ее впервые летом 19 года — ей тогда, по словам отца, было три месяца.

Встречаются и другие неточности. Так, на стр. XXXI читатель узнает, что «Вместе с Н. Оцупом, Г. Ивановым и Г. Адамовичем он (Гумилев) возродил «Цех Поэтов». Могу засвидетельствовать, что Гумилев «возродил Цех Поэтов» совершенно самостоятельно и «самовластно», а Н. Оцуп был в нем таким же новопринятым членом, как Рождественский, Нельдихен и я.

Со сведениями о последних днях Гумилева все обстоит уже совсем неблагоприятно — главным образом по вине Н. Оцуца. На стр.

202 дан экспромт Гумилева, датированный 1921 годом. Этот экспромт, конец которого самим Гумилевым читался так: — «Не лучше-ль быть под царской властью,/Чем стать забавой злых детей» — а не: — «Что-ж, лучше быть царей под властью/Иль быть забавой злых детей» — сопровождается примечанием на стр. 334: — «По словам покойного Н. А. Оцупа это последний написанный Гумилевым экспромт». Тут память вполне изменяет Оцупу. Экспромт этот был написан Гумилевым летом 1919 года, а не «21-го года».

Гумилев, в последние дни своей жизни, никак не мог ездить ежедневно в Царское Село, а тем более «читать там лекции в «Живом Слове». Лекции в «Живом Слове» он вообще прекратил читать в конце 20-го года за полным отсутствием слушателей. Но и в 1919 году, хотя небольшая группа «Живословцев» выехала в Царское Село на летний отдых, он там никаких лекций не читал. Все же в то лето 19-го года он постоянно ездил в Царское, наведываясь в свой дом, откуда ему удалось перевезти свою библиотеку в Петербург, на Преображенскую улицу № 5, где он тогда жил.

Гумилев в Царском Селе действительно был частым гостем в семье Оцупов и нередко обедал у них. Брат Н. Оцупа служил в Шведском Красном Кресте и Оцупы не испытывая продовольственных стеснений, продолжали вести «буржуазный образ жизни», охотно принимая у себя поэтов, особенно Гумилева. Вполне возможно, что Гумилев, любивший дарить свои стихи, поднес матери Оцупа свой экспромт в благодарность за ее гостеприимство. Но, повторяю, это происходило летом 19-го, а не 21-го года. Мать Оцупа в 21 году успела уже эмигрировать и проживала в Берлине.

Летом 21-го года Гумилев совершил с адмиралом Немицем черноморское плавание. После этого он вернулся в Дом Искусства и там в начале лета поселился с приехавшей к нему из Бежецка женой Анной Николаевной. В последние дни своей жизни Гумилев, всегда энергичный и активный, отдохнув и поздоровев во время своего черноморского плавания, был полон необычайной жажды деятельности. Не довольствуясь руботой над переводами для «Всемирной Литературы», чтением многочисленных лекций, занятиями с группой молодых поэтов «Звучащая Раковина», он еще учредил «Дом поэтов» и со страстью занимался им, устраивая в нем выступления поэтов и ставя пьесы, тут же на месте сочиненные и разыгрываемые самими поэтами. «Дом поэтов» помещался на Литейном Проспекте в бывшем доме Мурузи и за свое короткое существование сумел приобрести большой и шумный успех, что очень радовало Гумилева, гордившегося им.

Гумилев действительно был арестован 3 августа, в среду. Но рассказ Вл. Ходасевича, приведенный на стр. XXXVII о последних

часах, проведенных Гумилевым на свободе, никак не может соответствовать действительности. Когда Гумилев, в тот вечер, вернулся домой, там его уже ждала засада, в которую успели попасть и несколько обитателей «Дома Искусств», постучавшихся в дверь квартиры Гумилева, в том числе и М. Л. Лозинский. Все описанное Ходасевичем, по всей вероятности, произошло 1-го или 2-го августа и Ходасевич должно быть уже отбыл в деревню накануне ареста Гумилева, иначе трудно себе представить, как он мог на следующее утро стучать в дверь, где еще продолжала сидеть засада.

Мне кажется, что последней видевшей Гумилева на свободе была Н. Н. Берберова. По средам обычно происходили занятия в «Звучащей Раковине» и Гумилев, по всей вероятности, после них пошел с Н. Н. Берберовой, как она пишет в частном письме Б. А. Филиппову. Ошибается она только в том, что Гумилев был арестован 4-го августа.

В сноске (в апендиксе) 14 упоминается, что Георгий Иванов связывал с участием Гумилева в «Таганцевском заговоре» его поездку тем же летом в Крым. Сомневаюсь в этом. Мне известно, что Гумилев во время своего черноморского плавания действительно старался распропагандировать матросов и вел «недопустимые разговоры» с некоторыми крымчаками. Но вряд-ли это было связано с «Таганцевским заговором». Просто Гумилев, как всегда, был очень неосторожен в словах и не считал нужным скрывать свои мнения. О том, как умирал Гумилев, достоверно ничего не известно и Г. Струве правильно поступил, не приводя многочисленные противоречивые рассказы о последних часах его жизни.

Теперь мне хочется отметить, что, как я уже писала в своих воспоминаниях «На берегах Невы», «Поэма об Издателе» (кстати не «Поэма», а «Баллада») принадлежит не Гумилеву и не была написана им в сотрудничестве с Мандельштамом и Георгием Ивановым. Автор ее — Георгий Иванов и он один. Ни Гумилев, ни Мандельштам ни одной строкой и ни одним словом в ней не участвовали. Я присутствовала весной 21-го года, вместе с Мандельштамом, на ее первом чтении у Гумилева еще на Преображенской №5 и помню впечатление, произведенное ею на всех нас. Гумилев пришел от нее в такой восторг, что тут же записал, выучил наизусть и стал читать ее буквально всем, с кем встречался. Я. Н. Блох добросовестно заблуждается, приписывая «Балладу об Издателе» Гумилеву. Он, вероятно, помнит, что ему ее читал Гумилев и поэтому приписал ему и авторство. Но его утверждение, что Гумилев придумал для нее размер — «молоссы» (?) ничем не объяснимо. Никакого размера «молоссы» никогда не существовало. «Баллада об Издателе» написана просто паузником, размером моих тогдашних баллад, подража-

нием которым она и является. Строка: «Поднял Блох руку одну» — переделка моей строки в «Балладе об извозчике»: — «Лошадь поднимет ногу одну...» — «Баллада об Издателе» напечатана не вполне правильно с первой же строки: — «На Надеждинской улице...» — В балладах употреблялись одни мужские рифмы и в них никак не могла появиться дактилическая рифма. Привожу, для примера, начало «Баллады» в правильной версии:

На Надеждинской жил один  
 Издатель стихов.  
 Назывался он господин  
 Блох.  
 Всем хорош, лишь одним плох:  
 Фронтисписы очень любил  
 Блох.  
 Фронтиспис его и сгубил,  
 Ох!..

Криптограмма на стр. 261 тоже не принадлежит Гумилеву. Сам он считал ее авторами каких-то, мне неизвестных, студентов-словесников. Гумилев ее читал так:

Слыша свист и вой локобилей,  
 Дверь лингвисты войлоком обили.

Может-быть мои поправки и покажутся кому-нибудь мелочными, но я делаю это только потому, что хотелось бы, чтобы в этом прекрасном издании не было никаких неточностей. Пока-что вышло два тома собрания сочинений Гумилева, но редакторы обещают в скором времени выпустить еще два. Будем ждать их с интересом и нетерпением, надеясь, что они будут так же тщательно, полно и добросовестно составлены.

*Ирина Одоевцева*

ЯКОВ БЕРГЕР. «Весна в Ч...». Стихи. Тель-Авив. 1966.

Яков Бергер принадлежит к новому «послевоенному» поколению зарубежных поэтов. С 1930 по 1956 год он жил в Советском Союзе — в Москве, в Сибири, на Дальнем Востоке. Естественно, что он не мог остаться в стороне от новейших поэтических течений в России. Хлебников, Маяковский, Мандельштам последнего периода, Цветаева и Пастернак оказывают большое влияние на советскую поэтическую молодежь и недаром Е. Евтушенко и А. Вознесенский называют их своими учителями.

В поэзии Я. Бергера это влияние тоже чувствуется, но претворенное по своему:

ВЕСНА В Ч...

Я сошел со своим чемоданом  
 (со своим незавидным ворохом)  
 за черемухой на полустанок,  
 у станицы сошел за черемухой,  
 на полустанок, где вечеровала черемуха.  
 Наклонялся лицом к соцветиям,  
 целовал бесценные ветки,  
 целовал эти ветки столетиями,  
 лепестки целовал однолетки...

Я. Бергер любит говорить о современности. В его стихах — и стюардессы, и роботы, и межпланетные полеты, и картины больших городов.

Стюардессы, летят стюардессы  
 к дальним рубежам Земли,  
 еле удерживающие равновесие  
 узкокрылые журавли.  
 Эта странная раса птиц,  
 длинноногие, обреченные,  
 умирающие к тридцати пяти  
 или раньше, едва обрученные...

Иногда кажется, что у Я. Бергера больше общего с современной передовой западной поэзией, чем с русской. Но вот, например, «Утро» — совсем, совсем русское, хлебниковское начало:

Ровеньки, Старинное, Белая Калитва,  
 кровное, старинное, белая калитка,  
 белая кровина, кровинушка белая,  
 Ровеньки, Старинное,  
 Броды, Негорелое,  
 обрастают травами  
 по насыпям, по шалым,  
 торопятся потравами  
 да пешком по шпалам,  
 Ровеньки, Старинное, Белая Калитва —  
 дробеньким курлыканием  
 журавлями — скрипками...

Есть у Я. Бергера и «историческая нота» («Петр»), и любовная тема, и картины жизни — крестный ход («Но звук духового оркестра»), «Городок» и т. д. Иногда у него встречаются отклики на современность («После Сталина» — о возвращающихся из лаге-

рей), о Керенском, диапазон у него широкий и каждый сюжет он трактует очень своеобразно. Есть и «проклятые вопросы», как, например, стихотворение «Человек»:

Назовется покорителем космоса,  
первооткрывателем новых планет,  
а потом, перед сном, поскользнется  
в своей ванной комнате  
и (нет, не в сенате), а — нате —  
потихоньку в халате сойдет на нет...

Поэтические приемы Я. Бергера иногда становятся несколько монотонны, — в этом опасность, хотелось бы большего ритмического разнообразия, но в общем его стремление ввести новую ноту и новую форму вполне закономерно и эту поэтическую инициативу нужно приветствовать.

Ю. Терапiano

#### СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

A. PARRY. *The New Class Divided*. Russian Science and Technology Versus Communism. The Macmillan Co., New York. 1966.

Постепенно, очень осторожно, с оглядкой на вышестоящие инстанции, советские демографы через так называемую конкретную социологию пытаются подойти к изучению социальной структуры советского общества. К примеру, можно назвать статьи А. Хавина «Капитаны советской индустрии. 1926-1940 годы» (Вопросы истории, 1966, № 5) и Ю. Арутюняна «Социальная структура сельского хозяйства» (Вопросы философии, 1966, № 5). В этих статьях уже говорится о классовой и внутри классовой структуре советского общества. Но для спасения догмы делается попытка доказать, что «классовая структура не совпадает с социальной, что последняя может быть и в бесклассовом обществе» (Арутюнян, стр. 51).

Введенная Сталиным формула, которой до сих пор пользуются не только в пропагандной литературе, но, увы, и в демографической и в статистических отчетах, представляет советское общество состоящим из двух «дружественных» классов — рабочих и колхозных крестьян — и интеллигентской прослойки. Конечно, эта формула лишена всякого социального смысла, ибо никак не отражает социальных процессов, происходящих в советском обществе и свидетельствующих о растущем расслоении населения, о проявлении внутри-групповых, а порой и антагонистических интересов.

Первым, кто ясно обнажил истинные структурные превращения социальной системы в коммунистическом мире был несомненно Милован Джилас. Его книга «Новый класс» появилась, как своеобразный манифест, возвестивший народение нового руководящего класса в коммунистическом обществе, вопреки творимой легенде об интеграции классов. В своей книге Джилас не опирался ни на чьи авторитеты, не ссыался ни на какие научные исследования. И тем не менее его книга представляет собой ценнейший вклад в науку о коммунистическом обществе.

Да, в коммунистическом обществе господствует новый класс, который ссылается на свое социальное происхождение как на право командовать. Но Милован Джилас дал лишь общую картину неизбежного выделения господствующего класса в странах диктатуры коммунизма. Конкретно он не рассматривал, кого именно можно отнести к классу руководящих. Его книга, это — калька для более тщательного чертежа социальных изменений в странах коммунистической диктатуры.

Дальнейшее углубление идеи Джиласа и разработку теории социальных превращений в коммунистических странах мы находим в недавно вышедшем в Соединенных Штатах и в Англии труде американского ученого (русского по происхождению) — Альберта Парри. Уже само название книги — «Раскол класса» по-русски, — говорит о том, что Парри начинает там, где Джилас закончил свой анализ.

Разумеется, между трудами Джиласа и Парри не было провала. Отдельные проблемы социальных отношений в СССР и в других коммунистических странах рассматривались во многих работах. Например, исследования покойного Б. Николаевского, собранные в его последней книге «Власть и советская элита». Нельзя пройти мимо книги послевоенного эмигранта Ахминова «Сила на заднем плане», трактующей о выдвижении советской технократии, которая должна прийти на смену партократии. Есть и другие работы на эту тему. Но сейчас мы рассмотрим книгу Альберта Парри.

Не на основе голых умозаключений, а после анализа огромного числа источников, Парри справедливо показывает, что советское общество не унифицируется, не становится более однородным, с потерей социальных различий. Напротив, советское общество раслаивается на отдельные слои, на отдельные группы со своими собственными групповыми интересами, с особенностями материально-бытовых условий, с своими общественными функциями и своим отношением к власти. Главное в социальном процессе в коммунистических странах, это — раскол внутри верхнего, нового класса. В этой книге Парри интересует только руководящий слой советского общества, его верхушка — партийная, научная, техническая и творческая интелли-

генция. И эта проблема рассматривается им с скрупулезной тщательностью. При чем Парри не навязывает априорно свое мнение читателю, не орудует готовыми заимствованными концепциями и ходячими определениями.

Разбирая все за и против, свидетельствующие об общности и противоречивости идеологических побуждений, социальных устремлений и материальных интересов отдельных слоев советского общества, Парри подчеркивает, что существует резкое расхождение между тем, как рисовали марксистские социологи будущее общество и тем, к чему пришли коммунисты в действительности. Руководящий слой коммунистических государств имеет все признаки класса, начиная с номенклатурного права занимать определенные высокие должности и кончая семейно-бытовыми привычками и обычаями. Новая элита имеет определенный статут материального существования. Новый класс при всей его динамичности в общем уже стабилизировался.

Альберт Парри показывает из каких слоев состоит новый класс и какие внутренние противоречия его раздирают. Партийная бюрократия против технократии? Правда это или миф? Автор посвящает каждому слою нового класса отдельную главу, в которой тщательно рассматривает как в самой советской печати отражаются особенности социального положения данной социальной группы — партийной верхушки, инженерно-технической интеллигенции, научных работников, писателей, деятелей искусства и культуры, командиров советской армии. Не оставлена без освещения и такая серьезная тема, которую советская печать все еще выдает за несуществующую — проблема отцов и детей.

Рассмотрен автором и социальный состав членов КПСС. Парри показывает, что компартия сейчас, это не столько «партия рабочих и крестьян», сколько — политическая организация верхнего слоя общества. Среди инженеров, научных работников, не говоря уже о командном составе армии удельный вес членов партии значительно выше, чем в рабоче-крестьянской среде. Среди колхозников на каждые двадцать человек приходится один член партии или кандидат; в рабочей среде один на семеро, а среди служащих один на четырех. К этим данным появившимся на страницах американской печати (Крисчэн Сайенс Монитор), можно добавить следующие цифры. В среде инженерно-технических работников каждый третий — партиец. Среди ученых с докторской или кандидатской степенью половина — с партийным билетом. В высшем командном составе армии, как и среди высших кадров хозяйственников (директора предприятий, начальники учреждений, управляющие трестами и т. п.) беспартийные работники редчайшее исключение. Их доля определяется даже не процентами, а сотыми доли процента.

Сейчас происходит непрерывное насыщение партийного аппарата специалистами — техниками и учеными. В связи с этим Парри ставит законный вопрос: будет ли вовлечение техников и научных работников в высшие органы партии продолжаться до тех пор, пока новые люди не станут большинством коммунистов на самом верху? И будут ли новые партийные чиновники решать в первую очередь задачи партии или задачи своей профессии? Кем они будут больше специалистами или партийцами? Парри полагает, что технократы будут вытеснять партаппаратчиков и этим самым приведут партию к новым условиям существования.

По мнению Парри, происходит эрозия партии, разложение социальной структуры советского общества и выветривание коммунистической идеологии.

Парри согласен с тем, что техническая интеллигенция в СССР заражена «идеологическим агностицизмом», но предупреждает против огульного утверждения, что среди советской интеллигенции марксизм потерял всякую притягательную силу. Несомненно, что такие люди еще есть. Но, думается, что их время прошло.

Парри не ограничивается рассмотрением социальных группировок в новом классе и их роли в настоящем и будущем. Отдельно им исследуется материальное положение членов нового класса, отношение этих людей к религии, западничество советской интеллигенции.

Особое место в анализе Парри занимает рассмотрение оппозиционных настроений в среде писателей и работников искусства. Он упоминает имена тех советских прозаиков и поэтов, которых критиковали за «вольнодумство». Но это «вольнодумство», по сути говоря, было более чем умеренным.

Самое важное в социальном развитии советского общества, на что Парри обращает главное внимание читателя — это растущий раскол между научно-технической интеллигенцией и партаппаратчиками. Расслоение это носит пока-что невыявленный характер, не доходящий до открытого конфликта. Партия делает уступки, привлекает и вовлекает в свой аппарат значительную и наиболее активную в общественной жизни часть техников и ученых. Руководство партии, очевидно, полагает, что этим оно может переработать психологию этого слоя нового класса. Но партия и сама медленно перерождается, отступая под натиском новых идей и новых требований жизни.

Автор явно считает, что будущее за научно-технической интеллигенцией, которая поглотит партократию, заменит ее и сама будет эволюционировать. Такой вывод напрашивается сам собой после чтения интересного труда Альберта Парри.

*А. Иванов*

ПОЭТЫ-ЛИРИКИ ДРЕВНЕЙ ЭЛЛАДЫ И РИМА, в переводах Я. Голосовкера. Москва. 1963, 239 стр.

Иногда переводы поэтов вливаются и в язык, на который они переведены. Омар Хайям в переложениях Фитцджеральда стал и английским поэтом. Удачны переводы Жуковского, хотя иногда он не только изменял оригинал, но и как-то искажал дух его, что хорошо показала Цветаева в статье о двух «Лесных царях» Гёте и его русского переводчика. Очень хороши и новые переводы греческих и латинских поэтов Я. Голосовкера. Создается впечатление, что его вдохновлял живой одушевленный нео-классицизм Мандельштама, столь непохожий ни на классику Вячеслава Иванова, ни на модернизированную, нервную классицистичность Иннокентия Анненского. Впрочем, кое-что он мог заимствовать и у последнего: Анненский в свои переводы и подражания вводил простеречия и варваризмы, которые встречаются и у Голосовкера: трепак, бугай, диван, штурмовать. Такая модернизация, несомненно, оправдана: если классики общечеловечны, почему же не переводить их на современный разговорный язык?

В России античных поэтов начали часто переводить в 18-м веке, т. е. поздно по сравнению с Западом. Гнедичу, несомненно, удался перевод «Илиады», чего нельзя сказать об «Одиссее» Жуковского. Хороши также многие переводы или подражания Богдановича, Капниста, Дельвига, Пушкина. Все же древние поэты не были у нас усвоены так, как в Германии, Англии, в романских странах.

Мандельштам классиков не переводил, хотя некоторые строки «Тристии» Овидия в переводе Голосовкера воспринимаются теперь на фоне мандельштамовских стихов, вдохновленных Овидием!

Сафо и Алкея Голосовкер переводил размерами подлинника, но, конечно, заменяя длинные слога ударными, а короткие — безударными слогами. Еще Сумароков и Востоков пытались воссоздать в оригинальных стихах метрику этих поэтов, однако, на русскую поэзию их переложения не повлияли. Более повезло Голосовкеру. Есть волшебное звучание в некоторых переведенных им стихах Алкея, посвященных прекрасной Елене:

Илион не ты ли  
Испепелила?

Очень удалась ему и последняя строфа этого стихотворения (Вина Елены):

Родила она полубога-сына,  
Рыжим скакунам удальца-возницу,

А Елена град и народ фригийский  
Страстью сгубила.

Эти и многие другие переводы свидетельствуют о том, что непривычные для нас античные размеры могут быть усвоены и русскими поэтами. Строфы Сафо тоже хорошо звучат в переложениях Голосовкера:

Я же о тебе, о далекой помню,  
Легкий шаг, лица твоего сиянье  
Мне милей, чем гром колесниц лидийских  
В блеске доспехов.

Вместе с тем, это очень близкий к подлиннику перевод, хотя в оригинале и нет слов «гром» и «блеск».

Мне кажется, что переводы Голосовкера — значительное явление в русской поэзии. Недавно вышла и другая замечательная его книга: «Достоевский и Кант» (1963 г.). На Западе были напечатаны кое-какие скудные сведения о Я. Голосовкере: ему за 70 лет, он долго работал над книгой о Достоевском, но в печати появилась только часть его обширной монографии.

*Ю. Иваск*

### НОВОЕ ИЗДАНИЕ СТИХОВ М. ЦВЕТАЕВОЙ

Литературная судьба Марины Цветаевой, на мой взгляд, одного из самых замечательных русских поэтов 20-го века, сложилась грустно и поучительно. Высший расцвет прижизненной популярности и признания Цветаевой выпал приблизительно на 1922-1926 гг. — т. е. на первые годы ее эмиграции. Выехав из России, Цветаева получила возможность напечатать целый ряд сборников стихов, поэм, стихотворных драм и сказок («Версты» I, «Ремесло», «Психея», «Разлука», «Царь-девица», «Конец Казановы» и т. д.), написанных ею в 1916-1921 гг. Книги эти выходили и в Москве и в Берлине; отдельные стихотворения Цветаевой появлялись как в советских так и в эмигрантских изданиях. Как зрелый поэт (ее юношеские сборники «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь» были к тому времени забыты) Цветаева предстала и перед советским и перед заграничным читателем сразу во весь рост. Успех у читателей и у критики был большой и настоящий. Если просмотреть эмигрантские журналы и газеты начала 20-х гг., легко убедиться в тогдашней популярности поэзии Марины Цветаевой. Ее печатали в пражских и парижских русских журналах, ее приезд

в Париж и выступление там с чтением своих произведений в феврале 1925 года при переполненном зале был литературным событием. Советские критики тоже посвящали ей серьезные и сочувственные рецензии.

Но дальше положение начинает меняться. К тому времени в «Современных Записках» и в пражской «Воле России» были опубликованы воспоминания Цветаевой о днях Октябрьской революции и гражданской войне («Вольный проезд», «Мои службы», «Октябрь в вагоне»), дававшие яркую и беспощадную картину эпохи. Эти очерки вызвали гнев ортодоксальной советской критики; с их опубликования начинается враждебное отношение советской прессы к творчеству Цветаевой, перешедшее к 30-м годам в полное замалчивание. В эмигрантской критике отрицательное отношение к Цветаевой началось примерно в те же годы, хотя оно и было вызвано совершенно иными причинами.

Те произведения Цветаевой, которые особенно понравились эмигрантским критикам («Стихи к Блоку», драма «Фортуна») были для самого поэта, к моменту их появления, уже пройденным этапом. Дарование Цветаевой после ее выезда за границу пережило коренную и стремительную эволюцию. К середине 20-х годов, Цветаева пришла к своей зрелой манере письма, вошедшей в себя лучшие достижения ею ранее испробованных стилей: экзальтированную романтику ее ранних сборников и «романтических» драм; стилизации под заплачку, блатную частушку, жестокий романс и иные фольклорные жанры в сборнике «Версты» I и отчасти в «Ремесле» (и, конечно, в ее народных сказках); наконец, высокую, церковно-славянскую лексику и очень своё, цветаевское преломление русского бароко. В этой новой манере Цветаевой написаны своеобразные и глубокие вещи («Поэма конца», «Лестница», «Крысолов», трагедии на сюжеты из греческой мифологии, и сборник «После России»), представляющиеся нам сейчас, через четверть века после смерти поэта, вершинами цветаевского творчества, ее самым ценным вкладом в развитие русской поэзии 20-го века. Современники Цветаевой думали иначе. При всей разности эстетических установок писателей старшего поколения того времени, поразительно то единодушие, с которым Максим Горький (в недавно опубликованных письмах к Пастернаку), Иван Бунин и Зинаида Гиппиус — все с недоумением отмахиваются от зрелых вещей Цветаевой, или пишут о них даже с явным глумлением. В усложненном стиле Цветаевой 20-х годов многие эмигрантские критики увидели пустую словесную игру, беспричинную виртуозность, оригинальничанье, истерию — там где мы сейчас, подходя к цветаевскому творчеству доброжелательно и внимательно, видим блестящее и настоящее словесное мастерство, великолепное владение

стихом, духовную глубину и выразительную передачу тонких психологических нюансов.

В 30-е годы наступает угасание известности Цветаевой. В Советском Союзе о ней только изредка упоминают с пренебрежением и неизменными указаниями на ее «белогвардейство», «реакционность». Для старших эмигрантских писателей Цветаева связывалась с неприемлемым для них пристальным вниманием к словесной стороне поэзии и художественной прозы (и, по своему, они были правы — Цветаева в своем мастерстве переступает границы школ и направлений, и, как одно из виднейших явлений русского «вербизма» 20-го века, является литературной союзницей и Белого, и Ремизова, и Маяковского, и Пастернака). Для младших парижских поэтов и критиков 30-х гг. Цветаева, как поэт, была, пожалуй, чересчур блестяща, ярка, жизнелюбива. Парижскую же школу привлекали отчаяние, усталость, говорок, шепоток — тот самый шепоток, от которого Цветаева, загодя, еще в 1921 году отказалась:

Не для лъстивых этих риз, лживых ряс —  
Голосистою на свет родилась!  
Не ночные мои сны — наяву!  
Шипом-шепотом, как вы, не живу!  
От тебя у меня, шепот-тот-шип —  
Лира, лира, лебединый загиб!  
С лавром, с зорями, с ветрами союз,  
Не монашествую я — веселюсь!

Конечно, в эмиграции были критики, писавшие о Цветаевой с теплотой и пониманием: М. Слоним, Ю. Иваск, А. Бем, к тридцатым годам Владислав Ходасевич (ранее отзывавшийся о ней сдержанно или отрицательно). В эмигрантской же печати появились две статьи о Цветаевой кн. Д. Святополк-Мирского (о «Молодце» и о «Крысолове») — лучшее вообще из до сих пор написанного о Цветаевой. Но в 30-ые годы тон в эмигрантской критике задавала парижская школа — и большой поэт Марина Цветаева в последние годы своей жизни за границей осталась, по ее собственному выражению, «без читателей и без критики».

Вторая мировая война и конец сороковых годов — это период, когда о Цветаевой почти что забыли. После ее самоубийства в Елабуге, никак не отмеченного в советской прессе, ее имя полностью исчезает из советских книг, журналов и даже энциклопедий. В эмиграции один только Г. П. Федотов в 1942 году объявил Цветаеву «первым русским поэтом нашей эпохи». Но это было исключением. Гораздо более типичны в 40-х годах были постоянные нападки и разносы Цветаевой Г. Адамовичем и Н. Оцупом. Характерно, что даже корреспондент Цветаевой, А. Бахрах, в своем некрологе о ней (появившемся в парижском «Русском сборнике» и

единственном отклике на ее смерть), счел нужным подчеркнуть ее «манерность», «срывы и промахи» и объявить ее лучшими сборниками «Психею» и «Ремесло», обходя без упоминания все ее крупнейшие произведения, написанные и опубликованные после 1921 года.

Но забвение продолжалось не так уж долго. Наступила оттепель и о Цветаевой вспомнили и на родине и (откуда эта посто-янная и удивляющая параллельность?) почти одновременно в эмиграции. В 50-х годах Цветаева предстала перед новым поколением никогда не слышавших о ней читателей — в мемуарах Ильи Эренбурга, в «Автобиографическом очерке» Бориса Пастернака (до сих пор не изданном в Советском Союзе, но переведенном на многие языки) и в ее собственных произведениях, которые в СССР постепенно перепечатаются и переиздаются с 1956 года. В то же время за границей вышли: сборник цветаевской прозы, ее книга стихов о гражданской войне «Лебединый стан», опубликованы письма Цветаевой (к А. Бахраху, Ю. Иваску, Р. Гулю, Г. Федотову, А. Штейгеру). Всё это дало читателю совершенно новые, неизвестные черты литературного и личного облика Цветаевой. За последние десять лет в эмигрантской печати все реже встречаются жалобы о якобы «загубленном» таланте Цветаевой, о ее «непонятности» или «истеричности» — столь обычные в 30-ые и 40-ые годы. Некоторые критики, некогда писавшие о Цветаевой резко и отрицательно (напр. В. Вейдле), теперь относятся к ее творчеству с вниманием и уважением.

В 1961 году в Сов. Союзе вышел, обещанный еще в 1956 году, однотомник избранной лирики Цветаевой. При несколько тенденциозном подборе материала, сузившим и ограничившим общий облик цветаевской поэзии, этот сборник, распроданный в Москве в два дня, открыл по-настоящему для советского читателя диапазон и разнообразие этой поэзии. Теперь, в очень расширенном виде этот сборник переиздан в серии «Библиотека поэта» (Москва-Ленинград, 1965 г.). Составлен он дочерью Цветаевой А. С. Эфрон и А. Саакянц, вступительная статья В. Орлова (расширенный, дополненный и исправленный вариант его же вступления к однотомнику 1961 г.). Книга содержит не только лирику, но и поэмы и драматические произведения Цветаевой.

Кроме «Поэмы конца» и «Поэмы горы», ставших известными советскому читателю по однотомнику 1961 года, представлены поэма-сказка «Царь-Девница», лирическая сатира «Крысолов». «Поэма лестницы» (первоначально напечатанная в «Воле России» под названием «Лестница»), трагедия «Ариадна» и другие крупные вещи Цветаевой, почти неизвестные заграничному читателю и являющиеся полной новинкой для читателя советского. Проведена большая ра-

бота по собиранию стихотворений Цветаевой, опубликованных в редких эмигрантских изданиях. 55 нигде не опубликованных стихотворений Цветаевой из архива, хранящегося у ее дочери, печатаются впервые. Но все же, при всем богатстве представленного в сборнике материала, поражают пропуски многих значительных стихотворений и циклов. Дело тут не в различии вкусов или в несогласии с составителями в оценке значительности тех или иных вещей Цветаевой. Реабилитированную Цветаеву, прежде обвинявшуюся в «белогвардействе» и «реакционности», теперь стараются причесать под официально-советский стиль и создать для нее задним числом некую шаблонно-советскую респектабельность. Трудно, конечно, было ожидать, чтобы в изданный в Советском Союзе сборник вошли стихи из «Лебединого стана», воспевающие Белое движение или великоленные контр-революционные стихотворения «Масленица широка» и «Переселенцами в какой Нью Йорк» из «Ремесла». Но исключена и немногочисленная, но значительная религиозная лирика Цветаевой (например глубокое и оригинальное стихотворение «Бог» из «После России»). При подборе вещей из ее самого значительного сборника «После России», сознательно выпущены стихотворения, выражающие особый цветаевско-платоновский идеализм, ее стремление в «миры иные», — такие стихотворения, как «Леты слепотекущий всхлип» или «Сивилла — младенцу». Представлен, правда, великолепный «Поезд», где эти «платоновские» мотивы переплетаются с общественно-бытовой критикой. Не вошла в книгу, наконец, и вершина гражданской лирики Цветаевой, ее потрясающий цикл на смерть Маяковского (с его превосходно описанной встречей двух поэтов-самоубийц, Маяковского и Есенина, в Царстве небесном). Этот цикл упомянут в предисловии Орлова как «вещь противоречивая», в которой «звучат и неверные ноты», и тут же представлен тенденциозно подобранным отрывком. Таким образом, в этом большом сборнике, Цветаева как поэт представлена советскому читателю не полностью.

Кроме тенденциозного подбора, необходимо указать, что два крупных произведения Цветаевой подверглись в сборнике цензурным купюрам. В первую очередь это относится к «Крысолову», самому крупному по форме произведению Цветаевой, вызвавшему в свое время восторг Пастернака и Г. П. Федотова и интереснейшую статью Святополк-Мирского, но прошедшему незамеченным для большинства эмигрантской критики (Мих. Осоргин в благожелательной статье о «романтической» Цветаевой назвал «Крысолова» «весьма музыкальной нелепостью»). «Крысолов» — произведение исключительное по своему жанру: в нем сатира, как указано в подзаголовке, действительно переплетается с лирикой и даже философией в своеобразный причудливый сплав. Острие сатиры направ-

лено в этой поэме против мещанской тупости и косности во всех ее видах — включая и советскую разновидность, что подчеркивается тем, что крысы, от которых герой освобождает город Гамельн, говорят на квази-коммунистическом жаргоне (у них имеется не только «главхвост» и «главшиш» но и свой крысиный НЭП). Стремясь сузить значение поэмы до рамок сатирического изображения немецкой буржуазии, редакторы в сущности искалечили «Крысолова». В примечаниях оговорено, что поэма эта печатается «с незначительными сокращениями»; в действительности же из третьей главы вырезано 134 стиха; почти так-же серьезно расправились и с четвертой главой, причем урезанные места существенны для понимания замысла Цветаевой и их отсутствие ведет к искаженному пониманию всей поэмы. Из «Поэмы лестницы» удалено четверостишие, содержащее ироническое сопоставление Маркса с чортом.

Но несмотря на купюры и передержки в комментариях к сборнику (например, в примечании к стихотворению «Наяда», стр. 755, Цветаевой, писавшей в конце 20-ых гг. поэму о белых защитниках Перекопа, приписано прославление их красных противников), несмотря на необходимость сводить в предисловии и примечаниях, сложное и неповторимое мирозерцание Цветаевой к обычным советским штампам — несмотря на всё это публикация «Избранных произведений» Марины Цветаевой большое и радостное событие для ценителей русской поэзии. В Советском Союзе в настоящее время Цветаева — один из любимейших и самых близких поэтов, в особенности среди литературной молодежи. В ее самобытности, свободе от всяческих догм, глубокой современности и подлинной этической чистоте молодые русские видят не только поэзию, но, как свидетельствуют многие туристы, и — ценный жизненный урок. То признание и та переоценка Цветаевой, о которых писал Пастернак, как будто отчасти уже сбываются. Но печатать Цветаеву в «полном составе», во всем разнообразии и независимости ее творчества пока в Советском Союзе не могут. Хорошо бы было, если бы эмигрантские издательства восполнили этот пробел и переиздали все «запретные» вещи Цветаевой: полного «Крысолова» в первую очередь, а затем и «Перекоп», «Красного бычка», циклы на смерть Волошина (« Ici-Haut») и на смерть Маяковского, драму о французской революции «Фортуна» и увлекательный цикл воспоминаний об эпохе гражданской войны.

*Семен Карлинский*

#### ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Многоуважаемый г-н редактор, не откажите в любезности поместить в «Н. Ж.» следующие исправления к моей публикации «Лев Лунц и Серапионовы братья» (№ 82 и 83). *Письмо 20:* В. А. Чудов-

ский более известен как литературный критик, чем «историк театра». О нем см. «Н. Ж.» № 81, стр. 196. Поэма Е. Полонской, упомянутая в этом письме, была напечатана под заглавием — «В петле (лирическая фильма). Посв. М. Шагинян», альм. «Ковш» № 1, Л., 1925. *Письмо 25*: «Неприличный рассказ» Е. Замятина, это вероятно, не «Русь», а «О чуде, происшедшем на Пепельную Среду» («Собр. соч.», М. 1929, т. 4). *Письмо 37*: «Хождения» — заглавие всего рассказа, а не его первой части, у которой заглавия нет.

Я хотел бы также выразить благодарность д-ру Дональду Пиперу, проф. в ун-те в Манчестере, за оказанную мне помощь в этой публикации и свою признательность Йэльскому ун-ту за позволение пользоваться материалами из Архива Лунца.

Принстонский ун-т.

Г. Керн

#### О ТОМЕ I СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ О. МАНДЕЛЬШТАМА

М. Г. г-н редактор, не откажите напечатать следующее. В кн. 82 «Н. Ж.» помещена очень интересная рецензия Ю. Иваска на I том собр. сочин. О. Мандельштама. Совершенно справедливо отмечая большую ценность этого издания и благодаря за это его редакторов, Г. Струве и Б. Филиппова, Ю. Иваск, к сожалению, не отмечает одну неприятную оплошность в этой книге. На стр. 174 дано как одно стихотворение два совсем разных и между собой не связанных. Первое, под заглавием «Стихи о русской поэзии» начинается — «Сядь, Державин, развались», дальше же, никак к нему не относящееся, идет продолжение, — «Гром живет своим накатом». А действительное продолжение «Стихов о русской поэзии» со строки «Дайте Тютчеву стрекозу» дано, как самостоятельное стихотворение под № 231 на другой странице. Эта ошибка тем более странна, что полностью «Стихи о русской поэзии», под заглавием «Стихи о русских поэтах» (что по смыслу стихов и правильнее!), были напечатаны в альманахе «Воздушные Пути (том II, стр. 28, 1961).

С уважением В. Крестовская

#### КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

Н. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ. *Россия и Европа*. Вступ. статья Ю. Иваска. The Slavic Series. Editor: Melville J. Ruggles. Johnson Reprint Corporation. New York. 1966.

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ. *Весна в Париже*. 6-я книга стихов. Изд. «Новоселье». Париж. 1966.

- ГАЛИНА СОБОЛЕВА. *Невидимка*. Стихи. Сидней, Австралия. 1965.
- МОСТЫ. Литер.-художественный и обществ.-политический альманах. № 12. Ред. Г. Андреев. Товарищество Зарубежных Писателей. Мюнхен. 1966.
- PAUL DEBRECZENY. *N. Gogol and His Contemporary Critics*. The American Philosophical Society. Philadelphia. 1966.
- P. EVDOKIMOV. *La Prière de l'Eglise d'Orient*. La Liturgie de St-Jean Chrysostome. Ed. Salvator-Mulhouse. Paris. 1966.
- POEMS AND SHORT STORIES. Edited by The Vietnam Center of the International PEN. Saigon. 1966.
- CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE DU COMINTERN, publiées sous la direction de J. Freymond. Librairie Droz. Genève. 1965.
- Dr. ALBERT PARRY. *The New Class Divided*. Russian Science and Technology Versus Communism. The Macmillan Co. N. Y. 1966.
- JAMES H. BILLINGTON. *The Icon and The Axe*. An Interpretive History of Russian Culture. Alfred A. Knopf. N. Y. 1966.
- T. K. CZUGUNOW. *Die Staatliche Leibeigenschaft*. Analyse des Sozialistischen Landwirtschaftssystems. Bergstadt-Verlag Wilh. Gotte. Korn. München. 1964
- S. CHARCHOUNE. *Foule Immobile*. Poème. Avec dessins de l'auteur. Paris. 1966.
- WOLF THUMMEL. *Das Problem der periphrastischen Konstruktionen*. Gezeigt am Beispiel des slavischen. Herausgegeben von D. Tschizewskij. W. Fink Verlag. München. 1966.
- ULRICH BUSCH, HORST-JURGEN GERIGK, ERICH TH. HOCK, DMITRIJ TSCHIZEWSKIJ. *Gogol - Turgenew - Dostoevskij - Tolstoj*. Zur russ. Literatur des 19 Jahrhunderts. W. Fink Verlag. München. 1966.
- АБРАМ ТЕРЦ. *Мысли врасплох*. Вступ. статья А. Фильда. Изд-во И. Г. Раузена. Нью Йорк. 1966.
- СИНЯВСКИЙ И ДАНИЭЛЬ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ. Вступит. статьи Э. Замойской и Б. Филиппова. Изд. Международного Литературного Содружества. Вашингтон. 1966.
- ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО московских священников патриарху, епископству русской церкви и заявление гражданским властям. Предисловие арх. Иоанна Сан-Францисского. Сан-Франциско. 1966.

- ГРИГОРИЙ АРОНСОН. *Россия в эпоху революции*. Истор. этюды и мемуары. Н. И. 1966.
- ИОСИФ ЛЕВИН. *Улов*. Стихи и поэмы. Изд. «Гриф». Нью Йорк-Париж. 1966.
- Ю. ТЕРАПИАНО. *Паруса*. Стихи. Изд. «Русская Книга». Вашингтон. 1965.
- ВЛАДИМИР ДУКЕЛЬСКИЙ. *Картинная Галерея*. Третья книга стихов. Мюнхен. 1965.
- ЯКОВ БЕРГЕР. *Весна в Ч...* Стихи. Тип. «Давар». Тель-Авив. 1966.
- ГАНС БРАНДЕНБУРГ. *На что мне Библия? «Свет на Востоке»*. Корнталь. 1966.
- МАРГАРИТА ДЬЯКОНОВА. *Как это перенести?* Стихи. Австралия. 1965.
- АНДРЕЙ СЕДЫХ. *Земля Обетованная*. Нью Йорк. 1966.
- ГЛЕБ СТРУВЕ. *Утлое Жилье*. Избранные стихи 1915-1949 гг. Inter-Language Associates. Вашингтон. 1965.
- R. L. JACKSON. *Dostoevsky's Quest For Form*. A Study of His Philosophy of Art. Yale University Press. New Haven. 1966.
- P. EVDOKIMOV. *La Prière de l'Eglise d'Orient*. La liturgie de St. Jean Chrysostome. Editions Salvator-Mulhouse. Paris. 1966.
- ВЛ. КРЫМОВ. *Голоса горной пещеры*. Изд. «Сеятель». Буэнос-Айрес. 1966.
- ЗАЩИТА ВЕРЫ В СССР. *Рукопись привезенная из Сов. России*. С предисловием арх. Иоанна Сан-Франциского. Париж. 1966.
- С. ШВАРЦ. *Евреи в Сов. Союзе (с начала мировой войны, 1939-1965)*. Изд. Америк. Еврейского Рабочего Комитета. Нью Йорк. 1966.
- А. ПОЗОВ. *Основы древне-церковной антропологии. Сын человеческий*. Мадрид. 1966.
- Е. ПЕТРОВ-СКИТАЛЕЦ. *Национальная проблема СССР (взаимосвязи и освобождение)*. Канада. 1965.
- REV. D. KONSTANTINOV. *Religious Persecution in U.S.S.R.* Published by SBNR. London. Canada. 1966.
- MENDEL MANN. *Les plaines de Mazovie*. Roman. Calmann-Lévy. Paris 1966.

- О ДОСТОЕВСКОМ. *Stat'i P. Bitsilli, V. Komarovitch, Ju. Tynianov, S. Gessen.* Brown University Slavic Reprint IV. Providence. 1966.
- THE SLAVIC AND EAST EUROPEAN JOURNAL. *Summer 1966. Vol. X, N2.* Published by the University of Wisconsin Press.
- RUSSIAN SONGS, *edited and arranged by Jerry Silverman.* Oak Publications. 1966.
- ВИКТОР БУЛИН — Зарницы. Сборник стихотворений. Изд. автора Кливленд. Охайо. 1962.
- ВИКТОР БУЛИН — Листопад. Сборник стихотворений. Изд. автора Кливленд. Охайо. 1965.
- ВИКТОР БУЛИН — Последние песни. Сборник стихотворений. Изд. автора. Кливленд, Охайо. 1966.
- ВИКТОР БУЛИН — Про даром минувшие дни. Повесть. Изд. автора. Кливленд, Охайо. 1966.
- СЕРГЕЙ ШАРШУН. Подвернувшийся случай. (Эмигрантская лирика). Изд. Вопрос. Париж. 1966.
- СЕРГЕЙ ШАРШУН. Ростбиф. (Идиллия). Изд. Вопрос. Париж. 1966.

---

# “Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л”

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ и Н. С. ТИМАШЕВА

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1966 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 долл. 50 цент.

Во Франции — 8 франков.

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway

New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.

---